

Н О В Ы Й М И Р

К Н И Г А
П Я Т А Я

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ:

Максим ГОРЬКИЙ
М. ПРИШВИН
Ал. ТОЛСТОЙ
Любовь КОПЫЛОВА
Михаил ВОЛКОВ
Пант. РОМАНОВ

С Т И Х И:

А. БЕЗЫМЕНСКИЙ
Вера ИНБЕР
Мих. ГОЛОДНЫЙ
Петр ШАМОВ
Петр ОРЕШИН
И. СЕЛЬВИНСКИЙ
Сергей ПЕТРОВ

СТАТЬИ, ВОСПОМИНАНИЯ, ОЧЕРКИ:

Влад. БОНЧ-БРУЕВИЧ
Проф. А. Е. ЧИЧИБАБИН
OUTSIDER
Валерьян ПОЛЯНСКИЙ
А. ЛЕЖНЕВ
К. МАЛЬЦЕВ
Р. ШОР
Ю. СОБОЛЕВ

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

Ник. СМИРНОВ, М. ЗЕНКЕВИЧ,
Г. ПОСПЕЛОВ, М. О., А. Р. ПА-
ЛЕЙ, Бор. ГРОССМАН, Вал. ДЫН-
НИК.

М О С К В А
1 . 9 . 2 . 8

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

**НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ**

Н О В Ы Й М И Р

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

С. Б. Ингулова, А. В. Луначарского, И. И. Степанова-Скворцова

**С января 1928 года
ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ
В УВЕЛИЧЕННОМ ОБЪЕМЕ
И НА ЛУЧШЕЙ БУМАГЕ**

**КНИГАМИ ОБЪЕМОМ ОТ
15 ДО 19 ЛИСТОВ КАЖДАЯ**

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

на 12 мес.	на 9 мес.	на 6 мес.	на 3 мес.	на 1 мес.
10 р. —	8 р. —	5 р. 50 к.	3 р. —	1 р. 10 к.

ЦЕНА КНИГИ В ОТДЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ 1 р. 40 к.

ПРИЕМ ПОДПИСКИ:

- В МОСКВЕ:** 1) Главной Конторой „Известий ЦИК СССР и ВЦИК“, Тверская, 48;
2) городскими отделениями „Известий ЦИК“; 3) почтамтом; 4) городскими почтовыми отделениями; 5) письмоносцами; 6) Справочными Бюро МКХ.
- В ЛЕНИНГРАДЕ:** 1) отделением Гл. К-ры „Известий ЦИК“, Пр. 25 Окт., д. № 68;
2) почтамтом; 3) городскими почтовыми отделениями; 4) письмоносцами.
- В ПРОВИНЦИИ:** 1) отделениями Главной Конторы „Известий ЦИК“; 2) почтово-телеграфными конторами СССР; 3) контрагентами по распространению периодической печати.

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А
П Я Т А Я
М А Й

М О С К В А
1 · 9 · 2 · 8

Москва. Главлит № А 10677.

25.000 экз.

Типография „Известий ЦИК СССР и ВЦИК“, Страстная площ., Б. Путинковский пер, 5

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. МАКСИМ ГОРЬКИЙ.—Жизнь Клима Самгина, 2-я часть трилогии «Сорок лет»	5
2. А. БЕЗЫМЕНСКИЙ.—Перед поднятием занавеса, <i>стихотворение</i>	36
3. М. ПРИШВИН.—Брачный полет, <i>восьмое звено «Кашеевой цепи»</i>	40
4. ВЕРА ИНБЕР.—Неоконченная поэма о «Черном Принце»	67
5. ГРИГ. ПЕТНИКОВ.—Ленинград, <i>стихотворение</i>	69
6. АЛ. ТОЛСТОЙ.—Хождение по мукам, <i>роман</i> , продолжение.	70
7. МИХ. ГОЛОДНЫЙ.—Романтикам, <i>стихотворение</i>	102
8. ПЕТР ШАМОВ.—Воспоминанье, <i>стихотворение</i>	103
9. ЛЮБОВЬ КОПЫЛОВА.—Богатый источник, <i>повесть</i>	104
10. ПЕТР ОРЕШИН.—Лунные заборы, <i>стихотворение</i>	128
11. МИХАИЛ ВОЛКОВ.—Жилтоварищество № 1331, <i>повесть</i>	129
12. И. СЕЛЬВИНСКИЙ.—Весна, <i>из романа «Пушторг»</i>	162
13. ПАНТ. РОМАНОВ.—Новая скрижаль, <i>роман</i> , окончание.	164
14. СЕРГЕЙ ПЕТРОВ.—Весной, <i>стихотворение</i>	186
15. ВЛАД. БОНЧ-БРУЕВИЧ.—Мои встречи с Горьким	187
16. Проф. А. Е. ЧИЧИБАБИН.—Новый поворот материальной культуры.	195
17. OUTSIDER.—Очередной этап «разоружения»	210
18. ВАЛЕРЬЯН ПОЛЯНСКИЙ.—Георгий Валентинович Плеханов.	224
19. А. ЛЕЖНЕВ.—От Аничкова к Матвееву	234
20. К. МАЛЬЦЕВ.—Советское кино на новых путях	243

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

	<i>Стр</i>
Р. ШОР.—О «порче» русского языка	251
Ю. СОБОЛЕВ.—Литературный быт в записях прошлого	256
НИК. СМИРНОВ.—А. Чапыгин «По звериной тропе»	262
М. ЗЕНКЕВИЧ.—Э. Багрицкий «Югозапад»	264
Г. ПОСПЕЛОВ.—«Искусство». Кн. II и III	265
М. О.—Бор. Пильняк «Расплеснутое время»; его же «Очередные повести»	266
А. Р. ПАЛЕЙ.—Ал. Дроздов «Лохмотья»	269
БОРИС ГРОССМАН.—А. Бибик «Новая Бавария»	270
ВАЛ. ДЫННИК.—Д. Крейтюков «Мамзер»	271
Письмо в редакцию	272

Жизнь Клима Самгина

Вторая часть трилогии „Сорок лет“¹⁾

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

Рассказывая Спивак о выставке, о ярмарке, Клима Самгин почувствовал, что умиление, испытанное им, осталось только в памяти, но как чувство — исчезло. Он понимал, что говорит неинтересно. Его стесняло желание найти свѣю линию между неумеренными славословиями одних газет и ворчливым скептицизмом других, а кроме того он боялся попасть в тон грубоватых и глумливых статей Инокова.

Даже для Федосовой он с трудом находил те большие слова, которыми надеялся рассказать о ней, а когда произносил эти слова — слышал, что они звучат сухо, тускло. Но все-таки выходило как-то так, что наиболее сильное впечатление на выставке всероссийского труда вызвала у него кривобокая старушка. Ему было неловко вспомнить о надеждах, связанных с молодым человеком, который оставил в памяти его только виноватую улыбку.

— Ничтожный человек, министры толкали и тащили его, куда им было нужно, как подростка, — сказал он и несколько удивился силе мстительного, личного чувства, которое вложил в эти слова.

Сидели в саду, в тени вишень, богато украшенных аметистовыми бусами ягод. Был вечер, удушливая жара предвещала грозу; в небе, цвета снятого молока, пенились сизоватые клочья облаков; тени скользили по саду, и было странно видеть, что листва неподвижна. Спивак, облокотясь о круглый стол, врытый в землю, сжимая щеки ладонями, следила за красненькой букашкой, бестолково ползавшей по столу. Муж ее, полуодетый, лежал на ковре, под окном, сухо покашливал и толкал взад-вперед детскую коляску, и в коляске шевелился большеголовый ребенок, спокойно, темными глазами, изучая небо.

— В таком же тоне, но еще более резко писал мне Иноков о царе, — сказала Спивак и усмехнулась: — Иноков пишет письма так, как-будто в России только двое грамотных: он и я, а жандармы — не умеют читать.

Красненькая букашка подползла близко к Самгину, он сердитым щелчком сбросил ее со стола.

¹⁾ В «Новом Мире» будет печататься первая половина второй части трилогии.

— И — что же? — спросила Спивак, подняв голову. — Говорили что-нибудь о Ходынке?

— О Ходынке? Нет. Я не слышал ничего, — ответил Клим и, вспомнив, что он, думая о царе, не единого раза не подумал о московской катастрофе, сказал с иронической усмешкой: — Незлобивый народ забыл об этом. Даже Иноков, который любит говорить о неприятном, забыл.

Пристально взглянув на Клима, Спивак хотела сказать что-то, но зачмокал ребенок, муж дернул ее за подол платья:

— Просит есть!

Она взяла сына, отвернулась и, давая ему грудь, проговорила почему-то в нос:

— Вот какой у меня серьезный сын! Не капризничает, углублен в себя, молча осваивает мир. Хороший!

А отец Спивак сообщил, рассматривая на свет пальцы руки своей:

— Он думает, что музыка спрятана в пальцах у меня, под ногтями.

Клим почувствовал прилив невыносимой скуки. Все скучно: женщина, на белое платье которой поминутно ложатся пятнышки теней от листьев и ягод; чахоточный, зеленолицый музыкант, в черных очках, неподвижная зелень сада, мутное небо, ленивенький шумок города.

Под тяжестью этой скуки он прожил несколько душных дней и ночей, негодуя на Варавку и мать; они с выставки уехали в Крым, это на месяц прикрепило его к дому и городу. По ночам, волнуемый привычкой к женщине, сердито и обиженно думал о Лидии, а как-то вечером поднялся вверх в ее комнату и был неприятно удивлен: на пружинной сетке кровати лежал свернутый матрац, подушки и белье убраны, зеркало закрыто газетной бумагой, кресло у окна — в сером чехле, все мелкие вещи спрятаны, цветов на подоконниках нет. И казалось, что эта неприглядная пустота иронически спрашивает:

— Да была ли девушка-то?

Но девушка была, об этом настойчиво говорила пустота в душе, тянущая, как боль.

Он вошел в большую комнату, место детских игр в зимние дни, и долго ходил по ней из угла в угол, думая о том, как легко исчезает из памяти все, кроме того, что тревожит. Где-то живет отец, о котором он никогда не вспоминает, так же, как о брате Дмитрие. А вот о Лидии думается против воли. Было бы не плохо, если б с нею случилось несчастье, неудачный роман или что-нибудь в этом роде. Было бы и для нее полезно, если б что-нибудь согнуло ее гордость. Чем она гордится? Не красива. И — не умна.

Очень пыльно было в доме, и эта пыльная пустота, обесцвечивая мысли, высасывала их. По комнатам, по двору лениво расхаживала прислуга, Клим смотрел на нее, как смотрят из окна вагона на коровы вдали, в полях. Скука заплескивала его, возникая отовсюду, от всех людей, зданий, вещей, от всей массы города, прижавшегося на берегу тихой, мутной реки. Картины выставки линяли, забывались, как снови-

дение, и думалось, что их обесцвечивает, поглощает эта маленькая, сизая фигурка царя.

Спивак жила, не задевая, не поучая его, что было приятно, но в то же время и обижало. Она казалась весьма озабоченной делами школы, говорила только о ней, об учениках, но и это не охотно, а смотрела на все, кроме ребенка и мужа, рассеянным взглядом человека, который или устал или слишком углублен в себя. В девять часов утра она уходила в школу, являлась домой к трем; от пяти до семи гуляла с ребенком и книгой в саду, в семь снова уходила заниматься с любителями хорового пения, возвращалась поздно. Иногда ее провожал регент соборного хора, длинноволосый, коренастый щеголь, в панаме с тростью в руке, с толстыми усами, точно два куска смолы. Раз или два она спросила Клим:

— Вы будете писать о выставке?

— Пишу; — ответил он, хотя еще не начинал писать, мешала скука.

По утрам, через час после того, как уходила жена, из флигеля шел к воротам Спивак, шел нерешительно, точно ребенок, только что достигший искусство ходить по земле. Респиратор, выдвигая его подбородок, придавал его курчавой голове форму головы пуделя, а темный, мохнатый костюм еще более подчеркивал сходство музыканта с ученой собакой из цирка. Встречаясь с Климом, он опускал респиратор к шее и говорил всегда что-нибудь о музыке.

— Вот, — смотрите, — говорил он, подняв руки свои к лицу Самгина, показывая ему семь пальцев: — Семь нот, ведь только семь, да? Но что же сделали из них Бетховен, Моцарт, Бах? И это — везде, во всем: нам дано очень мало, но мы создали бесконечно много прекрасного.

Утверждал, что язык музыки несравнимо богаче языка слов:

— Чтоб рассказать вам содержание одного аккорда, нужны десятки слов.

А однажды вечером в саду, задыхаясь от жары, он сообщил Климу, как новость:

— Умираю. Осенью, наверное, умру.

— Полноте, что вы, — возразил Самгин, заботясь, чтоб слова его звучали не очень равнодушно.

— Жена тоже не верит, — сказал Спивак, вычерчивая пальцем в воздухе сложный узор. — Но я — знаю: осенью. Вы думаете — боюсь? Нет. Но — жалею. Я люблю учить музыке.

Он посмотрел на свои костяные пальцы и вздохнул шипящим звуком.

— Жена тоже любит учить, да! Видите ли, жизнь нужно построить по типу оркестра. Пусть каждый честно играет свою партию, и все будет хорошо.

Говорил он задыхаясь, в горле его что-то шипело; вдруг схватился за голову, чихнул и, отдышавшись, сказал:

— Пыль в этом городе пахнет птичьим калом.

Самгин принимал его речи, как полоумный лепет Диомидова, от этих речей становилось еще скучнее, и, наконец, скука погнала его в редакцию.

Редакция помещалась на углу тихой Дворянской улицы и пустынного переулка, который, изгибаясь, упирался в железные ворота богадельни. Двухэтажный дом был переломлен: одна часть его осталась на улице, другая, длиннее на два окна, пряталась в переулок. Дом был старый, казарменного вида, без украшений по фасаду, желтая окраска его стен пропылилась, приобрела цвет недубленой кожи, солнце раскрасило стекла окон в фиолетовые тона, и над полуслепыми окнами этого дома неприятно было видеть золотые слова: «Наш край».

По чугунной лестнице, содрогавшейся от работы типографских машин в нижнем этаже, Самгин вошел в большую комнату; среди нее, за длинным столом, покрытым клеенкой, закапанной чернилами, сидел Иван Дронов и, посвистывая, списывал что-то из записной книжки на узкую полосу бумаги.

Он встал навстречу Климу нерешительно и как бы не узнавая его, но, когда Клим улыбнулся, он схватил его руку своими, потряс ее с радостью, явно преувеличенной.

— Приехал? Давно ли?

— Как живешь? — ответил Самгин, неприятно смущенный и немело преувеличенной радостью, и обращением на «ты».

— Подкидышами живу, — очень бойко и шумно говорил Иван. — Фельетонист острит: приносите подкидышей в натуре, контора будет штемпеля ставить на них, а то вы одного и того же подкидыша пять раз продаете.

Он коротко остриг волосы, обнажив плоский череп, от этого лицо его стало шире, а пуговка носа точно вспухла и расплылась. Пощипывая усики цвета уличной пыли, он продолжал:

— У нас тут все острят. А в проклятом городе — никаких событий! Хоть сам грабь, поджигай, убивай — для хроники.

Говоря, он чертил вставкой для пера восьмерки по клеенке, похожей на географическую карту, и прислушивался к шороху за дверями в кабинет редактора, там как-будто кошка играла бумагой.

Белые, пожелтевшие от старости двери кабинета распахнулись, и редактор, взмахнув полосками бумаги, закричал:

— Дронов! Какого чорта вы... Ах, здравствуйте! — ласково сказал он и распахнул дверь еще шире. — Прощу!

И через минуту Клим, сидя против него, слушал:

— Цензор болен логофобией, т.е. словобоязнью, господа сотрудники—интемперией — безудержной словоохотливостью, и каждый стремится показать другому, что он радикальнее его.

Он говорил солидно и не в тоне жалобы, а как бы диктуя Климу. Вытирал платком потную лысину, желтые виски, и обиженная губа его особенно важно топырилась, когда он произносил латинские слова.

Клим уже знал, что газетная латынь была слабостью редактора, почти в каждой статье его пестрели словечки: *ad ovo, o, tempora, o, mores!* *Dixi, testimonium paupertatis* и прочее, излюбленное газетчиками. За спиной редактора стоял шкаф, тесно набитый книгами, в стеклах шкафа отражалась серая спина, круглые, бабьи плечи, тускло блестел голый затылок, казалось, что в книжном шкафу заперт двойник редактора.

— Сообразите же, насколько трудно при таких условиях создавать общественное мнение и руководить им. А тут еще являются люди, которые уверенно говорят: чем хуже—тем лучше. И, наконец,—марксисты, эти квази-революционеры без любви к народу.

Запах типографской краски наполнял маленькую комнату, засоренную газетами. Под полом ее неумолкаемо гудело, равномерно топало какое-то чудовище. Редактор устало вздохнул.

— Это о выставке?—спросил он, отгоняя рукописью Климидерзкую муху, она упрямо хотела сесть на висок редактора, напиться пота его.—Иноков оказался совершенно неудачным корреспондентом, — продолжал он, шлепнув рукописью по виску своему и сморщив лицо, следя, как муха ошалело носится над столом.—Он — мизантроп, Иноков, это у него, вероятно, от запоров. Психиатр Ковалевский говорил мне, что Тимон Афинский страдал запорами и что это, вообще, признак...

Удачно прихлопнув муху рукописью, он облегченно вздохнул, приподнял губу и немножко растянул ее: Самгин понял, что редактор улыбается.

— И, кроме того, Иноков пишет невозможные стихи, просто, знаете, смешные стихи. Кстати, у меня накопилось несколько аршин стихотворений местных поэтов,— не хотите ли посмотреть? Может быть, найдете что-нибудь для воскресных номеров. Признаюсь, я плохо понимаю новую поэзию...

Он сердито нахмурился, выдвинул ящик стола и подал Климу пачку разномерных бумажек.

— Н-да-с, — вот! А недели две тому назад Дронов дал приличное стихотворение, мы его тиснули, оказалось,—Бенедиктова! Разумеется, нас высмеяли. Спрашиваю Дронова: что же это значит? Мне, говорит, знакомый семинарист дал, гм... Должен сказать, не верю я в семинариста.

В кабинет вломился фельетонист, спросил:

— Опять меня зарезали?

И, пожимая руку Самгина, сообщил:

— Пятый фельетон в этом месяце.

Сел на подоконник и затрясся, закашлялся так сильно, что желтое лицо его вздулось, раскалилось докрасна, а тонкие ноги судорожно застучали пятками по стене; чesунчовый пиджак с'езжал с его костлявых плеч, голова судорожно тряслась, на лицо осыпались пряди обесцвеченных и, должно быть, очень сухих волос. Откашлявшись, он вытер рот не очень свежим платком и об'явил Климу:

— Простудился.

Затем он сказал, что за девять лет работы в газетах цензура уничтожила у него одиннадцать томов, считая по двадцать печатных листов в томе и по сорок тысяч знаков в листе. Самгин слышал, что Робинзон говорит это не с горечью, а с гордостью.

— Преувеличиваешь, — пробормотал редактор, читая одним глазом чью-то рукопись, а другим следя за новой надоедливой мухой.

Робинзон хотел сказать что-то, прыгнул с подоконника, снова закашлялся и плюнул в корзину с рваной бумагой, — редактор покосился на корзину, отодвинул ее ногой и сказал с досадой, ткнув кнопку звонка:

— Опять забыли плевательницу поставить.

Вошел Дронов, редактор возвел глаза над очками.

— Я звонил не вас, сторожа.

— Хроника, — сказал Дронов.

— Что именно?

— Утопленник. Две мелких кражи. Драка на базаре. Увечье.

— Жизнь, а? — вскричал Робинзон, взяв Клима под руку. —

Идемте пиво пить.

Дронов, стоя у косяка двери, глядя через голову редактора, говорил:

— Тюремный инспектор Топорков вчера, в управе, назвал членов управы Грачева — идиотом, а Тимофеева — вором...

— Но оба они не поверили ему, — закончил Робинзон и повел Клима за собой.

Самгин не хотел упустить случай познакомиться ближе с человеком, который считает себя вправе осуждать и поучать. На улице, шагая против ветра, жмурясь от пыли и покашливая, Робинзон оживленно говорил:

— Идем в Валгаллу, так называю я «Волгу», ибо кабак есть русская Валгалла, иде же упокоятся наши герои, а также люди, изнуренные пагубными страстями. Вас, юноша, какие страсти обуревают?

Шли чистенькой улицей, мимо разноцветных домиков, скрытых за палисадниками, окруженных садами.

— Удобненькие домишки, — бормотал Робинзон, жадно глотая горячий воздух. — Крепости всяческого консерватизма. Консерватизм возникает на почве удобств...

«Вот такие бездомные, безответственные люди, которым нечего жалеть», — думал Самгин.

— Помните у Толстого иронию дяди Акима по поводу удобных ватеров, а?

Клим, не ответив, улыбнулся; его вдруг рассмешила нелепо изогнутая фигура тощего человека в желтой чесунче, с желтой шляпой в руке, с растрепанными волосами пенькового цвета; красные пятна на скулах его напоминали о щеках клоуна.

— Не думаю, что вы — злой человек, — сказал он неожиданно для себя.

— То-то, что нет! — воскликнул Робинзон. — А надо быть злым, таков запрос профессии.

Ресторан стоял на крутом спуске к реке, терраса, утвержденная на столбах, висела в воздухе, как полка. Через вершины старых лип видно было синеватую полосу реки; расплавленное солнце сверкало на поверхности воды; за рекою, на песчаных холмах, прилепились серые избы деревни; дальше холмы заросли кустами можжевельника, а еще дальше с земли поднимались пышные облака.

В углу террасы одиноко скучала над пустой вазочкой для мороженого большая женщина с двойным подбородком, с лицом в форме дыни и темными усами под чужим, ястребиным носом.

— М-ме Каспари, знаменитая сводня, — шопотом сообщил Робинзон. — Писать о ней запрещено цензурой.

Дружеским тоном он сказал молодому лакею:

— Рыбки, Миша, яиц и парочку пива.

Торопливо закурив папиросу, он вытянул под стол уставшие ноги, развалился на стуле и тотчас же заговорил, всматриваясь в лицо Самгина пристально, с бесцеремонным любопытством:

— Интересно, что сделает ваше поколение, разочарованное в человеке? Человек-герой, видимо, антипатичен вам или пугает вас, хотя историю вы мыслите все-таки, как работу Августа Бебеля и подобных ему. Мне кажется, что вы более индивидуалисты, чем народники, и что массы выдвигаете вы вперед для того, чтоб самим остаться в стороне. Среди вашего брата не чувствуется человек, который сходил бы с ума от любви к народу, от страха за его судьбу, как сходит с ума Глеб Успенский.

Самгин сердито нахмурился, подбирая слова для резкого ответа, он не хотел беседовать на темы политики, ему хотелось бы узнать, на каких верованиях основано Робинзоном его право критиковать все и всех? Но фельетонист, дымя папиросой и уродливо щурясь, продолжал:

— Помните вы его трагический вопль о необходимости «делать огромные усилия ума и совести для того, чтоб построить жизнь на явной лжи, фальши и риторике»?

Он ломал хлеб и, бросая крупные куски за перила толстозобым, сизым голубям, смотрел, как жадно они расклеивают корку, вырывая ее друг у друга. Костлявое лицо его искажала нервная дрожь.

— Да, жизнь становится все более бессовестной, и устал я играть в ней роль шута. Фельетонист, это, батенька,— балаганный дед, клоун.

Привстав на стуле, он швырнул в голубей пробкой и сказал, вздохнув:

— Глупая птица. А Успенский, все-таки, оптимист, жизнь строится на риторике и на лжи очень легко, никто не делает «огромных» насилий над совестью и разумом.

Говорил он быстро и точно бежал по капризно изогнутой тропе, перепрыгивая от одной темы к другой. В этих прыжках Клим чувствовал что-то очень запутанное, противоречивое и похожее на исповедь. Сделав сочувственную мину, Клим молчал; ему было приятно видеть человека менее значительным, чем он воображал его.

Небрежно, торопливо поковыряв вилкой заливное из рыбы, фельетонист с'ел желе и сказал:

— Питаюсь исключительно рыбой и яйцами, пищей, наиболее богатой фосфором.

Но яйца он тоже не стал есть, а, покатав их между ладонями, спрятал в карман.

— Для знакомой собаки. У меня, батенька, — «влеченье, род недуга», к бездомным собакам. Такой умный, сердечный зверь — и не оценен! Заметьте, Самгин, никто не умеет любить человека так, как любят собаки.

Пиво он пил небольшими глотками, как вино, пил и морщился, чмокал.

— Как вы относитесь к анекдотам? — спросил он, оживляясь. — Я люблю.

Он закрыл правый глаз и старческим голосом, передразнивая кого-то, всхрапывая, проговорил:

— Пытливость народного ума осознает всю действительность легендарно и анекдотически... Нет, серьезно! Вот я жил в одиннадцати городах, но нашол в них только анекдоты. В Казани квартиро-хозяин мой, скопец, ростовщик, очень хитроумный старичек, рассказал мне, что Гавриил Державин, будучи богат, до сорока лет притворялся нищим и плачевные песни на улицах пел. Справедливый государь Александр Благословенный разоблачил его притворство, сослал в Сибирь, а в поношение ему велел изобразить его полуголым, в рубище, с протянутой рукой и поставить памятник перед театром — не притворяйся, шельма!

В сиповатом голосе Робинзона звучала грусть, он пытался прикрыть ее насмешливыми улыбками, но это не удавалось ему. Серые тени являлись на костлявом лице, как бы зарождаясь в морщинах под выгоревшими глазами, глаза лихорадочно поблескивали и уныло гасли, прикрываясь ресницами.

— А фамилия Державин об'ясняется так: казанский мужик Гаврила был истопником во дворце Екатерины Великой, она поругалась с любовником своим, Потемкиным, кричит: «Голову отрублю!» Он бежать, а она, в женской ярости своей, за ним, как была, голая. Тут Гаврила, не будь глуп, удержал ее: «Нельзя, говорит, тебе, царица, за любовниками бегать!» Тогда она опамятовалась: «Верно, Гаврила, и заслужил ты награду за охрану моей царско-женской чести, за то, что удержал державу от скандала». После того он семь лет стоял на часах у дверей ее спальни, и дана ему была фамилия — Державин.

А Потемкина она сослала в Казань губернатором, и потом он Пугачеву передался.

Робинзон достал из кармана черный стальной портпапирос и, глядя в дымчатую скуку за рекой, вздохнул:

— Мною записано больше сотни таких анекдотов о царях, поэтах, архиереях, губернаторах...

— Это интересно, — сказал Самгин равнодушным тоном. Слушая анекдоты фельетониста, он вспомнил пренебрежительный отзыв о нем Вававки:

«Робинзон из тех интеллигентов, в душе которых житейский опыт не прессуется в определенные формы, не источает педагогической злости, а только давит носителей его. Комнатная собачка, — Робинзон».

Клим встал, протянул руку.

— Мне пора.

— Я тоже иду, — сказал Робинзон.

Четко отбивая шаг из ресторана, точно из кулисы на сцену, вышел на террасу плотненький, смуглолицый регент соборного хора. Густые усы его были закручены концами вверх почти до глаз, круглых и черных, как слишком большие пуговицы его щегольского сюртучка. Весь он был гладко отшлифован, палка, не нужная в его волосатой руке, тоже блестела.

— Корвин, — прошептал фельетонист, вытянув шею и покашливая; спрятал руки в карманы и уселся покрепче. — Считает себя потомком венгерского короля Стефана Корвина; негодяй, нещадно бьет мальчиков-хористов, я о нем писал; видите, как он агрессивно смотрит на меня?

Размахивая палкой, делая даме в углу приветственные жесты рукою в желтой перчатке, Корвин важно шел в угол, встречу улыбке дамы, но, заметив фельетониста, остановился, нахмурил брови, и концы усов его грозно пошевелились, а матовые белки глаз налились кровью. Клим стоял, держась за спинку стула, ожидая, что сейчас разразится скандал; по лицу Робинзона, по его растерянной улыбке он видел, что и фельетонист ждет того же.

Но из двери ресторана выскочил на террасу огромной черной птицей Иноков в своей разлеталке, в одной руке он держал шляпу, а другую вытянул вперед так, как-будто в ней была шпага. О шпаге Самгин подумал потому, что и неожиданным появлением своим и всею фигурой Иноков напомнил ему мелодраматического героя Дон Цезаря де-Базан.

— Ба, Иноков, когда вы... — радостно вскричал фельетонист, вскочив со стула, и тотчас же снова сел, а Иноков, молча шлепнув регента шляпой по лицу, вырвал палку из руки его, швырнул ее за перила террасы и, схватив регента за ворот, встряхивая его, зашептал что-то, захрипел в круглое, густо покрасневшее лицо с выкатившимися глазами. Регент был по плечо Инокову, но значительно

шире и плотнее; Клим ждал, что он схватит Инокова и швырнет за перила, но регент, качаясь на ногах, одной рукой придерживал панаму, а другой, толкая Инокова в грудь, кричал звонким голосом:

— Оставьте! Что вы? Я буду жаловаться.

С легкостью, удивившей Клима, Иноков повернул регента спиной к себе и, ударив его ногою в зад, рявкнул:

— Изувечу!

Вбежали два лакея, буфетчик, в двери встал толстый человек с салфеткой на груди, дама колотила кулаком по столу и кричала:

— Да позовите же полицию!

Но регент, подпрыгивая, убежал в ресторан и лишь оттуда, размахивая панамой, задыхаясь, взвизгнул:

— Вы мне ответите! Я вас... хорошо!

Самгин был очень взволнован скандалом, но все-таки подумал, как жалок и смешон испуганный человек.

Шагая к двери, дама сказала ему:

— Не стыдно? Оскорбляют человека, а вы сидите, как в цирке...

Не уступив ей дорогу, Иноков заглянул в лицо ей и крикнул, как на лошадь:

— Н-ну!

Она отскочила от него и быстро ушла в ресторан, сказав:

— Я — свидетельница!

Иноков подошел к Робинзону, угрюмо усмехаясь, сунул руку ему, потом Самгину, рука у него была потная, дрожала, а глаза странно и жутко побелели, зрачки как-будто расплылись, и это сделало лицо его слепым. Лакей подвинул ему стул, он сел, спрятал руки под столом и спросил:

— Пива, Матвей Васильевич, похолоднее.

— Что это значит? За что? — тихо, но возмущенно спросил Робинзон.

— Он знает! — сказал Иноков и тряхнул головой, сбросив с нее шляпу на колени себе.

— Не одобряю, — сердито фыркнул Робинзон, закуривая папиросу.

Пожав плечами, Иноков промолчал.

— Душно, — сказал Самгин, обмахиваясь платком.

Почему-то было неприятно узнать, что Иноков обладает силою, которая позволила ему так легко вышвырнуть человека, значительно более плотного и тяжелого, чем сам он. Но Клим тотчас же вспомнил фразу, которую слышал на сеансе борьбы:

— Храбростью взял, а не силой.

Ему хотелось уйти, но он подумал, что Иноков поймет это, как протест против него, и ему хотелось узнать, за что этот дикарь бил регента.

— Вы когда приехали? — спросил он.

— Вчера вечером,—очень охотно отозвался Иноков. Затем, улыбаясь той улыбкой, которая смягчала и красила его грубое лицо, он продолжал:

— Шабаш! Поссорился с Варавкой и в газете больше не работаю! Он там на выставке ходил, как жадный мальчуган по магазину игрушек. А Вера Петровна — точно калуцкая губернаторша, которую уж ничто не может удивить. Вы знаете, Самгин, Варавка мне нравится, но до какого-то предела...

— Вы, батенька, скоро со всем миром поругаетесь, неуживчивый человек, — проворчал Робинзон, предлагая Инокову папирос. — За что вы регента напугали?

Иноков взял папиросу, посмотрел на нее, сломал, бросил на поднос и вздохнул, расправляя плечи, прищурился глазами.

— О регенте спросите регента. А я, кажется, поеду на Камчатку, туда какие-то свиньи собираются золото искать. Надоела мне эта ваша словесность, Робинзон, надоел преподобный редактор, шум и запах несчастных машин типографии — все надоело!

— Очень последовательно! — иронически заметил Робинзон. — Выскочить из газеты в Камчатку...

Самгин нашел, что теперь можно уйти. Пожимая его руку, Иноков спросил с усмешкой:

— Строго осудили меня, а?

— Не могу судить, не зная мотивов, — великодушно ответил Самгин.

С недоверием к себе, он чувствовал, что этот парень сегодня стал значительнее в его глазах, хотя и остался таким же неприятным, каким был.

«Ведь не подкупает же меня его физическая сила и ловкость», — догадывался он, хмурясь, и все более ясно видел, что один человек стал мельче, другой — крупнее.

Дома он тотчас нашел среди стихотворений подписанное — Иноков. Буквы подписи и неровных строчек были круто опрокинуты влево и лишены определенного рисунка, каждая буква падала отдельно от другой, все согласные написаны маленькими, а гласные — крупно. Уж в этом чувствовалась искусственность.

Сударыня!

читал Клим, нахмурясь:

Я — очень хорошая собака!
Это признано стадами разных скотов,
И даже свиньи, особенно враждебные мне,
Не отрицают некоторых достоинств моих.

Но я не могу найти человека,
Который полюбил бы меня бескорыстно.

Я не плохо знаю людей
И привык отдавать им все, что имею,
Черная печали и радости жизни
Сердцем моим, точно медным ковшом.

Но — мне взять у людей нечего:
 Я не ем сладкого и жирного,
 Пошлость возбуждает у меня тошноту,
 Еще щенком я уже был окормлен ложью.

Я издыхаю от безумнейшей тоски.
 Мне нужно человека,
 Которому я мог бы радостно и нежно лизать руки
 За то, что он человечески хорош!

Сударыня!

Если вы в силах послужить богом
 Хорошей собаке, честному псу,
 Право же — это не унизило бы вас...

Задумчиво глядя в серенькую пустоту неба, она спросила:
 — А где же рифмы?

«Это — не стихи, — решил Самгин, с недоумением глядя на измятый листок. — Глупо это или оригинально?»

Ему иногда казалось, что оригинальность — тоже глупость, только одетая в слова, расставленные необычно. Но на этот раз он чувствовал себя сбитым с толка: строчки Инокова звучали не глупо, а признать их оригинальными — не хотелось. Вставляя карандашом в кружки о и а глаза, носы, губы, Клим снабжал уродливые головки ушами, щетиной волос и думал, что хорошо бы высмеять Инокова, написав пародию: «Веснушки и стихи». Кто это «сударыня»? Неужели Спивак? Наверное. Тогда понятно, почему он оскорбил регента.

Вечером, когда стемнело, он пошел во флигель, застал Елизавету Львовну у стола с шитьем в руках и прочитал ей стихи. Выслушав, не поднимая головы, Спивак спросила:

— Иноков разрешил вам прочитать эти стихи мне?

— Нет, но они не будут напечатаны, — поспешно и смутясь ответил Самгин. — А почему вы знаете, что автор — Иноков?

Спивак приподняла голову и посмотрела на Клима с улыбкой, еще более смутившей его.

— Вы ему не говорите, — попросил он.

Отложив шитье на стол, она спросила:

— Иноков не нравится вам?

— Да, в нем есть что-то неприятное, — не сразу ответил Самгин.

— Грубоватость, — подсказала женщина, сняв с пальца наперсток, играя им. — Это у него от недоверия к себе. И от Шиллера, от Карла Моора, — прибавила она, подумав, покачиваясь на стуле. — Он — романтик, но слишком обремененный правдой жизни, и потому он не будет поэтом. У него одно стихотворение закончено так:

Душу мою насилует отчаяние
 Нарядное, точно кокотка,
 В бумажных цветах жалких слов.

Это очень не ловко сказано; он вообще не ловок и в словах, и в мыслях, вероятно, потому, что он — честный человек.

Говоря, она мягкими жёстами оправляла волосы, ворот платья, складки на груди.

«Ощипывается, точно насадка,—думал Клим, наблюдая за нею исподлобья. — Он нее пахнет молоком».

Говорила она тоном учительницы, и слушать ее было неприятно. — В юности каждый из нас стремится найти свой собственный путь, это еще Гете отметил, — слышал Клим.

«Плохо я разбираюсь в женщинах. В сущности, она — скучная и мешанка, а в Петербурге казалось...»

— Вы помните, он отделял поэзию от правды жизни...

— Кто? — спросил Самгин.

— Гете.

— Ах, да! Вы согласны с ним?

— Женщина имеет очень обоснованное право считать поэзию ложью, — не громко, но твердо сказала Спивак.

За дверью соседней комнаты покашливал музыкант, и скука слов жены его как бы сгущалась от этого кашля. Выбрав удобную минуту, Клим ушел, почти озлобленный против Спивак, а ночью долго думал о человеке, который стремится найти свой собственный путь, и о людях, которые всячески стараются взнуздать его, направить на дорогу, истоптанную ими, стереть его своеобразное лицо. Смешно сказала Алина Телепнева, что она видит весь мир исправительным заведением для нее, но она — права. Мир делают исправительным заведением вот такие Елизаветы Спивак.

Через несколько дней Клим Самгин, лежа в постели, развернул газету и увидал напечатанным свой очерк о выставке. Это приятно взволновало его, он даже на минуту закрыл глаза, а перед глазами все-таки стояли черненькие буквы: «На празднике русского труда». Но, прочитав шесть столбцов плотного и мелкого шрифта, он почувствовал себя так беспокойно, как-будто его кусают и щекочат мухи. Раздражали опечатки; было обидно убедиться, что некоторые фразы многословны и звучат тяжело, иные слишком высокопарны, и хотя, в общем, тон очерка солиден, но есть в нем что-то чужое, от ворчливых суждений Инокова. Это было всего неприятнее и тем более неприятно, что в двух, трех местах слова Инокова оказались воспроизведенными почти буквально. Особенно смутила его фраза о Пенелопе, ожидающей Одиссея, и о лысых женихах.

• «Как это я допустил?»—с досадой упрекнул он себя.

Зеркало показало ему озабоченное и вытянутое лицо, с прикушенной нижней губой и ледяным блеском очков.

«Интересно, что скажет Спивак?»

— Мне кажется, что это написано несколько излишне нарядно,— сказала она, но тотчас же и утешила:—А вообще—поздравляю!

Дронов тоже поздравил и как-будто искренно:

— С началом писательской карьеры, — вскричал он, встряхивая руку Самгина, а Робинзон повторял отзыв Елизаветы Львовны.

— Хвалю, однако ж все-таки замечу вот что: статейка похожа на витрину гастрономического магазина: все — вкусно, а — не для широкого потребления.

Клим принял его слова за комплимент.

Самым интересным человеком в редакции и наиболее характерным для газеты Самгин, присмотревшись к сотрудникам, подчеркнул Дронова, и это немедленно понизило в его глазах значение «органа печати». Клим должен был признать, что в роли хроникера Дронов на своем месте. Острый взгляд его беспокойных глаз проникал сквозь стены домов города в микроскопическую пыль будничной жизни, зорко находя в ней, ловко извлекая из нее наиболее крупные и темные пылинки.

— Почти вся газета живет моим материалом, — хвастался он, кривя рот. — Если б не я, так Робинзону и писать не о чем. Места мне мало дают; я мог бы зарабатывать сотни полторы.

Все, что Дронов рассказывал о жизни города, отзывалось непрерывно кипевшей злостью и сожалением, что из этой злости нельзя извлечь пользу, невозможно превратить ее в газетные строки. Злая пыль повестей хроникера и отталкивала Самгина, рисуя жизнь медленным потоком скучной пошлости, и привлекала, позволяя ему видеть себя не похожим на людей, создающих эту пошлость. Но все же он раза два заметил Дронову:

— Ты слишком тенденциозно фиксируешь темное.

— Ну, а что же еще фиксировать? — спросил хроникер, сжав ладони, хрустнув пальцами, и пуговка носа его покраснела. — Редактор везет отчима твоего в городские головы, а воображает себя преобразователем России, болван. Больше всего он любит наблюдать, как корректорша чешет себе ногу под коленом, у нее там всегда чешется, должно быть, подвязка тугая, — рассказывал он, не улыбаясь, как о важном. — Корректорша — урод, рябая; была сельской учительницей, выгнали за неблагонадежность. Когда у нее нет работы — пасьянсы раскладывает; я спросил: о чем гадаете? «Скоро ли будет у нас конституция». Врет, конечно, гадает о мужчине.

Рассказывал он, что вице-губернатор, обнимая опереточную актрису, уколел руку булавкой, рука распухла, опухоль резали, опасаются заражения крови.

— Это — для Робинзона, — с сожалением сказал он и с надеждой добавил: — но и у него не пройдет.

Дронов знал изумительно много грязных романов, жалких драм, фактов цинического корыстолюбия, мошенничеств, которые невозможно разоблачить.

— Цензор — собака. Старик, брюхо по колени, жена — молоденькая, дочь попа, была сестрой милосердия в «Красном Кресте». Теперь ее воспитывает чиновник для особых поручений губернатора, Маевский, недавно подарил ей полдюжины кружевных панталон.

В изображении Дронова город был населен людьми, которые, единодушно творя всяческую скверну, так же единодушно следят друг за другом в целях взаимного предательства, а Иван Дронов подсматривает за всеми, собирая бесконечный материал для доноса кому-то на всех людей.

По субботам в редакции сходились сотрудники и доброжелатели газеты, люди, очевидно, любившие поговорить всюду, где можно и о чем угодно. Самгин утверждался в своем взгляде: человек есть система фраз; иногда он замечал, что этот взгляд освещает не всего человека, но, ведь, «нет правила без исключений!» Это изречение дальнорочно предусматривает возможность бытия людей, одетых исключительно ловко и парадно подобранными словами, что приводит их все-таки только к созданию своей системы фраз, не далее. Вероятно, возможны и не глупые люди, которые, стремясь к устойчивости своих мнений, достигают состояния верующих и, останавливаясь в духовном развитии своем, глупеют.

Слушая, как в редакции говорят о необходимости политических реформ, разбирают достоинства европейских конституций, утверждают и оспаривают возникновение в России социалистической крестьянской республики, Самгин думал, что эти беседы, всегда горячие, иногда озлобленные — словесная игра, которой развлекаются скучающие, или ремесло профессионалов, которые зарабатывают хлеб свой тем, что «будят политическое и национальное самосознание общества». Игрою и ремеслом находил Клим и суждения о будущем Великого Сибирского пути, о выходе России на берега океана, о политике Европы в Китае, об успехах социализма в Германии и вообще о жизни мира. Странно было видеть, что судьбы мира решают два десятка русских интеллигентов, живущих в захолустном городке среди семидесяти тысяч обывателей, для которых мир был ограничен пределами их мелких интересов. Эти люди возбуждали особенно острое чувство неприязни к ним, когда они начинали говорить о жизни своего города. Тут все они становились похожими на Дронова. Каждый из них тоже как-будто обладал невидимым мешочком серой пыли, и все, подобно мальчишкам, играющим на немощных улицах окраин города, горстями бросали друг в друга эту пыль. Мешок Дронова был обемистее, но пыль была почти у всех одинаково едкой и раздражавшей Самгина. По утрам, читая газету, он видел, что пыль легла на бумагу черненькими пятнышками шрифта, и от нее исходит запах жира.

Это раздражение не умиротворяли и солидные речи редактора. Вслушиваясь в споры, редактор распускал и поднимал губу, тихонько двигаясь на стуле, усаживался все плотнее, как бы опасаясь, что стул выскочит из-под него. Затем он говорил отчетливо, предостерегающим тоном:

— У нас развивается опасная болезнь, которую я назвал бы гипертрофией критического отношения к действительности. Трансплан-

тация политических идей Запада на русскую почву необходима — это бесспорно. Но мы не должны упускать из вида огромное значение некоторых особенностей национального духа и быта.

Говорить он мог долго, говорил, не повышая и не понижая голоса, и почти всегда заканчивал речь осторожным пророчеством о возможности «взрыва с низу».

— Революцию у нас делают не Рылеевы и Пестели, не Петрашевские и Желябовы, а Болотниковы, Разины и Пугачевы, — вот что необходимо помнить.

Самгину казалось, что редактор говорит умно, но все-таки его словесность похожа на упрямый дождь осени и вызывает желание прикрыться зонтиком.

Редактора слушали не очень почтительно, и он находил только одного единомышленника, Томилина, который, с мужеством пожарного, заливал пламень споров струею холодных слов.

— Окруженная стихией зоологических инстинктов народа, интеллигенция должна вырабатывать не политические теории, которые никогда и ничего не изменяли и не могут изменить, а психическую силу, которая могла бы регулировать сопротивление вполне естественного анархизма народных масс дисциплине государства.

С Томилиным спорили неохотно, осторожно, только элегантный адвокат Правдин пытался засыпать его пухом слов.

— Если я не ошибаюсь, вы рассматриваете народ солидарно с Ницше и Ренаном, который в своей философской драме «Калибан»...

Но Томилин не слушал возражений, усмехаясь, приподняв рыжие брови, он смотрел на адвоката фарфоровыми глазами и тискал в лицо его вопросы:

— Вы согласны, что жизнь необходимо образумить? Согласны, что интеллигенция и есть орган разума?

Клим видел, что Томилина и здесь не любят, и даже все, кроме редактора, как-будто боятся его, а он, чувствуя это, явно гордился, и казалось, что от гордости медная проволока его волос еще более топырится. Казалось также, что он говорит еретические фразы нарочно, из презрения к людям.

— Гуманизм во всех его формах всегда был и есть не что иное, как выражение интеллектуалистами сознания бессилия своего пред лицом народа. Точно так же, как унижительное проклятие пола мы пытаемся прикрыть сладкими стишками, — мы хотим прикрыть трагизм нашего одиночества евангелиями от Фурье, Кропоткина, Маркса и других апостолов бессилия и ужаса пред жизнью.

Широко улыбаясь, показывая белые зубы, Томилин закончил:

— Но — уже поздно. Сумасшедшее развитие техники быстро приведет нас к торжеству грубейшего материализма...

Адвокат Правдин возмущенно кричал о противоречиях, о цинизме, Константине Леонтьеве, Победоносцеве, а Робинзон, покашливая, посмеиваясь, шептал Климу:

— Ах, рыжая обезьяна! Как дразнит!

Томилин удовлетворенно сопел и, вынимая из кармана пиджака платок, большой, как салфетка, крепко вытирал лоб, щеки. Лицо его багровело, глаза выкатывались, под ними вздулись синеватые подушечки опухолей, он часто отдувался, как человек, который слишком плотно покушал. Клим думал, что если б Томилин сбрил толстоволовую бороду, оказалось бы, что лицо у него твердое, как арбуз. Клима Томилин демонстративно не замечал; если же Самгин здоровался с ним, он молча и небрежно совал ему свою шерстяную руку и смотрел в сторону.

— За что он сердится на меня? — спросил Клим всезнающего Дронова.

— Вероятно, ревнует. У него учеников нет. Он думал, что ты будешь филологом, философом. Юристов он не выносит, считает их невеждами. Он говорит: «Для того, чтоб защищать что-то, надобно знать все». — Скосив глаза, Дронов добавил: — От него все, — точно крысы у Гоголя — понюхают и уходят.

— Ты часто бываешь у него?

— Хожу, — неопределенно ответил Дронов и вздохнул: — У него жена добрая.

Играя ножницами, он прищемил палец, ножницы отшвырнул, а палец сунул в рот, пососал, потом осмотрел его и спрятал в карман жилета, как спрятал бы карандаш. И снова вздохнул:

— Он много верного знает, Томилин. Например, о гуманизме. У людей нет никакого основания быть добрыми, никакого, кроме страха. А жена его — бессмысленно добра... как пьяная. Хоть он уже научил ее не верить в бога. В сорок-то шесть лет.

Клим Самгин был согласен с Дроновым, что Томилин верно говорит о гуманизме, и Клим чувствовал, что мысли учителя, так же, как мысли редактора, сродны ему. Но оба они не возбуждали симпатий, один — смешной, в другом есть что-то жуткое. В конце концов, они, как и все другие в редакции, тоже раздражали его чем-то; иногда он думал, что это «что-то», — может быть, «избыток мудрости».

Его заинтересовал местный историк Василий Еремеевич Козлов, аккуратенький, беловолосый, гладко причесанный старичек, с мордочкэй хорька и острыми, розовыми ушами. На его желтом, разрисованном красными жилками лице — сильные очки в серебряной оправе, за стеклами очков расплылись мутные глаза. Под бодьшим, уныло опустившимся и синеватым носом, коротко подстриженные белые усы, а на дряблых губах постоянно шевелилась вежливая улыбочка. Он казался алкоголиком, но было в нем что-то приятное, игрушечное, его аккуратный сюртучек, белоснежная манишка, выглаженные брючки, ярко почищенные сапоги и умение молча слушать, необычное для старика, — все это вызывало у Самгина и симпатию к нему и беспокойную мысль:

«Может быть, и я, в старости, буду так же забыто сидеть среди людей, чужих мне...»

Козлов приносил в редакцию написанные на квадратных листочках бумаги очень мелким почерком и канцелярским слогом очерки по истории города, но редактор редко печатал его труды, находя их нецензурными или неинтересными. Старик, вежливо улыбаясь, свертывал рукопись трубочкой, скромно садился на стул под картой России и полчаса, а иногда больше, слушал беседу сотрудников, присматривался к людям сквозь толстые стекла очков; а люди единодушно не обращали на него внимания. Местные сотрудники и друзья газеты — все знали его, но относились к старику фамильярно и снисходительно, как принято относиться к чудакам и не очень назойливым графомамам. Клим заметил, что историк особенно внимательно рассматривал Томилина и даже как-будто боялся его; может быть, это объяснялось лишь тем, что философ, входя в зал редакции, пригибал рыжими ладонями волосы свои, горизонтально торчавшие по бокам черепа, и, не зная Томилина, можно было понять этот жест, как выражение отчаяния:

— Что я сделал!

Дронов рассказал, что историк, имея чин поручика, служил в конвойной команде, в конце 50-х годов был судим, лишен чина и посажен в тюрьму «за спасение погибавших»; арестанты подожгли помещение этапа, и, чтоб они не сгорели сами, Козлов выпустил их, при чем некоторые убежали. За это его самого посадили в тюрьму. С той поры он почти сорок лет жил, занимаясь историей города, написал книгу, которую никто не хотел издать, долго работал в «Губернских Ведомостях», печатая там отрывки своей истории, но был изгнан из редакции за статью, излагавшую ссору одного из губернаторов с архиереем; светская власть обнаружила в статье что-то не лестное для себя и зачислила автора в ряды людей неблагонадежных. Жил Козлов торговлей старинным серебром и церковными старопечатными книгами.

— Притворяется тихоньким, а, должно быть, злой, — говорил Дронов, почесывая желтоволосый подбородок. — И скуп, от скупости всю жизнь прожил холостяком.

Дронов всегда говорил о людях с кривой усмешечкой, посматривая в сторону и как бы видя там образы других людей, в сравнении с которыми тот, о ком он рассказывал, — негодяй. И почти всегда ему, должно быть, казалось, что он сообщил о человеке мало плохого, поэтому он закреплял конец своей повести узлом особенно резких слов. Клим, давно заметив эту его привычку, на сей раз почувствовал, что Дронов не находит для историка темных красок, да и говорит о нем равнодушно, без оживления, характерного во всех тех случаях, когда он мог обильно напудрить человека пылью своей злости. Этим Дронов очень усилил интерес Клима к чистенькому старичку, и Самгин обрадовался, когда историк, выйдя одновременно с ним из редакции на улицу, заговорил, вздохнув:

— Удручает старость человека! Вот — слышу: говорят люди слова знакомые, а смысл оных слов уже не внятен мне.

И, заглядывая в лицо Самгина, он продолжал странным, упрасливающим тоном:

— Вы, кажется, человек внимательного ума и шикарной словесностью не увлечены, молчите все, так как же, по-вашему: можно ли пренебрегать историей?

— Конечно, нельзя, — ответил Клим со всею солидностью.

Старик поднял руку над плечом своим, четыре пальца сжал в кулак, а большим указал за спину:

— А они — пренебрегают. Каждый думает, что история началась со дня его рождения.

Голосок у него был не старческий, но крепенький и какой-то таинственный.

— Самоменния много у нас, — сказал Клим.

— Именно! И — торопливость во всем. А, ведь, вскачь землю не пашут. Особенно в крестьянском-то государстве невозможно галопом жить. А у нас все подхлестывают друг друга либеральным хлыстиком, чтобы Европу догнать.

Приостановясь, он дотронулся до локтя Клим.

— Не думайте, я не консерватор, отнюдь! Нет, я допускаю и Земский собор и вообще... Но — сомневаюсь, чтоб нам следовало бежать, сломя голову, тем же путем, как Европа...

Козлов оглянулся и сказал потише, как бы сообщая большой секрет:

— Европа-то, может быть,—Лихо одноглазое для нас, ведь, вот что, Европа-то!

И еще тише, таинственнее он посоветовал:

— Вспомните-ка вчерашний день, хотя бы с Двенадцатого гола, а после того — Севастополь, а затем — Сан-Стефано и, в конце концов, гордое слово императора Александра III: — «Один у меня друг — князь Николай Черногорский». Его, черногорского-то, и не видно на земле, мошка он в Европе, комаришка, да-с! Она, Европа-то, если вспомните все ее грехи против нас, именно — Лихо. Туркам мирволит, а величайшему народу нашему ножку подставляет...

Шли в гору по тихой улице, мимо одноэтажных, уютных домиков, в три, в пять окон с кисейными занавесками, с цветами на подоконниках. Ставни окон, стены домов, ворота окрашены зеленой, синей, коричневой, белой краской; иные дома скромно прятались за палисадниками, другие гордо выступали на кирпичную панель. Пенная зелень садов, омытая двухдневным дождем, раз'единяла дома, осеняя их крыши; во дворах, в садах кричали и смеялись дети, кое-где в окнах мелькали девичьи лица, в одном доме работал настройщик рояля, с горы и снизу доносился разноголосый благовест ко всеобщей; во влажном воздухе серенького дня медь колоколов звучала не громко и томно.

— Может, окажете честь, зайдете чайку попить? — вопросительно предложил историк. — Как истый любитель чая и пьющий его безо всяких добавлений, как-то: сливок, лимона, вареньев, — употребляю только высокие сорта. Замечательным угощу: Ижень-Серебряные иголки.

Козлов остановился у ворот одноэтажного, приземистого дома о пяти окнах и, посмотрев налево, направо, удовлетворенно проговорил:

— Самая милая и житейская улица в нашем городе, улица для сосредоточенной жизни, так сказать...

Клим никогда еще не был на этой улице, он хотел сообщить об этом историку, но — устыдился. Дверь крыльца открыла высокая, седоволосая женщина в черном, густобровая, усатая, с неподвижным лицом.

— Это — уважаемая домохозяйка, Анфиса Никоновна Стрельцова, — рекомендовал ее историк; домохозяйка пошевелила бровями и подала руку Самгину ребром, рука была жесткая, как дерево.

— Стрельцовы, Ямщиковы, Пушкаревы, Затинщиковы, Тиуновы, Иноземцевы — старейшие фамилии города, — рассказывал историк, вводя гостя в просторную комнату с двумя окнами — во двор и в огород. — Обыватели наши фамилий своих не ценят: во всем городе только модный портной Гамиров гордится фамилией своей, а она ничего не значит.

Клим, почтительно слушая, оглядывал жилище историка. Обширный угол между окнами был тесно заполнен иконами, три лампы горели перед ними, белая, красная, синяя.

«Цвета национального флага», — сообразил Самгин и почувствовал в этом нечто, хотя и наивное, но — трогательное.

Блестели золотые, серебряные венчики на иконах и опаловые слезы жемчуга риз. У стены — старинная кровать корельской березы, украшенная бронзой, такие же четыре стула стояли посреди комнаты вокруг стола. Около двери, в темноватом углу — большой шкаф; с полок его, сквозь стекло, Самгин видел ковши, братины, бокалы и черные кирпичи книг, переплетенных в кожу. Во всем этом было нечто внушительное.

— В записках местного жителя Афанасия Дьякова, частью опубликованных мною в «Губернских Ведомостях», рассказано, что швед пушкарь Егор — думать надо Ингвар, сиречь — упрощенно Георг, — Игорь, — отличаясь смелостью характера и простотой души, сказал Петру Великому, когда суровый государь этот заглянул проездом в город наш: «Тебе, царь, кузнечному да литейному делу выучиться бы, в деревянном царстве твоём плотников и без тебя довольно есть». В шведскую кампанию дерзкий Егор этот, будучи уличен в измене, был повешен.

Рассказывая, старик бережно снял сюртучек, надел полосатый пиджак, похожий на женскую кофту, а затем начал хвастаться сокро-

вищами своими: показал Самгину серебряные, с позолотой, ковши, один царя Федора, другой — Алексея.

— Ковши эти жалованы были целовальникам за успешную торговлю вином в царевых кабаках, — объяснял он, любовно поглаживая пальцем чеканную вязь надписей. Похвастался отлично переплетенной в зеленый сафьян, тисненный золотом, книжкой Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге», с автографом Дениса Давыдова и чьей-то подписью угловатым почерком; начало подписи было густо зачеркнуто, остались только слова: «...за сие и был достойно наказан удалением в армию тысяча восемь сот четвертого году». И особенно таинственно показал желтый лист рукописи, озаглавленной:

«Свободное размышление профана о вредоносности насаждения грамоты среди нижних воинских чинов гвардии с подробным перечнем бывших злокозненных деяний оной от времени восшествия на Всероссийский престол Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Елисавет Петровны и до кончины Благочестивейшего Императора Павла I, включая и оную».

— Замечательнейшее, должно быть, сочинение было, — огорченно сказал Козлов, — но вот — все, что имею от него. Найдено мною в книге «Камень веры», у одного любителя древностей взятой на прочтение.

Показывая редкости свои, старик нежно гладил их сухими ладонями в дряблой коже цвета утиных лап, двигался он быстро и гибко, точно ящерица, а крепкий голосок его звучал все более таинственно. Узор красненьких жилок на скулах, казалось, изменялся, то — густея, то растекаясь к вискам.

— Умиляет меня прелестная суетность вещей, созданных от руки человека, — говорил он, улыбаясь. — Городок наш милый относится к числу отодвинутых в сторону от путей новейшей истории, поэтому в нем много важного и ценного лежит нетронуто по укладкам, по сундукам, ожидая прикосновения гениальной руки нового Карамзина, или, хотя бы, Забелина. Я, ведь, пребываю поклонником сих двух поэтов истории, а особенно — первого, ибо никто, как он, не понимал столь сердечно, что Россия нуждается во внимательном благорасположении, а человеки — в милосердии.

Он и за чаем, — чай был, действительно, необыкновенного вкуса и аромата, — он, и смакуя чай, продолжал говорить о старине, о прошлом города, о губернаторах его, архиереях, прокурорах.

— Отличаясь малой воспитанностью и резкостью характера, допустил он единожды такую шутку, не выгодную для себя. Пригласил владыку Макария на обед и, предлагая ему кабанью голову, сказал: «Примите, ядите, ваше преосвященство!» А владыка, не будь плох, и говорит: «Продолжайте, ваше превосходительство!»

Старик звонко расхохотался и сквозь смех выговорил:

— Понимаете? Графу-то Муравьеву пришлось бы сказать о свиной голове: «Сие есть тело мое!» А? Ведь вот как шутили!

Затем он рассказал о добросердечной купчихе, которая, привыкнув каждую субботу посылать милостыню в острог арестантам и узнав, что в город прибыл опальный вельможа Сперанский, послала ему с приказчиком пяток печеных яиц и два калача. Он снова посмеялся. Самгин отметил в мелком смехе старика что-то неумелое и подумал:

«Не часто он смеялся, должно быть».

— Какова оценочка государственной работы Бонапартова поклонника? Пять печеных яиц! — восхищался Козлов, играя пальчиками в воздухе. — И каково добросердечие простодушной русской женщины, а?

Кривобокая старуха Федосова говорила большими словами о сказочных людях, стоя где-то в стороне и выше их, а этот чистенький старичек рассказывает о людях обыкновенных, таких же маленьких, каков он сам, но рассказывает так, что маленькие люди приобретают некую значительность, а иногда и красоту. Это любовное раскрашивание будничного, обыкновенного нежными красками рисовало жизнь, как тихий праздник с обедами, оладьями, вареньями, крестинами и свадебными обрядами, похоронами и поминками, жизнь бесхитростную и трогательную своим простодушием. Рассказывал Козлов об уцелевшем от глубокой древности празднике в честь весеннего бога Ярилы и о многих других пережитках языческой старины.

Самгина приятно изумляло умение историка скрашивать благожелательной улыбкой все то, что умные книги и начитанные люди заставляли считать пошлым, глупым, вредным. Он никогда не думал и ничего не знал о начале дней жизни города; Козлов, показав ему «Строельную книгу», искусно рассказал, как присланный царем Борисом Годуновым боярский сын Жадов с ратниками и холопами основал порубежный городок, чтобы беречь Москву от набегов кочевников, как ратники и холопы дрались с мордвой, полонили ее, заставляли работать, как разбегались холопы из-под руки жестоковыйного Жадова и как сам он буйствовал, подстрекаемый степной тоской.

И все: несчастная мордва, татары, холопы, ратники, Жадов, поп Василий, дьяк Тишка Дрозд, зачинатели города и враги его, все были равномерно обласканы стареньким историком и за хорошее и за плохое, содеянное ими по силе явной необходимости. Та же сила понудила горожан пристать к бунту донского казака Разина и уральского — Пугачева, а казачьи бунты были необходимы для доказательства силы и прочности государства.

— Народ у нас смиренный, он сам бунтовать не любит, — внушительно сказал Козлов. — Это разные господа, в роде инородца Щапова, или казачьего потомка Данилы Мордовцева, облыжно приписывают русскому мужику пристрастие к «политическим движениям» и враждебность к государыне Москве. Это — сущая неправда, — наш народ казаки вовлекали в бунты. Казак Москву не терпит. Мазепа двадцать лет служил Петру Великому, а все-таки изменил.

Теперь историк говорил строго, даже пристукивал по столу кулачком, а красный узор на лице его слился в густое пятно. Но через минуту он продолжал снова умиленно:

— А теперь вот, зачатый великими трудами тех людей, от коих даже праха не осталось, разросся значительный город, которому и в красоте не откажешь, вмещает около семи десятков тысяч русских людей и все растет, растет тихонько. В тихом-то трудолюбии больше геройства, чем в бойких наскоках. Поверьте слову: землю вскачь не пахут, — повторил Козлов, очевидно, любимую свою поговорку.

Поговорками он был богат, и все они звучали, точно аккорды одной и той же мелодии.

— Главный кирпич не в карнизе, а в фундаменте. Всякий бык теленком был, — то-и-дело вставлял он в свою речь. Смотреть на него было так же приятно, как слушать его благожелательную речь, обильную мягкими словами, тускловатый блеск которых имел что-то общее с блеском старого серебра в шкафу. Тонкие руки с кистями темных пальцев двигались округло, легко, расписанное лицо ласково морщилось, шевелились белые усы, и за стеклами очков серенькие зрачки напоминали о жемчуге риз на иконах. Он вкусно пил чай, вкусно грыз мелкими зубами пресные лепешки, замешанные на сливках, от него, как от плодового дерева, исходил приятный запах. Клим незаметно для себя просидел с ним до полуночи и вышел на улицу с благодушной улыбкой. Чувство, которое разбудил в нем старик, было сродно умилению, испытанному на выставке, но еще более охмеляющим. Ночь была теплая, но в садах тихо шумел свежий ветер, гоня по улице волны сложных запахов. В маленьком, прозрачном облаке пряталась луна, правильно круглая, точно желток яйца, внизу, над крышами, — золотые караваи церковных глав, все было окутано лаской летней ночи, казалось обновленным и, главное, благожелательным человеку.

Именно так чувствовал Самгин, все благожелательно: луна, ветер, запахи, приглушенный полуночью шумок города и эти уютные гнезда миролюбивых потомков стрельцов, пушкарей, беглых холопов, озорных казаков, скуластой, насильно крещеной мордвы и татар, покорных судьбе.

Это — не тот город, о котором сквозь зубы говорит Иван Дронов, старается смешно писать Робинзон и пренебрежительно рассказывают люди, раздраженные неутоленным честолюбием, а может быть, так или иначе обиженные действительностью, неблагожелательной им. Но на сей раз Клим подумал об этих людях без раздражения, понимая, что ведь они тоже действительность, которую так благосклонно оправдывал чистенький историк.

Две, три беседы с Козловым не дали Климу ничего нового, но очень укрепили то, чем Козлов насытил его в первое посещение. Клим услышал еще несколько анекдотов о предводителях дворянства, о богатых купцах, о самодурстве и озорстве.

— Озоруют у нас от избытка сил, хвостун Садко дурит, неуемный Васька Буслаев силою кичится, — толковал старик историк, разливая по стаканам ароматный, янтарного цвета, чай.

Самгин понимал, что Козлов рассуждает наивно, но слушал почтительно и молча, не чувствуя желаний возражать, наслаждаясь песней, слова которой хотя и глупы, но мелодия хороша.

Раскалывая щипцами сахар на мелкие кусочки, Козлов снисходительно поучал:

— А критикуют у нас от конфуза пред Европой, от самолюбия, от неумения жить по-русски. Господину Герцену хотелось Вольтером быть, ну, и у других критиков, у каждого своя мечта. Возьмите лепешечку, на вишневом соке замешана; домохозяйка моя — неистощимой изобретательности по части печева, — талант!

Оса гудела, летая над столом, старик, следя за нею, дождался, когда она приклеилась лапками к чайной ложке, испачканной вареньем, взял ложку и обварил осу кипятком из-под крана самовара.

— Я, разумеется, не против критики, — продолжал он голосом, еще более окрепшим. — Критики у нас всегда были и какие! Котошихин, например, князь Курбский, даже Екатерина Великая критикой не брезговала.

Он сокрушенно развел руками и чмокнул:

— Но все, знаете, как-то таинственно выходило: Котошихину даже и шведы голову отрубили, Курбский — пропал в нетях, распылился в Литве, не оставив семени своего, а Екатерина, — ей бы саму себя критиковать полезно. Расскажу о ней нескромный анекдотец, скромного-то о ней, ведь, не расскажешь.

Анекдотец оказался пресным и был рассказан тоном снисхождения к женской слабости, а затем Козлов продолжал, все более напористо и поучительно:

— Критика — законна. Только, — серебро и медь надобно чистить осторожно, а у нас металлы чистят тертым кирпичом и это есть грубое невежество, от которого вещи страдают. Европа весьма величественно распухла и многими домыслами своими, конечно, может гордиться. Но вот, например, европейская обувь, ботинки разные, ведь, они не столь удобны, как наш русский сапог, а мы тоже начали остроносые сапоги тачать, от чего нам нет никакого выигрыша, только мозоли на пальцах. Примерчик этот возьмите иносказательно.

Голосу старика благосклонно вторил шелест листьев рябины за окном и задумчивый шумок угасавшего самовара. На блестящих изразцах печки колебались узорные тени листьев, потрескивал фитиль одной из трех лампадок. Козлов передвигал по медному подносу чайной ложкой мохнатый трупик осы.

— Вот, собираются в редакции местные люди: Европа, Европа! И поносительно рассказывают иногородним, т.-е. редактору и длинноязычной собратии его, о жизни нашего города. А душу его они не чувствуют, история города незнакома им, отчего и раздражаются.

Взглянув на Клима через очки, он строго сказал:

— Тут уж есть эдакое... неприличное, в роде, как о предках и родителях бесстыдный разговор в пьяном виде с чужими, да-с! А г. Томилин и совсем ужасает меня. Совершенно, как дикий черемис, говорит что-то, а понять невозможно. И на плечах у него как-будто не голова, а гнилая и горькая луковица. Робинзон, это,—конечно, паяц,—бог с ним! А, вот, бродил тут молодой человек, Иноков, даже у меня был раза два... невозможно вообразить, на какое дело он способен!

Козлов подвинул труп осы поближе к себе, расплющил его метким ударом ложки и, загоня под решетку самовара, тяжело вздохнул:

— Не хороши люди пошли по нашей земле! И—куда идут?

По привычке, хорошо усвоенной им, Самгин осторожно высказывал свои мнения, но на этот раз, предчувствуя, что может услышать нечто очень ценное, он сказал неопределенно, с улыбкой:

— Мечтают о политических реформах,—о представительном правлении.

— Понимаю-с!—прервал его старик очень строгим восклицанием. — Да-с, о республике! И даже — о социализме, на котором сам Иисус Христос голову... т.-е. который и Христу, сыну бога нашего, не удался, как это доказано. А вы что думаете об этом, смею спросить?

Но раньше, чем Самгин успел найти достаточно осторожный ответ, историк сказал не своим голосом и пристукивая ложкой по ладони:

— Я же полагаю, что государю нашему необходимо придется вспомнить пример прадеда своего и жестоко показать всю силу власти, как это было показано Николаем Павловичем 14-го декабря 1825 г. на Сенатской площади Санкт-Петербурга-с!

Козлов особенно отчетливо и даже предупреждающе грозно говорил цифры, а затем, воинственно вскинув голову, выпрямился на стуле, как бы сидя верхом на коне. Его лицо хорька осунулось, стало еще острее, узоры на щеках слились в багровые пятна, а мочки ушей, вспухнув, округлились, точно ягоды вишни. Но тотчас же он, взглянув на иконы, перекрестился, обмяк и тихо сказал:

— Воздерживаюсь от гнева, однако — вызывают.

Торопливо погрыз сухарь, запил чаем и обычным, крепеньким голоском своим рассказал:

— В молодости, будучи начальником конвойной команды, сопровождал я партию арестантов из Казани в Пермь, и по пути, в знойный день, один из них внезапно скончался. Так, знаете, шел-шел и вдруг падает мертв, головою в землю... как бы сраженный небесной стрелой. А человек не старый, лет сорока, с виду — здоровый, облика неприятного, даже — звериного. Осужден был на каторгу за богохульство, кощунство и подделку ассигнаций. По осмотре его котомки оказалось, что он занимался писанием небольших картинок и был в этом, насколько я понимаю, весьма искусен, что, надо полагать, и понудило

его к производству фальшивых денег. Картинок у него оказалось штук пять и все на один сюжет: Микула Селянинович, мужик-богатырь, сражается тележной оглоблей со Змеем-Горыничем: змей — двухглав, одна голова в короне, другая в митре, на одной подпись — Петербург, на другой — Москва. Да-с. Извольте видеть, до чего доходят?

И, пригладив без того гладкую, серебряную голову, он вздохнул.

— Весьма опасаясь распущенного ума! — продолжал он, глядя в окно, хотя какую-то частицу его взгляда Клим щекотно почувствовал на своем лице. — Очень верно сказано: «Уме недозрелый, плод недолгой науки». Ведь умишко наш — неблаговоспитанный кутенок, ему — извините! — все равно, где гадить — на кресле, на дорогом ковре и на престоле царском, в алтарь пустите — он и там напачкает. Он, играючи, мебель грызет, сапог, брюки рвет, в цветочных клумбах ямки роет, губитель красоты по силе глупости своей.

Но, подняв руку с вытянутым указательным пальцем, он благосклонно прибавил:

— Не отрицаю, однако, что некоторым практическим умам вполне можно сказать сердечное спасибо. Я, ведь, только против бесплодной изобретательности разума и слепого увлечения женским его кокетством, желаньишком соблазнить нас дерзкой прелестью своей. В этом его весьма жестоко уличил писатель Гоголь, когда всенародно показялся в горестных ошибках своих.

Сокрушенно вздохнув, старик продолжал, в тоне печали:

— Вот, тоже, возьмите женщину: женщина у нас — отменно хороша, и была бы того лучше, преферансом нашим была бы пред Европой, если б нас, мужчин, не смутили неправильные умствования о Марфе Борецкой, да о царицах Елизавете и Екатерине Второй. Именно на сих примерах построено опасное предубеждение о женском равноправии, и получилось, что Европа имеет всего одну Луизу Мишель, а у нас таких Луизок — тысячи. Вы, конечно, не согласны с этим, но — подождите! Подождите до возраста более зрелого, когда природа понудит вас вить гнездо.

— Вполне согласиться не могу, — ответил Клим, когда старик вопросительно замолчал.

— Приятно слышать, что хотя и не вполне, а согласны, — сказал историк с улыбочкой и снова вздохнул: — Да, разум у нас на Руси многое двинул с природного места на ложный путь под гору.

Самгин простился со стариком и ушел, убежденный, что хорошо, до конца, понял его. На этот раз он вынес из уютной норы историка нечто беспокойное. Он чувствовал себя человеком, который не может вспомнить необходимое ему слово или впечатление, сродное только что пережитому. Шагая по уснувшей улице, под небом, закрытым одноцветно серой массой облаков, он смотрел в небо и щелкал пальцами, напряженно соображая: что беспокоит его?

«Конечно, — старик прав. Так должны думать миллионы трудолюбивых и скромных людей, все те камни, из которых сложен

фундамент государства»,—размышлял Самгин и чувствовал, что мысль его ловит не то, что ему нужно оформить.

Дня через три, вечером, он стоял у окна в своей комнате, тщательно подпиливая только что остриженные ногти. Бесшумно открылась калитка, во двор шагнул широкоплечий человек в пальто из парусины, в белой фуражке, с маленьким чемоданом в руке. Немного прикрыв калитку, человек обнажил коротко остриженную голову, высунул ее на улицу, посмотрел влево и пошел к флигелю, раскачивая чемоданчик, поочередно выдвигая плечи.

«Кутузов»,—узнал Клим, тотчас вспомнил Петербург, пасхальную ночь, свою пьяную выходку и решил, что ему не следует встречаться с этим человеком. Но что-то более острое, чем любопытство, и даже несколько задорное будило в нем желание посмотреть на Кутузова, послушать его, может быть, поспорить с ним.

«Мальчишество»,—остерегал он себя, но через час вошел в комнату Спивак.

Даже прежде, когда Кутузов носил студенческий сюртук, он был мало похож на студента, а теперь, в сером пиджаке, туго натянутом на его широких плечах, в накрахмаленной рубашке с высоким воротником, упиравшимся в его подбородок, с клинообразной, некрасиво подрезанной бородой, он был подчеркнута ни на кого не похож.

— А-а, — наше вам! — дружелюбно вскричал он, протянув Климу тяжелую руку.

— Каким вы купцом переделались, — сказал Самгин; он хотел сказать задорно, а почувствовал, что сказалось не так.

— Разве—купцом?—спросил Кутузов, добродушно усмехаясь.— И—позвольте! почему переделся? Я просто оделся штатским человеком. Меня, видите ли, начальство выставило из храма науки за то, что я, будто бы, проповедывал какие-то ереси прихожанам и богомолам.—Засунув палец за жесткий воротник, он сморщил лицо и помотал головою.

— Это — несправедливо и очень грустно. Ко храму я относился с должным пиэтетом, к прихожанам — весьма равнодушно. Тетя Лиза, крестнику моему не помешает, если я закурю?

Спивак в белом капоте, с ребенком на руках, была похожа на Мадонну с картины сентиментального художника Боденгаузена, репродукции с этой модной картины торчали в окнах всех писчебумажных магазинов города. Кругое лицо ее грустно, она озабоченно покусывала губы.

— Имею к вам, Самгин, письмо от девицы устрашающего вида, — получите!

Кутузов дал Климову толстый конверт, Спивак тихо сказала:

— Продолжай, Степан.

— Да что же продолжать? Вот, хочу ехать в деревню, к Туробоеву, он хвастается, что там, в реке, необыкновенные окуни живут.

Самгин, перестав читать длинное письмо, объявил не без гордости:

— В Москве арестован знакомый мой, Маракуев.

— Маракуев, — это народник, пистолет такой? — спросил Кутузов, прищурясь.

— Да, народник.

Нахмурился, выпустив в потолок длинную струю дыма, Кутузов резковато проговорил:

— Намекните-ка вашей корреспондентке, что она девица неосторожная и даже — не очень умная. Таких писем не поручают перевозить чужим людям. Она должна была сказать мне о содержании письма.

Сердито бросив окурок на блюдце, он встал и, широко шагая, тяжело затопал по комнате.

— Конечно, я сам должен был спросить. Но у нее такой вид... я думал — романтика.

— Вы близко знали арестованных? — спросила Спивак, пристально взглянув на Клима.

— Да, — ответил он. Вышло очень громко, он подумал: — «Как будто я хвастаюсь этим знакомством».

И с досадой спросил:

— Когда же прекратятся эти аресты?

Кутузов сел к столу, налил себе чаю, снова засунул палец за воротник и помотал головою; он часто делал это, должно быть, воротник щипал ему бороду.

— Наивный вопрошец, Самгин, — сказал он уговаривающим тоном. — Зачем же прекращаться арестам? Ежели вы противоборствуете власти, так не отказывайтесь посидеть изредка в каталажке, отдохнуть от полезных трудов ваших. А затем, когда трудами вашими совершится революция, — вы сами будете сажать в каталажки разных граждан.

Самгин рассердился на себя за вопрос, вызвавший такое поучение.

«Этот «объясняющий господин» считает меня гимназистом», — подумал он мельком и без обычного раздражения, которое испытывал всегда, когда его поучали. Но сказал несколько более задорно, чем хотел:

— Революции мы не скоро дождемся.

— А вы — не ждите, вы попробуйте делать, — посоветовал Кутузов, прихлебывая чай.

— Революционеров — мало, — ворчливо пожаловался Самгин неожиданно для себя. Кутузов поднял брови, пристально взглянул на него серыми глазами и заговорил очень мягко, вполголоса:

— Их, пожалуй, совсем нет. Я, вот, четыре года наблюдаю людей, которые титулуют себя революционерами, — дешевый товар! Пестро, даже — красиво, но — не прочно, в роде нашего ситца для жителей Средней Азии.

Отхлебнув сразу треть стакана чая, он продолжал, задумчиво глядя на розовые лапки задремавшего ребенка:

— Революционеры от скуки жизни, из удальства, из романтизма, по евангелию, все это — плохой порох. Интеллигент, который хочет

отомстить за неудачи его личной жизни, за то, что ему некуда пристроить себя, за случайный арест и месяц тюрьмы, — это тоже не революционер.

«Но кто же тогда?» — хотел спросить Самгин и не успел, — Кутузов, наклонясь к Спивак, говорил с усмешкой:

— Ты видела библию Витте «Производительные силы России»? Хвастливая книжища. У либералов, размышляющих якобы по Марксу, имеет большой успех. Откровение.

Клим подметил в нем новое: тяжеловесную шутливость; она казалась вынужденной и противоречила усталому, похудевшему лицу. Во всем, что говорил Кутузов, он слышал разочарование, это делало Кутузова более симпатичным. Затем Самгину вспомнилось, что в Петербурге он неоднократно чувствовал двойственность своего отношения к этому человеку: «кутузовщина» — неприятна, а сам Кутузов привлекает чем-то, чего нет в других людях. А Кутузов, как бы подтверждая его догадку о разочаровании, говорил, почесывая пальцем кадык:

— Весьма любопытно, тетя Лиза, наблюдать, с какой жадностью и ловкостью человеки хватаются за историческую необходимость. С этой стороны марксизм для многих чрезвычайно приятен. Дескать — эволюция, детерминизм, личность — бессильна. И — оставьте нас в покое.

Он пошевелил кожей на голове, отчего коротко остриженные волосы встали дыбом, а лицо вытянулось и окаменело.

— Вообще — наглотался я впечатлений не очень утешительных. Русь наша — страна кустарного мышления, и особенно болеет этим Московская Русь. Был я на одной фабрике, там двородный брат мой работает, мастер. Сектант; среди рабочих — две секты: богословцы и словобожцы. Возникли из первого стиха евангелия от Иоанна; одни опираются на: «бог бе слово», другие: «слово бе у бога». Одни кричат: Слово жило раньше бога», а другие: «Врете! слово было в боге, оно есть — свет, и мир создан словосветом». В Оптин ходили, к старцам, узнать — чья правда? Убогая элоквенция эта доводит людей до ненависти, до мордобоя, до того, что весною, когда встал вопрос о повышении заработной платы, словобожцы отказались поддержать богословцев.

Должно быть, забыв, что борода его острижена коротко, Кутузов схватил в кулак воздух у подбородка и, тяжело опустив руку на колено, вздохнул:

— У Гризингера описана душевная болезнь, кажется — Grübelsucht, — бесплодное мудрствование, это — когда человека мучают вопросы, почему синее — не красное, а тяжелое — не легко и прочее в этом духе. Так вот, мне уж кажется, что у нас тысячи грамотных и неграмотных людей заражены этой болезнью.

Спивак, отгоняя мух от лица уснувшего ребенка, сказала тихо, но так уверенно, что Клим взглянул на нее с изумлением:

— Это пройдет, Степан, быстро пройдет.

— Да, конечно, богатеем — судорожно, — согласно проговорил Кутузов. — Жалею, что не попал в Нижний, на выставку. Вы, Самгин,

в статейке вашей ловко намекнули про Одиссея. Конечно рабочий класс свернет головы женихам, но — пока не весело!

Он взглянул на часы и спросил:

— А — не пора?

— Да, — ответила Спивак и, осторожно встав, ушла с ребенком на руках, а Кутузов, улыбаясь, пересел на стул против Клима и спросил очень дружески:

— Так вы находите, что революционеров — мало? А где вы их видели, каких?

С необычной для себя словоохотливостью, подчиняясь неясному желанию узнать что-то важное, Самгин быстро рассказал о проповеднике с тремя пальцами, о Лютове, Дьяконе, Прейсе.

— Дьякон — Ипатьевский — Сердюков? Сын есть у него? Помер? Ага. А отец, тоже... интересуется? Редкий случай. Значит, вы все с народниками путаетесь?

— Не путаюсь, а — изучаю, — сказал Клим, уже раскаиваясь в словоохотливости своей.

— Жития маленьких протопопов Аввакумов изучаете? Бросьте. Все это — не туда. Не туда, — повторил он, вставая и потягиваясь; Самгин исподлобья, снизу вверх, смотрел на его широкую грудь и думал: «Возмутительно самоуверен».

— Особенности национального духа, община, свирели, соленые грибы, паюсная икра, блины, самовар, вся поэзия деревни и графское учение о мужицкой простоте, все это, Самгин, простофильство, — говорил Кутузов, глядя в окно через голову Клима. — Не отрицаю, и в этой плесени есть своя красота, но пора проститься с нею, если мы хотим жить. И с героями на час тоже надобно проститься, потому что необходим героизм на всю жизнь, героизм чернорабочего, мастерового революции. Если вы на такой героизм не способны — отойдите в сторону. Он закурил папиросу, сел рядом с Климом так близко, что касался его плеча плечом.

— В одном народники правы, — продолжал он потише и раздумчивее, — рабочий народ у нас хорош, цепкого ума народ, пожалуй, отсюда у него и пристрастие ко всяческой элоквенции. Так что, когда народник говорит о любви к народу, — я народника понимаю. Но любить-то надобно без жалости, жалость — это имитация любви, Самгин. Это — дрянная штука. Перечитывал я недавно процесс перво-марсовцев, и мне показалось, что провода мины, которая должна была взорвать поезд царя около Александровска, были испорчены именно жалостью. Да. Кто-то пожалел Освободителя.

Вошла Спивак в белом платье, в белой шляпе с пером страуса, с кожаной сумкой, набитой нотами.

— Шикарно, — сказал Кутузов. — Не забудь, тетя Лиза...

— Нет, нет, — обещала она, уходя.

Оба молча посмотрели в окно, как женщина прошла по двору, как ветер прижал юбку к ногам ее и воинственно поднял перо на шляпе. Она нагнулась, оправляя юбку, точно кланяясь ветру.

Клим спросил:

— Туробоев давно вернулся из-за границы?

— С месяц уже.

— С женою?

— Разве он женат? — удивленно осведомился Кутузов, а когда Клим рассказал о романе Туробоева с Алиной, он усмехнулся.

— Вот как? Нет, жена, должно быть, не с ним, там живет моя, Марина, она мне написала бы. Ну, а что пишет Дмитрий?

— Он не пишет.

— Ему уж не долго торчать там. Жене моей он писал, что поедет на юг, в Полтаву, кажется.

Странно было слышать, что человек этот говорит о житейском и что он так просто говорит о человеке, у которого отнял невесту. Вот он отошел к роялю, взял несколько аккордов.

— Давно не слыхал хорошей музыки. У Туробоева поиграем, попоем. Комическое учреждение—это поместье Туробоева. Мужики изгрызли его точно крысы. Вы, Самгин, рыбу удить любите? Вы прочитайте Аксакова «Об ужении рыбы» — заразитесь! Удивительная книга, так, знаете, написана — Брэм позавидовал бы!

Покуривая, улыбаясь серыми глазами, Кутузов стал рассказывать о глупости и хитрости рыб с тем воодушевлением и знанием, с каким историк Козлов повествовал о нравах и обычаях жителей города. Клим, слушая, путался в неясных, но не враждебных мыслях об этом человеке, а о себе самом думал с досадой, находя, что он себя вел не так, как следовало бы, все время точно качался на качели.

Возвратилась Спивак, еще более озабоченная, тихо сказала что-то Кутузову, он вскочил со стула и, сжав пальцы рук в один кулак, потряс ими, пробормотал:

— Ах, чорт, вот глупо!

Самгин понял, что он лишний, простился и ушел. В комнате своей, свалившись на постель, закинув руки под голову, он плотно закрыл глаза, чтоб лучше видеть путаницу разногласно кричащих мыслей. Шумел в голове баритон Кутузова, а Спивак уверенно утешает:

«Это скоро пройдет». — Какая хитрая, двуличная. Меньше всего она похожа на революционерку. Но откуда у нее уверенность?».

Враждебно думать о Спивак было легко, она явилась пред Климом человеком, который в чем-то обманул его, а Кутузова враждебные мысли соскальзывали.

«Мастеровой революции — это скромно. Может быть, он и не умный, но честный. Если вы не способны жить, как я, отойдите в сторону,—сказал он. Хорошо сказал о революционерах от скуки и прочих. Таких особенно заслуживают, чтоб на них крикнули: «Да что вы озорничаете?» Николай первый крикнул это из пушек, жестоко, но — это самозащита. Каждый человек имеет право на самозащиту. Козлов — прав...»

(Продолжение следует).

Перед поднятием занавеса

А. БЕЗЫМЕНСКИЙ

Посвящается женщине, танцовавшей фокстрот в кафе «Пигалль».

О, женщина!
Глазами не зови
И не дразни
Щекочущим фокстротом.

Да, я сейчас
признался бы в любви,
Но только—
пулеметам!

Нет.
Может быть, не им,—
А моему искусству.

Я пьесу напишу
на сверхпарижский вкус,
И я в нее вложу
Великолепье чувства,
Которым я горю,
Которым я томлюсь.

Театром будет—
мир.

Париж—
Тот сценой будет.
Толпа—
Вот мой артист.
Рабочий — мой премьер.

И я, как режиссер,
Дам постановку людям,
Прекраснее стократ,
Чем сто «Фоли Бержер».

Не создан рыжий цвет,
Цвет сумасшедше рыжий,

Какой бы я создал
В тот самый час,
Когда
Публичные дома веселого Парижа
Горели бы
На празднике Труда.

Неведомы еще
Те краски, гримы, грани,
Какие знаю я,
И знаю я один.

Еще не слышан гром,
Какой придет и грянет
По мрамору дворцов
И бешенству перин.

Ни бич,
который бил,
Ни месть,
которой мстили,
Не выдумают век
те «танцы лишая»,
Какие в эти дни
На площади Бастильи
Для милых буржуа
Навыдумую я.

Моцарт,
Гуно,
Верди,
Прокофьев,
Бах,
Бетховен
Не могут написать симфонии такой,
Что будет у меня
Звучать
и гимном новым,
И звоном похорон,
И флейтой,
И трубой.

Я драму разверну
Перед глазами мира,
— такое волшебство,
такую злую быль,—
Что будут перед ней
Трагедии Шекспира
Выглядывать, как фарс,
Иль жалкий водевиль.

Но, так как всей земле
 Повеселиться надо,
 Сумею в драму я
 комедию включить,
 Чтоб потрясенный мир
 Смеялся до упаду,
 За исключением тех,
 Кто будет всех смешить.

Я покажу и гнев,
 И горе,
 И сомнение,
 Я счастье покажу
 и яростную кровь,
 Я покажу и страх, и злобу, и презренье,
 Презренье покажу
 И покажу любовь.

Я покажу любовь
 и нежную и злую,
 Я покажу любовь
 Для всех,
 во имя всех;
 Я покажу любовь,
 И покажу такую,
 Которой солнце—
 труд,
 Которой будни—
 смех.

Все действия мои
 Проходят перед взором.
 Вот карманьола...
 марш...
 вот гаснут фонари...

Я знаю:
 Будет смерть
 Непрошненным актером!

Что ж?
 Бей сегодня, смерть,
 А завтра ты
 Умри.

С тобою в гроб сойдут
 И кабаки
 И троны.
 Напрасна будет злость.
 Бороться, — смерть, — не тщись!
 Мы пышные тебе
 устроим похороны

И будем славить песнь
И октябринить жизнь.

Ну, женщина,
Скажи:
задумано не плохо?

Танцуй же веселей!
Вот «Мумм», вот «Поммери»...

Хватай губами жизнь,—
По капелькам,
По крохам,—
А завтра ты собой
Погасишь фонари.

Не мыслю, что тебе
По духу эта пьеса.
Но
Некогда болтать.
Артисты входят в зал,
Рабочий,
Мой премьер,
Пошевелил завесу,
Гнев начал свой пролог,
А скоро и
сигнал.

Париж. 1928.

Брачный полет

Восьмое звено „Кашеевой Цепи“

МИХАИЛ ПРИШВИН

П у д с о л и

Пуд соли с'есть, чтобы человека узнать, — плохая мудрость в Европе, где в установленных формах общежития можно десятки лет ежедневно обедать с людьми и произносить одно только слово: Mahlzeit! Можно и так устроиться, что ежедневно будешь говорить за столом, вечером будешь принимать участие в домашних концертах, вместе ходить раз в неделю в театр, по праздникам прогуливаться на велосипедах, на лодке, и так вместе с'есть не один пуд соли и все-таки оставаться совершенно неузнанным. Так жил несколько лет Алпатов на Штернвартенштрассе в Лейпциге, в семье одного покойного, известного далеко за пределами Германии, композитора. Семья была: вдова музыканта-профессора, седеющая дама с живыми глазами, и студент консерватории, сын ее, для которого она и жила. Не раз, конечно, Алпатов говорил в этой семье о своем плане работать в России торфмейстером и ни разу никто не поинтересовался интимными причинами выбора им столь скромной профессии. Однако вопрос этот, наверно, не раз уж висел на кончике языка профессорши, и когда, наконец, она об этом спросила, то поговорка о пуде соли явилась неверной своей стороной. Случилось это под самый конец курса болотных наук. Алпатову оставалось на своем дипломном проекте гидроторфной машины сделать циркулем мельчайший красный кружок. В чертежной, однако, не находится даже для этого крупинки необходимого кармина. В системе подшипников, где красным кружком подчеркивалось изобретение самого Алпатова, невозможно было ничего так изменить, чтобы обойтись только с помощью туши. И вот из-за такого-то пустяка пришлось ехать домой за кармином. В этот час профессорша завтракала в одиночестве. Увидев Алпатова, она очень обрадовалась и просила его побыть минутку с ней за столом. А когда Алпатов сообщил ей, что ему остается только один кружок сделать циркулем и он может, наконец-то, ехать на родину, то вот

тут и спросила профессорша, в какой губернии находится его болото, сколько их в его владении. Алпатов ответил: в его владении нет ничего. Профессорша глубоко посмотрела на него и сказала:

— Мне казалось, я довольно вас знаю, и думала до сих пор, — вы отдаетесь этому скучному и как-будто несродному вам делу или как крупный собственник, или как друг человека. Скажите, осушение болот должно сильно изменить жизнь ваших бедных крестьян?

— Мне кажется, — холодно ответил Алпатов, — вы очень ошибаетесь, предполагая, будто хорошо меня знаете: я занимаюсь этим делом по личной склонности.

Тогда у пожилой женщины с молодым инженером произошел разговор.

Профессорша. — Такие инженеры, как вы, бывают только у Ибсена.

Алпатов. — А какие инженеры у Ибсена?

Профессорша. — Инженеры, строители, банкиры, священники — у Ибсена все поэты, это даже не легенда о людях, а как бы легенда о легенде норвежских туманов. Так и у вас, мне кажется, ваше болотное дело родилось не в жизненной необходимости, а создано в молодой фантазии.

Алпатов. — Без фантазии невозможно никакое дело, и, притом, я думаю, существует единство жизни: если бы ваш гениальный в музыке муж не узнал о себе, как музыканте, и занимался бы осушением болот, то и тут сделал бы все не по рутине, а как-нибудь совершенно особенно и прекрасно.

Профессорша. — Едва ли. У него были слабые легкие, болотный воздух убил бы его раньше, чем он мог бы что-нибудь сделать. Наша жизнь очень коротенькая — все в этом! И потому надо как можно меньше уклоняться в сторону от своих природных склонностей.

По смущенному и грустному лицу Алпатова профессорша вдруг заметила, сколько она лишнего наговорила.

— Простите меня, господин Алпатов, — сказала она, — я никак не хотела вас задеть и сделать чем-нибудь больно, вспомните, как хорошо мы жили с вами изо дня в день три года.

Алпатов встал, наклонился к руке профессорши, и она поцеловала его в лоб.

Ему стало однако, не совсем по себе от разговора. Захватив с собой кармин, он вышел на улицу и остановился в ожидании электрического трамвая. По молодости этого дела, в то время трамваи ежедневно много давили людей на тесных улицах. Вероятно, теперь как раз и случилась одна из этих катастроф: трамвай не показывался. В далеком конце улицы, как в окошке, явилось на небе летнее круглое облако, первый признак февральской весны. Это облако перенесло Алпатова к далекой его весне света, когда он, глядя в окошко тюрьмы, или шагая по камере, отмечал себе каждый миг в движении весны света, потом весны воды, зеленых растений, и дождался:

себе самому весны человека. Облако было очень знакомое, росло, поднималось, как лебедь, звало сорваться с места, лететь в синий мир. И что же? Единственным препятствием к этому полету теперь была только обязанность поставить на чертеже маленький кружок карандашом. Не тюрьма с железными решетками держала человека в плену, а какой-то самолюбивый кружок, весь смысл которого был подчеркнуть пустяковое изобретение Алпатова. Между тем, со стороны, противоположной трамвайному ходу, идет деревенский омнибус, и, если сесть в него, то и будешь через малое время в том самом мире, где плывет облако-лебедь.

Алпатов входит в омнибус, и вот такие странные явления происходят в больших городах: там не старухи с корзинами, как обыкновенно бывало, а все только молоденькие девушки. Алпатов не придал этому значения и в рассеянности приписал преобразование вагона силам весны. Среди этих девушек была одна с лицом, закрытым зеленой вуалью. Никогда без волнения Алпатов не пропускал лиц женщин в зеленых вуалях, но теперь почему-то отвернулся к окошку, хотя эта девушка смотрела на него упорно. На ближайшей остановке входит рабочий в синем и, вероятно, прямо с большой, очень тяжелой работы: весь омнибус наполнился запахом рабочего пота. Некоторые девушки, переглядываясь, зажимают носы, другие догадываются уйти на площадку. Освобождается много мест, рабочий садится против Алпатова.

— Вот как просто можно себе место добыть,—говорит Алпатов.

Рабочий добродушно усмехнулся. Так даже годы жизни в Европе не могли отучить Алпатова от внимания и сочувствия рабочему человеку. Он сказал:

— Вот наши дамы в России привыкли ко всяким духам.

И в то же самое время девушка с зеленой вуалью сказала по-русски:

— Вы русский?

Алпатов обернулся.

— Я узнаю вас,—сказала девушка,— вы Алпатов;— я помню ваш голос, едва ли только меня вы узнаете...

— Нет,—ответил Алпатов,— я узнаю: вы приходили ко мне в тюрьму.

Алпатов пересел к ней и забыл про рабочего.

Вероятно, так зимующие птицы в далеких краях находят друг друга и потом уносятся в брачном полете на места гнездований.

Бахрома

В голодное время, бывало, после котлет из картофельных очистков попадает из деревни кусок настоящего ржаного мужицкого хлеба, и тогда в его вкусе и аромате была вся моя любимая земля и тепло и свет нашего общего солнца. Я загадывал тогда на случай, если снова

начнется для меня легкая жизнь, сохранить в себе хотя бы воспоминание первого вкуса самого простого плода земли, а что сверх этого будет доставаться, то принимать только с благодарностью за свое исключительное счастье жизни. Вот если бы такой силой чувства жизни и первой любви люди понимали, что родником и всей нашей желанной большой с л о ж н о й любви был наш первый брачный полет. Вот тогда бы, я думаю, исчезло у нас разделение, как в хлебе, на черный и белый, в любви на духовную и животную, мы бы тогда в любовном пробеге зверей и в брачном полете птиц узнавали всю нашу любовь...

Алпатов ужасно был голоден.

Когда Ина подняла вуаль, едва ли он мог заметить какую-нибудь особенную красоту ее лица. Напротив, ему даже мелькнуло: «Только-то, неужели это и все!» Но было это только в момент замешательства, как бы при мгновенной остановке стремительного движения. После того ему скоро стало, будто он в кругу своих родных людей, где хочешь — говори, хочешь — молчи, и все хорошо. Но самое главное — «у меня теперь, как у всех» и что «я теперь человеком стал».

Они идут по шоссе к горизонту, где все кучней нарастают облака—лебеди первой весны света. И, верно, Ина была тоже сильно голодная, а то почему же она совершенно забыла, и зачем приехала в Лейпциг, и зачем ехала куда-то с девушками в omnibusе, и куда теперь с ним идет?

Впереди на их пути вырастает саксонская деревня, как маленький белый город. Там они себе находят большой пустой Tanzlocal и садятся за столик завтракать, двое во всем помещении. Старый хозяин и его жена подают вместе, он — вилки и ножи, она — тарелки. И, когда подано все, они, опытные люди, исчезают, как-будто и вовсе их нет, но, конечно, откуда-то все наблюдают, и старуха сразу же недовольна: молодой человек принимается крутить бахрому ее самой парадной скатерти.

Алпатов рассказывает все, что с ним было после тюрьмы. Как узнал он ее адрес в Берлине и явился к пасторше Вейсс всего час спустя после отъезда ее в Иену, и как по пути за ней ему привиделась Зеленая Дверь и показалась Зеленая Германия. Потом лесник проводил его к профессорше Ниппердаи, и тут он нашел ее белую шаль и помчался на велосипеде догонять ее по удивительно белой дороге. А белая шитая гладью шаль и теперь у него...

Вдруг очень смущенный Алпатов опускает глаза, и, умолкнув, с большим старанием начинает крутить жгутики из бахромы самой парадной скатерти. Ина тоже очень усердно крутит с другого конца.

— Что же это такое!—шепчет хозяйка своему старику.

— Ничего, — отвечает хозяин, — ты вспомни, Alte, наше время, как мы с тобой тоже крутили.

— Дальше, дальше! — настойчиво просит Ина.

— Я приехал в Дрезден на пароходе, и тут все кончилось.

— Почему же все кончилось?

— Она уехала в Париж.

— А он почему не уехал?

— Не мог.

— Не верю, так не бывает: так никогда не кончается.

А между тем руки, свивающие жгутики, подходят к середине, встречаются. Ина, бросив крутить, берет его за руку.

— Ну, милый, прошу: вы не знаете, как мне это все дорого, я первый раз в жизни себя человеком почувствовала.

— Я то же самое сказал это себе еще на дороге; но как же это вы говорите в первый раз?

Ина широко открыла глаза.

Алпатов смешался, и ему почудилось, что Ина может опять от него ускользнуть и что надо сейчас же принять какие-то меры и что меры эти—единственное и простое: надо все рассказать, как бы ни было это стыдно, смешно и до крайности глупо.

— В гостинице на берегу Эльбы,—сказал он,—мне ответили: «Русская фрейлейн обедала с молодым шведом»... Помните?

— Помню, да, я обедала с шведом.

— Я спешу в Дрезден за ней и мне говорят: «Ина уехала с молодым шведом в Париж».

Он снова умолк. Она требует:

— Дальше!

— Ничего не было дальше—она уехала с молодым шведом, вот и все. Я бы давно все это смешал с моими снами, но у меня сохраняется белая шаль.

Тогда, наконец, Ина все поняла и сказала:

— Шведа не было!

Нет, у нее никого не было. А вот что случилось тогда. Она в ожидании парохода в Дрезден прогуливается в парке. На лавочке в мучительных судорогах корчится молодой швед. Она очень хочет помочь ему, но он может объясняться только на родном языке и понимает она из его речи только два слова: фрекен и аптека. Наконец, у него явилось французское слово, и она понимает, и приносит ему из аптеки слабительное. Вскоре причаливает пароход, и появляется швед, очень веселый. В Дрездене она была с ним в Цвингере, потом ехали вместе до Брюсселя. Там он вышел из поезда, и с тех пор она его не видала, но всегда вспоминает при расстройстве желудка.

Бахрома на скатерти вся покрывается жгутиками, и на жгутиках начинают появляться узелки. Спасая скатерть, хозяйка выдумала прислать к ним цветочницу с розами: займутся цветами и перестанут крутить. Прекрасные это были розы, огромные, только совсем почему-то не пахли. Говорили много о розах, но все не переставали крутить. И в сумерках были они, казалось, уже совсем близко в полете своем, как у птиц, к местам гнездований, но тут в сумерках явился омнибус, и родная земля стала опять далека.

Ехали вдвоем на площадке и молчали. Это было не на родине: там, если только придется встретить человека, он скоро явится непременно опять. Тут оставить друг друга — проститься, может быть, навсегда. Но тем хорошо на чужбине, что тут они сами с собой, вожатый видит только путь и не понимает совершенно по-русски. Тут можно вдруг сказать все и, если не будет ответа, навсегда без стыда разлететься. Но все-таки почему-то до крайности страшно, и вспоминается, будто кто-то в мире ином тоже совершенно так же скакнул в неизвестное.

Друг мой, быть может, это и не было в мире ином, а где-нибудь очень близко, только у очень отдаленных от нас по своему образу жизни существ. Вот я давно следил за гнездом городской ласточки над окном в шестом этаже и долго не мог заметить последний момент, когда птенец, не учась полету, бросается вниз головой над каменной бездной. В этом году, наконец-то, я не пропустил случая, все видел; и знаете, я из этого птичьего мира перенесся в наш человеческий и думал:—«пусть у нас нет крыльев и живем мы совсем по-иному, но, все равно, мы сохраняем свою древнюю птицу в себе и тоже, чтобы стать вполне человеком, хоть раз в своей жизни должны, как птица, броситься в бездну».

С Алпатовым было, как с малым птенцом, он тоже почувствовал время свое, силу, и вдруг все сказал.

Она молчит. Омнибус останавливается почти напротив ее дома. У калитки она спрашивает:

— Что же делать с этим, как быть?

Он решается на последнее:

— Вы мне об этом писали в тюрьму, я помню—вы писали по-детски: «Мы поедем за границу и будем жениться». Мы теперь за границей и подросли.

Потом оказалось, что необходимо было разделить между собой розы и опавшие при этом листки крутить дрожащими пальцами.

В это самое время в деревне, где они только что были, хозяйка возится над скатертью, развязывая узелки, и ворчит:

— Вот накрутили!

А добрый хозяин ее успокаивает:

— Зато как хорошо заплатили! Ты только вспомни, Alte, сколько мы с тобой в наше-то время намяли белья!

Алпатов и Ина поцеловались совсем неумело, только чтобы не говорить. И это еще была не волна любви, а только повеяло ветром, от которого рождаются волны.

Рождение волны

Правду ли говорят, что трагическая скала на берегу Черного моря в Симеизе, М о н а х и Д и в а, теперь от землетрясения исчезла под водой? Когда-то, помню, влюбленный доктор сидел возле этой скалы, и мы

вели с ним беседу о любви и взволнованном море. Мне всегда было как-то странно думать о врачах, понимающих любовь, как абстракцию закона размножения, что эти люди могут быть тоже влюбленными. Я шутя сказал об этом доктору, а он серьезно стал мне говорить о природе волны, что вода, составляющая волну, не бежит, а только на месте колышется, что нам это кажется только, будто волна бежит: на самом деле бежит только форма волны.

— Половое чувство,—говорил влюбленный доктор,—это—вода, а сама любовь, это — перебегающая форма. Как врач, я имею дело с водой любви; как личность, я — творец формы своей единственной в мире волны.

Мне тогда рассуждение влюбленного доктора очень понравилось, вдруг стало понятным, почему о любви десятки тысяч лет все думают, и никто о ней не может сказать до конца: ведь все волны разные, а каждый поэт говорит только о своей неповторимой волне, и так без конца; и так после гениальных романов у каждого остается возможность сказать новое о своей собственной форме волны.

Я сказал об этом доктору, и он очень удивился моей робости писать о любви:

— Сколько угодно пишите, и все будут читать. Из волны складывается лицо океана, из ваших поэм лицо человека, и этому нет и не будет конца, пока будет жизнь на земле.

Сколько раз в эти годы было ночами—Алпатов вскакивал с постели, обвязывал голову мокрым полотенцем и так до утра ходил по комнате из угла в угол, как в тюрьме. И сколько раз, встречаясь на улице с глазами каких-то женщин, он в этом зеркале узнавал свой ад и, вспыхнув, опускал свои глаза и отходил. Верней всего бессознательно, как девушка честь, он берег неясную силу, чтобы из этого создать свою единственную в мире волну.

Долго сидит Алпатов в старом кресле профессора и не может перейти спать в другую комнату, где он оставил букет своих, почему-то не пахнувших, роз.

Проходит новое неслыханное время. Звенят в ушах серебряные колокольчики. Нет, он не спал, это ему не во сне приснилось, в другой комнате есть доказательство, — большие, роскошные непахучие розы! Посмотреть бы на них... Открывает дверь и, не видя роз в темноте, чувствует аромат во всей силе: розы не пахли на холоде...

Друг мой, неповинны розы в их аромате, дурные, испорченные и слабые люди создали из этого грех. Розы в эту ночь преобразили свой грешный запах в чистейший аромат краски новой детской лошадки из папье-маше и перенесли спящего в ту пасхальную ночь, когда маленьких укладывают в постельки с пологом, уходят к заутрене и возвращаются в темноте. Спящий знает о каких-то радостных таинственных приготовлениях. Он просыпается, когда старшие спят, а в комнате солнце, и по удивительному аромату догадывается. Выглянув из полога, сразу видит он, — не ошибся: это большой новый конь в седле

и с уздечкой стоит и пахнет возле кровати. Тогда в великом восторге он тащит коня к себе на кровать.

В первой любви, дорогой мой друг, всегда возрождается детство, и такое прекрасное, каким оно не бывает в действительной жизни. У меня есть подозрение, что и великие мечтатели счастливую жизнь ди-карей на лоне природы взяли из нашего первого брачного дня...

В такое утро Алпатов проснулся не обыкновенным капризным ребенком, устремленным к лошадке, а ребенком, готовым обнять весь мир любовью, не лошадка, а человек ему близок и дорог. Нет, едва ли у кого-нибудь в действительном детстве бывает такое звонкое утро! И если бы не каждый порознь, не в разные сроки, а все в один день переживали такое, то давно бы в одном дружном усилии вдребезги разлетелась вся наша Кашеева цепь!

Алпатов взглянул на часы. Оставалось всего только сорок минут до новой встречи у того же самого прекрасного омнибуса. Вместе с кофеом подают ему на подносе маленькое письмо. Он пьет, положив перед собою часы, и не обращает на письмо никакого внимания: это после, как-нибудь на ходу.

Все моряки говорят, будто крысы предчувствуют гибель судна. Я это понимаю, очень может быть, в некоторых случаях крысы как-нибудь по давлению атмосферы узнают нам непонятное. Но, когда мне рассказывали о предчувствии крысами гибели крейсера от мины в последнюю войну, — дудки, врешь! Крысы не могут предчувствовать подводную мину.

В этом маленьком письме была мина Алпатову, и он совсем не предчувствовал взрыва. Мина лежала, смотрела на него, а он пил кофе с сухарями и видел только стрелки часов. Уже в пальто и шляпе, на ходу, берет он письмо и читает:

«Не думайте только, что я вас обманула вчера. Я искренне увлеклась вашей сказкой. Но я не та, которую вы любите: вы сочинили сами себе невесту и почти ничего не взяли для этого из меня действительной. И я тоже не могу полюбить вас в один день. Прощайте. Ночью я уезжаю».

Алпатов уронил письмо и побежал на улицу, в тот дом, где вчера он с Иной расстался. Не может быть, она не уехала. Но ему ответили в доме: она уехала ночью.

И вот это волна? Да, это родилась и побежала волна.

Микарэм

Был туман в Лейпциге. Звук рожка омнибуса в холодном тумане звал родным голосом к вчерашнему ясному дню. И Алпатов шел по сигналу друга на то самое место, где вчера ему явилось облако-лебедь. Но там не было друга. Он ехал в том же самом вагоне, — в нем были только старухи с корзинами. В деревне добрый хозяин спросил, почему с ним сегодня не пришла его милая барышня. Он ответил:

— Барышня боится холодного тумана, сегодня барышня очень больна.

Через несколько дней, в солнечное утро, бледный, с темными кругами на лице от бессонницы, он опять в этой деревне, и хозяин опять спрашивает:

— Сегодня солнечное утро, почему с вами опять нет милой барышни?

— Добрый хозяин, не спрашивайте больше меня: барышня умерла, я сегодня уезжаю на родину.

И после того он решительным шагом направляется в город. Там в чертежной ставит циркулем последний кружок на дипломном проекте. Покупает билет в Москву. Прощается с профессоршей.

— Ничего плохого, — я встретил друга из России, мы с ним покутили и сегодня вместе едем в Москву.

Идет наверх за вещами, а профессорша снизу кричит:

— Не забудьте: там на столе заказное письмо из Парижа.

Так прибежала вторая волна и опять поднимает наверх, и опять форма и тело волны сливаются вместе и снова кажется, — волны быстро бегут, и можно довериться им, и унесут эти волны куда-то к началу и своего собственного, и общего всем, и небывалого, и вечного мира.

Барышня жива!

Она пишет ему неверным почерком с кляксами о каких-то своих учебных Людовиках в книгах, что все они полетели у ней. Но она и пальцем не шевельнет для своего счастья. И кончает письмо: «судите меня»...

...Видите, друг мой, она просит судить. Сколько лет проходит у нас, пока можно бывает об этом судить, а я и теперь не свободен ранней весной: вместо суда, весной света в предрассветный час на морозных узорах окна протеплю себе дырочку и смотрю почему-то в восторге на соседку бабу-Ягу, отправляющую ухватом в печь чугуны; везде из труб большими колоннами поднимается дым; мало-по-малу бледнеет молоденький месяц и с ним его большая звезда, — я давно знаю эту звезду и, видите, какой я смелый, я говорю: «Это моя звезда!»

В заутренний час я приветствую не совсем ясно доступную моему уму силу стоящего надо мной всеобщего родства и, не зная кого благодарить, вспоминаю близких людей и особенно ту маленькую женщину, через посредство которой явилась и эта звезда. Она доверчиво мне отдавалась и тоже шептала: «Судите!» Теперь, в этот заутренний час без суда и раздумья, как исток лучшей творческой силы людей, приветствую глупость влюбленных, когда не только люди, но и растения и животные, даже каменные планеты являются, как родные существа, и совершенно исчезают враги, все человечество, и паровозы, и аэропланы, и фабрики, и города представляются без враждебных слабых, как общее дело.

Мчится, мигом пересекая маленькую Бельгию, экспресс французской республики. Алпатову не только этот экспресс, но и целые госу-

дарства — Германия, Бельгия, Франция — его земля; весь мир — это Я и мои близкие. И как думать о парусе, несущем судно вслед за бегущей формой волны, — разве это не благословенная сила? И пар, несущий экспресс почти с быстротой птицы, — это разве не та же самая невидимая сила любви? И парус, и пар, и челнок, и экспресс, и Россия, и Германия, и Бельгия, и Франция, и весь мир, и все миры соединяются, вселенная плавится, и вся она вселенная — это Я сам и мои близкие.

Случайно сошлось, но при этом всегда что-нибудь сходится и кажется чудесным. У Алпатова так сошлось, что влетел он в Париж в тот самый день, когда каждый француз сходит с ума и бросается веселиться со всеми на улицу.

У нас в половине поста одни коты кричат на улицах и лезут на крыши. Французы в середине поста обрывают молитву и труд, все выходят на улицу выбирать себе королеву красоты из прачек, как-будто хотят заявить князьям всего мира, что красота больше породы, и помпам, что красивая прачка сильнее поста.

У нас в это время, в нашей пустыне, по утрам царит иней, а потом, позднее, когда иней сойдет, в лучах солнца дрожат, переливаясь всеми цветами, ледяные иголки и сверкают снега. У них уже греет апрельское солнце и вместо ледяных иголок в воздухе носятся радужные тучи конфетти. Синица и овсянка у нас только-только начинают петь брачным голосом, у них на улицах поют, играют на скрипках, и многие прямо возле кафе пускаются в пляс.

Невозможно в этой французской живой толпе продвижение. Русский спускается с верхней площадки тяжелого омнибуса по лесенке. Русский только по горю своей родины не знает таких больших праздников, но зато теперь на чужбине падает цепь, и он бросается в толпу искать свою королеву.

Какая-то роскошная дама с султаном из белой цапли на шляпе, с двумя кавалерами в цилиндрах, обнажив блестящие зубы, швырнула ему прямо в лицо горсть конфетти. Что же, мало ей двух, или, может быть, никого ей не нужно, и, как солнце, она равнодушно и щедро всем равно бросает лучи? Во-время протянулась к Алпатову рука с пакетом, он схватил его и обсыпал красивую женщину с головы до ног цветными кружками. Она засмеялась, и кавалеры слегка поклонились.

Возле открытого кафе немолодой человек с усталым лицом, но живыми глазами, играл на скрипке. Алпатов дает ему мелочи и спрашивает грамматически очень верно построенной фразой, где ему тут можно выпить немного, и не желает ли музыкант тоже выпить рюмочку и закусить. По усталому артисту пробежал ток жизни, он весь вострепнулся и, взмахнув смычком, кончиком очертил воздух и заключил весь Париж в магический круг: весь Париж у иностранца в полнейшем распоряжении! Но далеко ходить незачем: они садятся тут в открытом кафе, и француз после рюмки абсента называет Алпатова другом.

Видел ли уже прекраснейший иностранец королеву северных кварталов Парижа?

Нет, он не видел еще. Он приехал сюда искать свою королеву.

Это понятно: у каждого молодого человека должна быть своя королева. Знает ли он ее адрес? -

Адрес известен.

Музыкант смычком постучал по столу и вызвал курьера. Алпатов пишет письмо своей королеве, просит ее притти... но куда же притти? Он совсем не знает Парижа. Спрашивает музыканта, где самое лучшее место для свиданий в Париже?

Друг задумался и переспросил:

— Вы желаете непременно самое лучшее?

Получил ответ и снова задумался. И это, правда, невозможно трудный вопрос: в Париже такое множество мест для свиданий и все одно лучше другого.

Вдруг ему что-то мелькнуло. Он срывается с места. Поручает свою скрипку попечению друга, извиняется: он сию минуту ответит.

Недалеко он ушел. Тут же против кафе, из-под железного цилиндра на ножках в роде огромной конфорки, на которых у нас варят варенье, видны его ноги. Несколько секунд он думает, стоя в этой жаровне, и является оттуда, не помыв даже руки, совершенно счастливым.

— Я нашел, мусье, для вашей королевы самое подходящее место. Алпатов спросил коньяку. Артист выпил.

— Берите перо, пишите: место свидания — Люксембургский сад, фонтан Медичи.

Алпатов отправляет курьера.

— Я всегда замечал,—говорит довольный артист,—самые прекрасные мысли приходят в голову, когда занимаешься этим маленьким и необходимым для каждого делом.

Он указал смычком на жаровню, где уже виднелись ноги другого мыслящего француза.

Расстаются. И нет, Алпатов не ошибается, нет: лицо музыканта стало серьезным и усталым попрежнему, в глазах музыканта неподдельная грусть, что они должны так скоро расстаться.

Луч Парижа

У них это бывает в феврале, а у нас только в половине апреля, когда почти все растет в полях, на южных опушках лесов солнечный луч как бы впивается в землю, на пути своем сушит листву, и мелкая зимующая в листве тварь шевелится, оправляет крылышки. Луч проникает все глубже, лезет сморчок... Тут не бывает, как у нас, долгой весны света с февраля и потом весны половодья до половины апреля, и если приходит любовь, то минута этой любви в Париже отвечает за час. У них, наверно, к этому привыкли и знают, как обойтись, когда вдруг в это

время начинается пожар. Наш северный человек в Париже даже от ресторанной любви сходит с ума, принимая кокотку за свою королеву. Но воробьи в Люксембургском саду до смешного такие же, как и у нас. Это с удивлением заметил Алпатов и остановился возле колючей изгороди, за которой среди разбросанных статуй бил фонтан Медичи. Пожилая дама в трауре подошла сюда и стала кормить воробьев. Сколько пережитых страданий открывал солнечный луч в чертах этой дамы! Но воробьи так весело прыгали по газону, что дама им улыбнулась. Алпатов легко прочитал в этой улыбке: жизнь этой женщины не удалась, но она вдумчиво все перенесла, и у нее много еще осталось чего-то для всех. Дама в трауре заметила интерес Алпатова, просто ему улыбнулась, кивнула в сторону воробьев, сказала:—«Что за прелесть!» и как раз в это самое время к изгороди подошла королева в новой шелковой кофточке.

Алпатову явление невесты в первый момент было, как при остановке поезда бывает непременно у всех: все продолжает попрежнему двигаться, хотя очень хорошо знаешь, что поезд стоит. Потом обратил он внимание на ее новую шелковую кофточку, прежняя была шерстяная, поношенная шотландка и очень к ней шла, эта была не к лицу. Конечно, они улыбнулись друг другу, но сказать не могли даже здравствуйте. Подала ему руку. Он задержал, и рука осталась у него. Так идут они молча к дворцу. Алпатов первый решается сказать:

— У вас совсем новая кофточка!

Она ответила:

— Я знала, что вы непременно приедете, и купила ее только вчера. Так надо!

После того вдруг объяснилось, почему ей кофточка не к лицу и что это значит: в этом что-то серьезное, гораздо более хорошее, чем если бы шло к лицу и, конечно, так надо. Но самое главное, что Ина идет против всего, что говорит о лживой природе женщины: он вовсе не просил открываться ему, всякая другая женщина тут непременно бы сделала тайну,—эта была единственная, не как все. И в то же время все покупают новые кофточки и, значит, у него с Иной тоже и как у всех. Так получалось из всего, что обычное для всех у них происходило по-небывалому и через это раньше отвергнутое и уже непризнаваемое прошлое как бы воскресало в прелести настоящего и становилось: так надо.

Все это мелькнуло у Алпатова как чувство родного и так сильно, что перешло в движение, и он прижал ее руку к себе, и она ему ответила. А потом и началось у них понимание.

— Вот странно,—сказал он,—не кажется ли... — Он замялся, не желая сказать вы и еще не смея на ты. Выдумал пошутить:

— Если бы у нас теперь было, как в опере, я бы должен был сказать: ты моя!

Она все поняла и ответила:

— Пусть будет, как в опере: я твоя! Продолжай, твои слова были: «не кажется ли»...

— Не кажется ли тебе,—что сейчас мы живем, думаем, как нас учили. Вот ты покупаешь новую кофточку...

— Я вчера, когда покупала, думала точь-в-точь то же самое.

В это время они были уже давно во дворце и теперь говорили около статуи Родена.

— А еще я думаю сейчас—о скульптуре—раньше я смотрел на форму и потом догадывался о плане художника, находил его идею, теперь смотрю на тело статуи, на самый мрамор и так все понимаю: какой он белый, какой крупчатый, видишь ты это?

— Я это еще раньше тебя заметила, когда ты начал о кофточке.

— Нет,—заспорил Алпатов.

— Не будем спорить,—засмеялась Ина,—согласимся: мы об этом вместе подумали. Мне кажется, сейчас мы так похожи, мы такими друг для друга родились и вдруг нашлись.

Им стало тесно во дворце искусства. Вернулись в сад. Шли под руку. Она сказала:

— Подумать только: всю жизнь вместе итти!

Он сказал:

— И хорошо!

На бульваре Сан-Мишель их подхватила толпа. Тут весь воздух дрожал от разноцветных кружков. Все население Латинского квартала провожало свою королеву, победительницу всех местных, королеву всего Парижа. Когда вместе с толпой они вступили на мост, Ина крикнула:

— Сена!

И Алпатов узнал на всю жизнь, какая настоящая Сена. В это время что ни показывалось, то все на всю жизнь оставалось.

— Вот Тюильри!

И стало ему настоящее Тюильри, как природному парижанину.

О Вандомской колонне с маленькой фигурой Наполеона Алпатов сам догадался, и то же с ним было на улице-парке со сверкающими на солнце вечно зелеными растениями, он догадался сам: Елисейские поля.

И так прошел весь день: узнавал от нее или догадывался по Гюго и Золя. Перед самым закатом солнца очутились опять в Люксембургском саду и сели на лавочку против своего фонтана.

— Что я думаю,—сказал Алпатов,—мне кажется, я этот город видел где-то, очень может быть, что во сне, но, все равно, знал о нем и что когда народ наш дождется счастья, то у нас сложится, как здесь.

— Опять мы с тобой думаем вместе.

Тогда Алпатов вспомнил то самое, о чем хотел сказать ей еще утром, когда было у них в разговоре: «мы такими родились и вдруг

нашлись». Теперь он взял обе ее руки и сказал:—«Вероятно, все это потому, что мы любим друг друга». Луч Парижа, вероятно, только в эту минуту проник совсем в нее, она вспыхнула, опустила глаза.

Д е т и

А н ю т и н ы г л а з к и—называлась у нас одна милая девушка, и я сотни раз слышал о ней от взрослых: «Вот эта девушка создана для семейного счастья!». За ней было очень большое приданое, и женихов у нее было множество. Но каждое лето она приезжала к нам от матери из Москвы одна, и мало-по-малу из года в год глазки ее начинали терять свежесть полевого цветка. Наконец, один из близких нам людей влюбился в нее и поехал в Москву с твердой решимостью добиться от нее, если не любви, то хотя бы уважения, и непременно жениться. Через несколько дней он бежал из Москвы, как все женихи, и, наконец, от него мы узнали тайну Аютиных глазок. В первый же день появления жениха в доме невесты мать приглашает его к себе в комнату и просит в следующий раз непременно захватить с собой медицинское свидетельство... Так раскрылась тайна выцветающих Аютиных глазок. Но только после смерти ее матери мы узнали все: доктор объяснил странности матери последствием одной страшной болезни.—«Но,—сказал доктор,—возможно, сама она ничего о своей болезни не знала, хотя всегда была в смутной тревоге, и это переродило любовь к дочери в эгоистический страх перед ее женихами». После смерти матери было уже поздно добиваться личного счастья, и состоянием девушки постепенно завладели монахи.

И как же хороша была она в своей печали, как ужасно было знать себя маленьким бесправным, не понимать совершенно тайны медицинского свидетельства, не иметь никакой возможности освободить прекрасную нежную девушку из ее ужасного плена. Сколько раз потом в жизни своей судьбу ее мысленно я к себе применял и загадывал,—бежать мне от этой матери, называемой родиной, или терпеть все ее медицинские свидетельства без всякой надежды на личное счастье...

Была такая ничтожная причина к этому воспоминанию: сегодня на первой проталине я поднял пролежавший зиму под снегом поблеклый цветок «Аютины глазки». И такая же ничтожная причина была у Алпатова с Иной вернуться мыслью из самого очаровательного города в мире на свою трудную родину. Было это на Вандомской площади, где грязно почти как у нас, и особенно было грязно после бешеного Микарэм. За много лет выбитые шашки мостовой стали, как тарелки, и каждая была наполнена навозной жидкостью. Влюбленным, конечно, везде хорошо, и они идут, не разбирая пути, но бывают пределы и этому: без калош в новых лакированных башмаках дальше Ина итти не могла и вдруг опомнилась. А он в это неприятное для нее мгновенье сказал:

— В Париже почти такая же славная грязь, как в Москве.

Ина в первый раз ничего ответила. Это глухое молчание продолжалось и в Тюильри, когда они сели на лавочку. Алпатов спросил:

— Милая, скажи, что тебя смутило вдруг, и в первый раз мы стали думать о разном? Скажи все, так нам нельзя, дорогая.

— Меня вдруг смутила,—ответила Ина,—эта грязь на Вандомской площади и потом твои слова, я задумалась о завтрашнем дне; не все же мы будем в Париже. В России есть для меня ничем неприкрытый ужас жизни, и без твоей помощи, мне кажется, я не в силах его выносить. Я помню твое бледное лицо за двумя решетками. Жандарм стоял с часами в руках, и это было наше первое свиданье, отчего все началось.

У нее на глазах были слезы. Алпатов первый раз видел слезы любимой женщины, у него сжалось сердце.

— Ина,—сказал он,—я сам тоже неверно чувствовал, когда с улицы смотрел на заключенных. Мне кажется теперь, мое сострадание было больше страдания заключенных: я лично был счастлив в тюрьме и там я тебя полюбил.

— Вот я этого больше всего и боюсь,—ответила Ина,—ты не меня, ты свою мечту полюбил, я знаю,—это, может быть, и есть настоящее счастье слышать над собой зовущий голос, но это счастье только твое. Я не за тебя, я за себя боюсь: я обыкновенная женщина.

— Какая ты женщина,—улыбнулся Алпатов.

Ина удивилась:

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ты ребенок, еще совершенный ребенок,—ответил Алпатов.

— Как раз это я думаю о тебе,—сказала Ина,—какой ты мужчина: ты настоящий ребенок.

Оба засмеялись.

О н. Ты думаешь, такое, как у нас вышло с ребенком, у всех бывает?

О н а. Да, вероятно, у всех.

О н. Читала где-нибудь об этом?

О н а. Нет, сама догадываюсь, и, правда, читала у Герцена.

Очень покраснела почему-то. Но скоро справилась с собой и сказала:

— А кроме того, что, наверно, у всех бывает, это — мысль о ребенке, сверх всего ты еще и ребенок настоящий. Скажи, например, что мы с тобой будем делать, когда вернемся в Россию?

— Как что! — воскликнул Алпатов, — до встречи с тобой мне, правда, было как-то неловко думать, что придется как-то устроиваться на буржуазный лад, теперь это стало необходимостью, мы устроимся, а потом сама жизнь подведет нас к настоящему делу. Вот твой родной Петербург мне теперь представляется на огромном пространстве болот, как водяная лилия, — видишь как! И лебеди и дикие гуси летят над городом, и этот город своим электричеством бросает на облака

рыжую тень. Это им одно мгновенное впечатление, и они дальше летят. Россия не Петербург, она огромная! Вот как надо смотреть, я так понимаю жизнь, что мы с тобой, как птицы. Стоит ли думать о пустяках, как-нибудь непременно устроимся. Разве ты этого не чувствуешь?

Ина, подумав, печально ответила:

— Я это чувствую, милый, только через тебя.

Она взяла его руку к себе на колени, погладила, улыбнулась и потом новым и ласковым и деловитым голосом, совершенно, как мать, сказала:

— Я сейчас смотрю на тебя и мне так хорошо, мне кажется, ты мой ребенок.

Она опять покраснела.

— Но все-таки давай поговорим совершенно практически.

— Я готов, — это надо. К нашему счастью так вышло, что я тогда тебя утерять и, казалось мне, навсегда. С отчаяния взялся я за выучку. Теперь я хороший, нужный для нашей страны инженер, ценный работник, буду осушать болота, дело будет! Зачем ты вмешиваешь еще, что я поэт или художник, я тебе об этом не говорил и никакой на это не имею претензии, напротив, я горжусь, что научился работать в Германии и никакой с е р о й д е й с т в и т е л ь н о с т и не боюсь. При том ты меня еще ребенком считаешь, разве, что я сейчас говорю тебе, не как у всех, и непрактично?

Ина изумилась:

— Ты как-будто обижаешься, милый мой, за хорошее, за самое лучшее, что я открываю в тебе. Я еще больше скажу, у тебя есть лучшее, чем у поэтов, ты принимаешь к сердцу людей, чувствуешь их, — вот что дорого.

— Ты же захотела говорить о практическом, — перебил ее Алпатов, — а теперь сама уходишь в сторону.

— Хорошо, — схватилась Ина, — практическое, милый мой мальчик, не в твоих болотах, а в маме моей... я не могу себе представить тебя возле нее. Сказать ли тебе?

— Все скажи непременно.

— Трудно все: есть мучительные маленькие тайны, как их высказать? Мама моя урожденная графиня, а папа из купцов, но ради нее сделался действительным статским советником и служит в лесном департаменте.

— Ну, вот, — обрадовался Алпатов, — я очень рад, что отец твой из купцов...

— погоди, — перебила Ина, — я сейчас тебе расскажу, что перенес он из-за своих купцов. Настоящая фамилия его была Чижиков, ему пришлось поднести государю какую-то особенную просфору, на каком-то особенном блюде. После того он получил дворянство и переименовал свою фамилию на Ростовцева. И еще он готовился сделаться профессором, но, чтобы мама была генеральшей, он бросил универси-

тет и поступил в департамент. И все-таки, помню, раз у них подслушала сцену, мама сказала ему: — «Помни, для меня ты вечный Чижиков!» Представляю себе, как она прищурится, когда ты у ней будешь целовать руку.

— Зачем я ей буду целовать руку? — удивился Алпатов. — И не подумаю. Я целую руки только милым дамам, ведь я сам из купцов...

Ина смутилась, но сейчас же, как бы что-то смигнув, сказала:

— Конечно, это все пустяки!

Алпатов, однако, заметил не совсем искренний тон.

— Ты сейчас, я чувствую, сделала прыжок, — сказал он, — так нельзя, слышишь?

Ина молчала. Алпатов строго сказал:

— Другой раз так не делай!

Она вспыхнула и руку его крепко прижала к груди.

Он удивленно смотрит, а она шепчет:

— Ты всегда со мной так, всегда...

— Вот какая ты, — сказал он, смягчая тон, — правда, как ребенок. Ну, скажи мне, что же, если я руку не поцелую у твоей страшной графини, неужели она не согласится на брак?

Ина молчит, как виноватая. И у нее слезы в глазах. Но Алпатов на слезы не смотрит. Он требует:

— Ина, ты мне достаешься немалой ценой. Ты должна, понимаешь ты это, — ты должна мне все сказать.

Ина всхлипывала.

— Я жду, Ина. Не согласится твоя графиня, ты со мной не пойдешь?

Она вдруг озлилась:

— Чего ты ко мне пристал? Как я могу сказать тебе, пойду я или не пойду: я сама ничего не знаю...

Она вдруг зарыдала у него на плече, и так сильно, так безудержно рыдала.

Алпатов потерялся. Что ему делать? Было такое тупое мгновенье. Она жила и мучилась в какой-то своей женской тайне, а он как на пожаре стоит: видит — горит, а под рукой нет ничего... Но вдруг он понял: это ребенок обиженный, и надо с ней, как с ребенком. Но, когда он двинулся к ней, как к ребенку, вместе с тем двинулось в нем и все его безудержно. Он целовал ее в лоб, в глаза, в слезы и говорил ей:

— Успокойся, Ина, я сейчас понял, как мне надо быть, я, правда, эгоист и знаю только себя, я буду смотреть на тебя близко, я буду читать твои мысли: я пойму тебя совершенно, ты будешь довольна. Я поцелую руку страшной графине, — пусть! Я постараюсь понравиться ей, — пусть! Я даже поступлю в департамент на службу к твоему отцу, — пусть! А потом, когда мы крепко по-настоящему полюбим друг друга, то удерем из твоего гнилого Петербурга в настоящую хорошую Россию. Тебе так нравится?

— Милый мой, — шептала она, — я никак не думала, что есть еще такие, как ты, я думала, это в сказках только... Вижу теперь, Петербург—это не вся Россия. И вижу я еще, ты не один.

— Нет, нет, — подхватил радостно Алпатов, — нас очень много, ты к нам переходи, будь с нами...

Только едва ли это она слышала. Она уходила куда-то в себя, все дальше, дальше, и, вдруг вспыхнув, прижалась к нему.

Но он целовал ее, как сестру, как ребенка, и совсем даже не догадывался, не знал, что теперь уже ему можно бы целовать как-то иначе.

— Скажи,—говорил он,—скажи, моя маленькая девочка, нравится ли тебе мой план?

Она ему сказала:

— План? Как план? Милый мой, ты еще совершенно ребенок, маленький мой ребенок, и ничего, ничего еще ты не понимаешь.

Арфа из Швеции

Тихое солнечное утро. Предрасветный мороз все прибрал, подсушил, где причесал, где постриг, но солнце очень скоро расстроило все его заутреннее дело, пустило в ход все свои лучи, и на припеке, под лужами, острия зеленой травы начали из-под воды отделять пузырьки своего дыхания.

Не знаю, не хочу вспоминать, как называется то дерево, на котором я увидел родные хохлатые почки, и в этот миг все пережитые мною весны стали мне, как одна весна, и вся природа явилась мне, как брачный пир.

Мне долго казалось, что это острое, как иголки травы, пускающей на припеке из ледяной воды пузырьки дыхания, чувство природы мне осталось от первой встречи себя, как ребенка, с природой. Так я долго был под влиянием великих мечтателей и представлял себе, будто и вправду где-то на лоне природы у дикарей существует прекрасная жизнь. Но теперь я понял ошибку этих великих умных людей, и я теперь знаю, что родники этого чувства не тут...

Мне все стало ясно, когда впервые мелькнуло, что, может быть, необходимо навсегда расстаться с такой любовью и когда, наконец, дошло до такой боли, что хоть пальцем потрогай по телу и душа отзывается, то на другой стороне взамен этого встал великий мир моей радости, и временами оказалось возможным заменить любовь к недоступной невесте любовью к женщине-матери и сладостную боль израсходовать в благословенном труде, где, понятно почему, живет красота и радость в цветах, в полете и пении птиц, в гибких движениях зверей и всего бытия. И только тогда, став в ряды живых сил, творящих в настоящем из прошлого в будущее, познал я прелесть человека — ребенка в природе,—и родной человек в родной стране мне при всем его горе показался прекрасным.

Друг мой, сегодня, когда я увидел в ледяной луже пузырьки дыхания зеленой травы, счастливо сложился мой день. Вечером пришла ко мне от соседней голодная девочка. Жена ее накормила, а я потом, настроив свой ламповый приемник на волну заграничной радиостанции, усадил крошку в глубокое кресло слушать концерт на арфе из Швеции. Тогда глаза девочки широко раскрылись, и в мою душу от них полились тоже какие-то волны. Я знаю, радиоволны ничего не имеют общего с живыми чувствами и мыслями, исходящими от человеческой личности, но подобие радиоволн с нашими внутренними велико, оно наводит на мысль: углубляя наши знания внешнего мира, мы так близко подойдем к нашему внутреннему, что когда-нибудь и о себе самих вдруг догадаемся. И только тогда, мне кажется, мы будем сознательно и вполне безопасно для себя заниматься науками и пользоваться законами природы для себя самих.

Я отдал обе телефонные трубки, она слушает в два уха и не сводит с меня глаз, и я думаю о том ребенке, который предшествует в нашей любви рождению обыкновенного, как было у Ины с Алпатовым. Друг мой, верьте мне, разбираясь в себе, я могу доказать, что эти привлеченные мною звуки арфы из Швеции для чужой маленькой девочки в лохмотьях явились больше на волне моей первой любви, чем из географической Швеции. Не будь той арфы, не стал бы я обрывать свою работу воем и свистом каких-то чертей в эфире, неизбежных при настройке наших приемников на волну далекой радиостанции. Мне легко об этом говорить, эта сила хотя и не открытая, но естественная и знакомая всем: попробуйте взять на руки чужого ребенка и отправиться с ним в путешествие по городу; вы встретите непременно в трамвайной давке множество людей, готовых защищать ваше дитя от нахалов, потянутся руки с игрушками, когда заплачет ребенок, вы услышите много советов, удивитесь...

В эту ночь, после объяснения на лавочке в Тюильри, молодые люди разошлись, настроенные на одну волну. Ночью Алпатов проснулся, как от подземного толчка, и сел на кровати, спустив ноги. Ему представилась Ина странным ребенком: хочет ребенок итти с ним и не может. Он ищет какую-нибудь забавную игрушку и не может найти. Первый раз в жизни он не знает, за что ухватиться... Но что же раньше-то было, почему все казалось так просто? Раньше была вера в прогресс, что все на свете идет, как поезд по рельсам, в лучшее будущее, теперь в настоящем нет поезда, чтобы сесть на него и поехать. Но самое ужасное, что для других все это движение остается попрежнему, все попрежнему едут, только я не могу... и распадаюсь...

В тот же час, около полуночи, Ина прочитала в своей тетрадке запись в день приезда Алпатова: «Он приехал, что я наделала!».

В час ночи она записала еще:

«Я, должно быть, не люблю его, так страшит меня свидание его с мамой: не могу себе это представить! Но самое ужасное, я знаю, это больше не повторится мне в жизни, и я ему отдаю все свое лучшее».

Под самое утро:

«Ясно вижу,—не люблю. Какая это любовь, если чувствую, не пойду против мамы. Не люблю: он не такой».

В эту самую минуту Алпатов, наконец, придумал, как ему быть с ужасным ребенком: ему надо переместиться в его душу и представить себе совершенно, как-будто он и сам такой, а потом вернуться к себе настоящему и взять в свои руки управление ходом событий. Он перебрал в голове все ее поступки, все слова ее, представил все перемены ее лица и ему стало так же странно и страшно, как когда хочется себе представить бесконечное. Голова у него закружилась. Он лег и сразу уснул.

Ина очнулась в большой тревоге и стала быстро собираться, как-будто кто-то гнался за ней и нашептывал: «Он знает, что писала она в дневнике, и теперь вдруг уедет». И как Алпатову показалось страшной, невыносимой бесконечность безволия, так же ей оставалось ее одиночество с книгами о чужих Людовиках, и так н а в с е г д а. Эта была та же самая страшная бесконечность Алпатова, добежавшая к ней по волне.

Не дожидаясь утреннего кофе в своем пансионе, она идет на бульвар Сан-Мишель и решает ходить из отеля в отель, пока не найдет, где остановился он.

Ина все угадала. Алпатов в своем коротком утреннем сне, как не раз с ним бывало в гимназии при решении трудных задач, увидел ясно ответ на задачу, от которой закружилась у него голова: это не любовь, и он должен уехать немедленно. Это не любовь, если она боится своей ужасной матери и соглашается подвергнуть его унижению службы для нее в департаменте. Сегодня это, завтра ей покажется необходимым сделаться генеральшей, и Алпатов из купцов станет ей совершенно таким, как для страшной графини стал Чижиков. Он еще может ее оторвать от себя и заменить это стыдное положение делом. Вот при мысли, что можно как-то заменить одно другим, ему стало легко на душе и уверенно. Ни на одно мгновение ему, однако, не было известно, что можно Ину заменить какой-нибудь другой женщиной. Но дело взамен Ины—это обыкновенное для всех осушение болот—стало заманчивым и самые болота природой единственно девственной. Может быть, даже, как это не раз, наверно, и бывало, что где-нибудь он найдет засоренный сток, расчистит, побежит новая река, и то место, где было огромное недоступное болото, станет для всех золотой луговиной. Какой огромный простор радостного бодрого мира открывается, если только подойти к нему взамен Ины! И он укладывает в чемодан вещи свои спокойно, дельно. Уверенность его стала, наконец, так велика, что незачем оказалось и очень спешить: он может попробовать пройтись сейчас по чудесному городу один и так испытать, может ли он и один без Ины насладиться полнотой жизни.

На бульваре Сан-Мишель, и на мосту через Сену, и потом в Тюильри, и на Елисейских полях—езде еще не остыли ее следы,

и он тут еще был не один. Только пройдя Этуаль, он вступает, наконец, в мир, который ему заменит любовь. Тут расходились аллеи, и от каждой из них в стороны было множество тропинок. Алпатов шел, не разбирая пути, и скоро совсем потерялся в незнакомых местах.

Нам в обыкновенной жизни бывает немного похоже на это, когда мы заблудимся в большом лесу и начинаем в незнакомом месте узнавать что-то знакомое: вот как-будто эта самая полянка, где мы вошли в лес, вот здесь возле этого поваленного дерева должна быть тропа,—и нет ее почему-то! и, значит, поляна не та, а мы сами создали из этой дикой свою желанную. Страх заблудиться мешает полному наслаждению этим невольным непрерывным творчеством, и только потом, когда все обошлось благополучно, вспоминаются необыкновенно отчетливо разные волшебные мелочи: как испугались два снегиря, когда лисица переходила по бревну ручей, и вдруг встретилась с ними, или как на одной поляне береза, теряя золотую листву, осыпала золотом и как-то этим очень успокоила стоящую под ней елку. Но это невольное блуждание с постоянным страхом совсем заблудиться и до ночи не выйти из леса—только слабый намек на то ничем неестественное творчество Алпатова, блуждающего в Булонском лесу. Волшебна была ему одна тропинка с кустарниками в смолистых зеленящих почках. С необыкновенной силой проникал в него свет этой зелени, и аромат, и музыка множества начинающих свою весеннюю работу пчел. Раз он даже ухо приложил к стволу одного дерева, гудящего от пчелиной работы, и слушал долго, как дерево пело. И когда это же самое дерево, вырастающее из земли, предупредило его своими особенными звуками о приближении по земле шагов другого человека, он бросился в кусты, пугаясь свидетеля его особенных чувств к дереву, к пчелам взамен Ины больше, чем если бы кто-нибудь застал его в объятиях с ней. Из кустов он видел, как этот высокий, хорошо одетый и не совсем молодой человек с шляпой в руке остановился, прислушался и тоже, как он, приложил ухо к поющему дереву. Тогда оказалось, что открытый им сегодня мир взамен Ины существует не для него одного, а таится для всех, что, может быть, много людей сегодня перешепчется с этим деревом, но никто об этом не скажет...

Когда этот другой человек удалился, и шаги его совершенно затихли, Алпатов продолжал свой волшебный путь по земле «взамен Ины», как-будто знал в предчувствиях давно о нем и теперь его, наконец-то, открыл во всей действительной его красоте. Главное, что в этом новом мире не было пустот и промежутков, как в старом, и вот если это волшебное поющее дерево теперь оставалось назади и уже не было слышно, то зяблик тоже очень понятно пел, невидимый, где-то в кустах, и, когда шмель с разлету запутался у него в волосах,—освобождение шмеля было то же, конечно, событием и, если бы рассказать об этом Ине, как он освобожденный загудел и пошел наутек, то исчезая в тени, то показываясь в лучах солнца, она бы, наверно, тоже захотела полюбоваться шмелем. Это возвращение из мира «вза-

мен Ины» к ней самой ему не было теперь тревожно и горько,— в эти часы и она стала новая, как весь мир, и эта новая Ина сливалась с ним и со всем в мире. Быть может, скоро после того тут среди кустов и деревьев догадался бы он о пути к этой новой Ине, чтобы найти ее и остаться с ней навсегда, но вдруг произошла перемена всего.

Лесная путаница тропинок окончилась, и открылся великий простор. Была синяя гладь, как широкий торжественный путь, по сторонам тесные кущи особенных, сделанных рукой человека похожими на облака, только начинающих зеленеть деревьев, там и тут из этой светящейся зелени выглядывали белые статуи, били радужные фонтаны. Выше этого первого озера было другое, и по берегу шел тот знакомый человек у поющего дерева. Он шел дальше вдоль водного пути и, казалось, поднимался все выше и выше. В конце последнего высокого озера стоял торжественный дом, хорошо известный Алпатову по многим рисункам: торжественный дом был Версальский дворец.

Статуи были такие белые, а солнце над ними золотое, деревья дымчато зеленые и над ними золотое солнце, вода синяя и над ней золотое солнце: не король-солнце, а настоящее, подлинное солнце одно теперь царило в этой пустыне истории...

А человек продвигался все выше и выше к дворцу, пока не исчез совсем за фонтаном. Алпатов следил за ним почему-то до последнего момента, как-будто дожидался его совершенного исчезновения, чтобы в полном одиночестве отдаться влиянию солнца. И, правда, когда он остался один, солнце ему открылось. Он шел прямо к нему и поднимался все выше и выше...

... Вот, милый друг, вспомните, наверно, и вы в своей жизни встречали не раз странных людей, которые, однажды увидев какой-то яркий свет впереди, идут на него, пока не ослепнут, и доктор потом находит у них при жизни неподвижную идею, а после смерти с интересом промывает мозги, стараясь открыть причину неподвижности мысли. Мы все, однако, за исключением людей от природы совершенно обиженных, продвигались по тому же опасному пути, пока не спасала нас простая догадка, что к источнику ослепляющего нас света нужно обернуться спиной и смотреть не туда в светило, а на освещенные им предметы. И так выходит, что, с одной стороны, непременно надо вперед итти, а то не будет прогресса, и люди на земле окончатся с голоду, с другой — каждому из нас необходимо, чтобы не ослепнуть, во-время найтись и оглянуться назад. Вспомните, друг, как учили нас в школе: одни звали вперед, другие манили назад, то и другое мы получали, как единственный путь. Непостижимо, как мы спасались в этих условиях. Вспомните звено за звеном всю нашу русскую Кашееву цепь. И как же бесконечно тогда тосковала душа по близкому человеку, кто, не считаясь ни с какими общими правилами, одной силой родственного внимания заглянул бы в тебя и сказал или: «Не бойся ничего, иди смело вперед», или: «Пришло, друг, тебе время обернуться спиной к светилу и заняться собственным своим хозяйством в терпеливом подсчете и точной мере всего».

Алпатов шел прямо на солнце, и восторг его нарастал, как звук в сирене, все выше и выше, пока не дошел до последней черты, и все его пламя начало облекаться какими-то сначала очень смутными мыслями. Оказалось, мир устроен не прямо и не устремлен по прямой в бесконечность, а все движется кругами, как солнце. И все, что мы назвали хорошего, — любовь, истина, правда располагаются вокруг солнца кругами, только лучи их прямые, и вот только эти кончики всего, эти лучи, дали нам возможность представить себе бесконечное движение по прямой, этот прогресс.

Мало ли каких миропониманий, известных Алпатову, начиная от Гераклита, не было в истории человеческой мысли, особенность этого своего собственного понимания была в совершенной ясности выводов из него для своего собственного поведения на следующее после мысли мгновение практической жизни в полном согласии с этим золотым миром в себе. Так просто решалась теперь и эта загадка, над которой он думал всю ночь: почему Ина сегодня зовет его, завтра бежит, то хочет идти за ним на край света в болота, то боится ужасной графини, то любит, то не любит. Решение, казалось, невозможной задачи теперь в свете нового понимания мира такое простое: их, теперь оказывается, две: одна, которую он любит, настоящая Ина, другая Ина Петровна. И отсюда прямой, как луч, логический вывод: надо не бежать от нее, как он хотел, не прощаясь, а, напротив, как можно скорее спешить идти к ней, рассказать все, что он открыл, и так спасти свою Ину от Ины Петровны. Вслед за этим решением кончились все его колебания, и внешний мир оказался ненужным. Теперь он идет гораздо скорее, почти что бежит, и от всего Версальского дворца для него остаются только стены и множество окон. Не нашлось у него даже мгновения оглянуться назад и посмотреть, в какой нежной зеленой дымке спустилась терраса озер. Там вдали намеком обозначалась столица мирового искусства Париж. Он бежит на улицу и первого прохожего с волнением спрашивает, где находится ближайший ларек с пневматической почтой. Там ему дают голубую бумажку, и он быстро пишет Ине, что немедленно едет в Россию устраивать их общее дело, и ему надо теперь как можно скорее сказать ей такое, чему она очень обрадуется и отбросит все свои сомнения и колебания. Это голубое письмо у него взяли, и оно одним дуновением полетело по трубе в Париж вместе с другими деловыми, любовными и просто безумными письмами.

Светолюбивая береза

Можно сравнивать обыкновенный березовый лес высотой и силой с корабельным мачтовым бором? Но, бывает, в боровом редколесье попадет светолюбивая береза, и ей так придется, если отстать, погибнуть без света. Тогда начинается бег на обгонки белой березы и ее красноствольных соседей. После многих лет среди неведомых могил берез, угасших в бору без света, иногда мы с вели-

ким удивлением находим живую березу, как мачту, такую высокую, что птицу, сидящую на самом верху, ружьем не достать. Так бывает—вырастает у нас иная женщина в борьбе за свободу. Я таких знал в своем детстве, думал—и моя будет такая, и я пойду за ней, как слуга. Но когда время пришло, то меня пленила не такая, а совсем маленькая и обыкновенная женщина...

Простите, мой друг, что, рассказывая историю любви Алпатова, не могу удержаться от личных воспоминаний и так невольно делаюсь из летописца как бы своим первым читателем.

Ина добилась своего и нашла небольшой отель, где остановился Алпатов. Тут она все узнала: Алпатов не уезжал. И спокойно стала, как условились, дожидаться его в Люксембургском саду против фонтана Медичи. Но, когда прошел назначенный час, быстро стала нарастать ее тревога, как у матерей бывает, когда ребенок убежит, и в голову начинает приходить непременно худшее. Была и другая, себялюбивая тревога, что потеряет власть над собой, и начнется этот страшный бред, как уже было с ней однажды, когда она оставила его в Лейпциге. Она опять зашла в отель,—его там не было, и консьержка, ей показалось, оскорбительно улыбнулась. Вспомнилась одна ее подруга, так влюбленная в юнкера, что он гнал ее от себя, как собаку, и все-таки она опять приходила к нему. После того она решила идти домой, взяться за книги и победить свою тревогу. Как раз к приходу ее получилось письмоцо, и все в ней переменялось. Ей пришло в голову, что она сама во всем виновата, она мучит его, а все решается просто. «Во всяком случае,—сказала она,—человек он очень хороший, и за него можно выйти замуж». До сих пор она еще ни разу не осмеливалась сказать это самой себе вслух, и теперь очень удивилась и обрадовалась простоте решения и ясности последующих выводов. Она даже махнула рукой и уже не про себя, а на всю свою комнату сказала:—«Да, конечно, нужно смотреть проще!» Она еще и еще перечитала письмо Алпатова; в нем тоже, казалось, было все так просто: едет немедленно в Россию устраивать их общее дело. Она поняла это общее дело, как необходимое для брака положение в обществе. С своей стороны она воспользуется остатком времени и напишет письмо родителям.

— Нужно смотреть проще,—сказала она еще раз, и принялась за письмо.

Она спокойно писала, что встретила в Париже молодого человека...

Тут она остановилась и подумала, следует ли прямо сначала сказать, что он инженер, или промолчать. Промолчала, и написала: «он инженер». Опять остановилась и задумалась, следует ли писать, что он болотный инженер, и удержалась. После того до конца писалось легко: кроме того, что он инженер, он очень образованный, владеет европейскими языками, и очень хороший человек. Мать его она знала раньше: это простая, но замечательная женщина, всеми

уважаемая. Он просит ее руки, и она дала ему свое согласие выйти за него после окончания курса: ей остается немного. Пока она будет кончать курс, он будет в России создавать себе положение.

Перечитав письмо, Ина с особенным удовольствием обратила внимание на слово положение: так все пишут и такое бывает у всех. И еще раз, окончив письмо, она повторила:

— Конечно, конечно, смотреть надо проще на все!

Написала на конверте адрес, приклеила даже марку, но не запечатала: она покажет это письмо ему, и ей кажется, — он очень обрадуется, это будет сюрприз ему. А между тем и Алпатов думал, что, заключая брак с Иной для борьбы с Иной Петровной, он нашел теперь такой простой исход всем сомнениям.

Как все обманчиво! Перед этим консьержка встречала ее, казалось, с такой противной улыбкой, теперь эта обыкновенная деловая француженка не обратила на нее никакого внимания. Они встретились...

Что же такое случилось? Она несла ему желанное решение, такой большой сюрприз. Он тоже для нее сделал великое открытие. И вот, оказывается, и ей и ему стало как-то трудно быть вместе. Он поцеловал ее руку: она пахла свежей водой и от этого представилась новая, какая-то третья, просто деловая Ина. Он усадил ее в глубокое кресло и спросил:

— Неужели ты сейчас только встала?

Ина поняла, почему он спросил, с улыбкой понюхала свою руку и сказала:

— Я только что умывалась. А все утро бегала я неумышкой, два раза была у тебя: мне представилось, что ты хочешь бросить меня и уехать в Россию...

Алпатов сразу вернулся к первому свиданию с ней в Люксембургском саду, когда она пришла к нему в новой кофточке, и сказал ей тепло:

— Какая ты, Ина, хорошая...

Он решает теперь начать ей рассказывать о своем видении живого солнца над Версальскими озерами, но, оказывается, для понимания этого надо так много и что к двойной Ине он никогда не придет. По какой тропинке он попал в Булонский лес? Где это было певучее дерево? И он долго слушал пчел, приложив ухо к стволу дерева...

— Понимаешь ли ты меня, Ина?

— Да, понимаю, — отвечает она, — рассказывай, рассказывай...

А сама чувствует, как она вместе с ним удаляется от простого сюрприза, принесенного с собой, и опять ей становится тревожно и грустно: в какой мир он уводит ее?

Он был высоким в сером пальто с расчесанной волосок к волоску светлорусой бородой; палка у него была черная, блестящая, с рукояткой из слоновой кости, и такой солидный человек стал на колени перед певучим деревом и долго слушал...

— Милая Ина! я увидел в этом, что новый мир не бред мой, и я подумал тогда: «Если бы Ина была со мной!» Потом шмель запутался у меня в волосах, я стал его освобождать, и тут явилась ко мне ты, ясная, такая светлая, и я показывал тебе шмеля, как он, удаляясь, мелькал в пронизывающих лучах солнца. Понимаешь ли ты меня, Ина?

Ина лежала, откинувшись в кресле, глаза ее были закрыты. Она чуть слышно сказала:

— Не спрашивай больше: я все понимаю.

Открылся простор, озера, торжественный дом. Там вдали открылся человек в сером пальто, и тогда открылось ему живое солнце, как сим победиши, и весь круглый мир и прямые лучи, солнце, истина, красота, правда — все было в единстве...

— Могу ли я все тебе сказать, Ина?

— Все, все!

— Вот я и увидел тогда: Ина двойная, одна—моя, настоящая, и другая—Ина Петровна, дочь ужасной графини. И я решил, как можно скорее идти к тебе, все сказать и начать вместе борьбу с Иной Петровной... Вот я все сказал, теперь, Ина, суди меня...

Она молчала. Ему стало страшно смотреть на нее: да или нет, родная, светлая Ина, или Ина Петровна?

Она молчала. Он обернулся: это была в кресле ни та, ни другая: женщина лежала с закрытыми глазами, сгорающая... Алпатов очнулся и вдруг сам сделался таким же, как и она. Все загорелось, и это новое стало больше всего. Он бросается к ней, лицо его у нее на коленях, в крепких руках, и это уже все, это настоящее.

...Друг мой, я возвращаюсь к светлолюбивой березе. Этот взлелеянный мной образ мне помешал. Да, когда время пришло, меня пленила не такая, а совсем обыкновенная маленькая женщина. Она бежала от меня наполовину с мечтой о женской свободе, как все живое бежит от самца, и наполовину с желанием, чтобы я догнал ее и овладел. И как же просто оказалось потом все, что делают все обыкновенные умелые люди. Но меня от этого уменья удержал образ светлолюбивой березы, смущенный отступил я, стыдясь в себе «зверя», и, страдая, предоставил свободу маленькой женщине...

Случайное движение руки задело у Ины ее локоны; и Алпатов увидел что-то в ней новое. Он оставил ее колени и обратился туда, к лицу: ведь и это все было свое. За локонами ему открылся невиданный лоб, такой большой, прекрасный. Но лицо Ины совсем переменялось. Нет, через это не утратилась прелесть его Ины, но весь пожар как бы мгновенно погас, и ему стало совершенно как в детстве, когда он с таким страхом крался в спальню Марьи Моревны и увидел ее спящую и дрожащим голосом позвал: «Марья Моревна!» А потом, оказалось, бояться-то было нечего: Марья Моревна просто взяла его к себе на кровать.

Ина пришла в себя, открыла глаза, улыбнулась и сказала:

— Милый мой мальчик!

И мальчик стал ей рассказывать, как было с ним давно на постели, у Марьи Моревны, там, в России, где лежат теперь еще совсем нетронутые глубокие сверкающие на солнце снега, где так заметно теперь изо дня в день прибавляется день, и после темноты утром и вечером голубеет. Но тогда маленьким он не знал, отчего голубело в окне, когда он был у Марьи Моревны: ему казалось тогда, будто тихий гость в голубом подходит к окну.

Теперь Ина ласкает его, как Марья Моревна, и им не о чем спорить и тревожиться. Они вместе читают и смеются над ее письмом: какой вздор приходит в голову при непонимании! Да разве не пойдет она за ним на край света, не обращая внимания на родителей? Но положение, конечно, создать ему необходимо, это не то, как все говорят, а настоящее положение.

Какое же это настоящее положение?

Им кажется сейчас оно ясным: для нее он легко сделает все.

— Знаешь, Ина, — говорит он, — мне даже страшно: с тобой все могу, но без тебя, мне кажется, все мое пропадет, без тебя во мне и нет ничего.

Ина что-то вспомнила, отстранилась, вдумалась: лоб у нее так и остался после ласки Алпатова открытым. И такая она была грустная, когда сказала ему:

— Нет, это у тебя не пропадет и без меня, это не пропадет...

Так они расстаются. Он бодрый, счастливый едет создавать какое-то особенное положение. Она остается.

В раздумьи возвращается к себе Ина. Посмотрела на себя в зеркало, такая растрепанная! умылась, причесалась. Разобрала забытые книги, нашла нужную. Села за письменный стол, читает немного... Потом берет маленькое зеркало, всматривается, шепчет:

— Только лоб, только лоб, остальное все женское, если бы родилась я мужчиной!

Долго, неутешно она рыдает над книгой.

Друг мой, у меня больше нет никаких догадок об Ине Ростовцевой. Та маленькая женщина моя, нечаянно отдав мне свое, как говорила она, л у ч ш е е, конечно, затерялась и угасла, как простая березка в бору.

Неконченная поэма о „Черном Принце“

ВЕРА ИНБЕР

I

Если ударов пульса в минуту
Больше, чем семьдесят два,
Если сердце падает круто,
Воздух ночи лова,

Если к бумаге, бледной от пота,
Липнет чернильная прядь,
Если уже невозможно работать
И немислимо отдыхать,

Тогда на углу, не так ли,
Пименовского и Тверской
Покупают в аптеке капли,
Пахнущие тоской.

И сердце бьется глаже.
И утром, под утра гул,
Человек проснется и скажет:
— Сегодня я отдохнул.

Но если запах валерьяновый
Утомителен, как больной,
То насколько лучше вдыхать его заново
В горах, пополам с луной.

Под звездами у овчарни,
Где овечьей стопы размер
Опетляет слепой кустарник,
Седой, как Гомер.

Над бухтой он взрос не сеян,
Где однажды (как мир мал)
Мы встретились с Одиссеем,
И он меня не узнал.

«Денно и ночью шесть суток носились они по волнам...»
И так далее.
Но и сейчас так же солон загар, как в Гомеровы дни,
И неутомимы сандалии.

Затихала столетий мертвая зыбь,
Проплывали события и толпы,
Словно тень на земле виноградной лозы,
Голубая на желтом.

И сейчас спокойны горные щели,
И пахнут целебные травы
Там, где когда-то ядра шипели
В раскаленной воде Балаклавы.

И трупный червь эту землю пучил,
Так что посевы блекли.
И Севастополь багровой тучей
Вплывал в окуляры биноклей.

И там, где сейчас над сетями напруг
Свои медные мускулы Костя-рыбак,
Орел, сердце и хвостун, —
Там стоял англичан многопарусный флот,
И гравюрно-подробен был матч переплет
И эмблемы батальных форту.

И покуда Малахов курган кишел
Кромешной кашей шершавых тел
И плавал кровавым борщом,
Ложилась ночей виноградная синь
На пепел и дым адмиральских седин,
И море вздымалось плащом.

И, держа наготове жерла,
Отменно прям и велик,
Подпирая бухты горло,
Как золотой воротник,
Стоял, в воду врыв кузов
Как бы на сотни лет,
«Черный Принц» с грузом
Королевских монет.

Ленинград

ГРИГ. ПЕТНИКОВ

Ночь. В сновидениях твоих
Дымкà раскинутые косы,
Весны — раскованной Невы
Запечатлен тревожный воздух.

И в заморозках сна
Прозрачных верб
Смертельное похмелье;
Чугунных сот
Надвинувшаяся тишина
Скупым рассветом отлетела.

И утра зябкий разговор,
И беспокой в истоме камня,
В окно глядит веселый порт,
Торгов балтийских хитрый правнук.

А за лесами мачт и труб
Фабричных дел высокий мастер —
«Путиловец» и «Большевик» —
Ведут беседу поутру
В дыму рассеянных ненастий.

В проспектах, ротах, площадях
Плывет под ветром день советский,
И та же серая Нева,
И Сад Трудящихся в дождях
Протягивает зелень веток.

Хождение по мукам

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

(Продолжение ¹)

Пароль!—повелительно сказал человек, стоявший спиной к окну. Даша протянула ему картонный треугольник.—Кто вам передал это? (Даша начала объяснять). Короче!

Он держал левой рукой у рта шелковый носовой платок, закрывавший его смуглое, или, быть может, заgrimированное лицо. Неопределенные, с желтоватым ободком, глаза нетерпеливо всматривались в Дашу. Он опять прервал ее:

— Вам известно: вступая в организацию, вы рискуете головой?

— Я одинока и свободна, — сказала Даша. — Я почти ничего не знаю об организации. Никанор Юрьевич дал мне поручение... Не возвращаться же опять... (Она поморщилась.) Я не могу больше сидеть, сложа руки. Уверю вас, — я не боюсь ни работы, ни...

— Вы совсем ребенок! — Он сказал это так же отрывисто, но Даша настороженно подняла брови.

— Мне двадцать четыре года.

— Вы женщина? (Она не ответила.) В данном случае это важно. (Она утвердительно наклонила голову.) О себе можете не рассказывать, я вас всю вижу. Я вам доверяю. Вы удивлены?

Даша только моргнула. Отрывистые, уверенные фразы, повелительный голос, холодные глаза, — быстро связали ее неокрепшую волю. Она почувствовала то облегчение, когда у постели садится доктор, блестя премудрыми очками: «Ну-с, ангел мой, с нынешнего дня мы будем жить так»... И берет на себя и волю и болезнь.

Теперь она внимательнее оглянула этого человека с платком у лица. Он был невысок ростом, в мягкой шляпе, в защитном, хорошо сшитом пальто, в красных кожаных крагах. И одеждой и точными движениями он походил на иностранца, говорил с петербургским акцентом, неопределенным и глуховатым голосом.

¹) См. «Новый Мир», кн. 7—12 пр. г. и 1 и 2 с. г.

— Вы где остановились?

— Нигде, я сюда прямо с вокзала.

— Очень хорошо. Сейчас вы пойдете на Тверскую в кафе «Бом». Там поедите. К вам подойдет один человек, вы узнаете его по галстучной булавке, — в виде черепа. Он скажет пароль: «С богом, в добрый путь»... Тогда вы покажете ему вот это... (Он разорвал картонный треугольник и одну половинку отдал Даше.) Покажете так, чтобы никто не видел. Он даст вам дальнейшие инструкции. Повиновение ему — беспрекословное. У вас есть деньги?

Он вынул из бумажника две думские ассигнации по тысяче рублей.

— За вас будут платить. Эти деньги старайтесь сберечь на случай неожиданного провала, подкупа, бегства. С вами может случиться все. Ступайте... Подождите... Вы хорошо поняли меня?

— Да, — с запинкой ответила Даша, складывая тысячные бумажки все мельче и мельче в квадратик.

— Ни слова о свидании со мной. Ни слова никому о том, что вы были здесь. Ступайте.

Даша пошла на Тверскую. Она была голодна и устала так, что ноги передвигались сами собой, — деревья Тверского бульвара, мрачные и редкие прохожие плыли, как сквозь туман. Все же ей было покойно от того, что кончилась мучительная неподвижность, и непонятные ей события подхватили ее чортовым колесом, понесли в дикую жизнь.

Навстречу, точно кино-тени, прошли две бабы в лаптях. Оглянулись на Дашу, сказали тихо:

— Бесстыдница, на ногах не стоит.

— Бывает так, что и с голоду...

Дальше проплыла высокая дама с полуседыми, собранными в воронье гнездо, волосами, с двумя глубокими морщинами у припухлого рта. На лице, когда-то, должно быть, красивом, застыло величайшее недоумение. Длинная черная юбка заплатана, будто нарочно, другой материей. Под шалью, тащившейся концом по земле, она держала связку книг, и вполголоса обратилась к Даше:

— Есть Розанов, запрещенное, полный Владимир Соловьев...

Дальше стояли несколько старичков и женщин, по виду — нянек. Наклонившись к садовой скамейке, они что-то делали. Проходя, Даша увидела на скамье двух, — плечо к плечу, — крепко спавших красногвардейцев, с открытыми ртами, с винтовками между колен. Старички грозили пальцами и шопотом ругали их нехорошими словами.

За деревьями сухой ветер гнал пыль. Прозвонил редкий трамвай, громыхая по булыжнику сломанной подножкой. Серые гроздья солдат висели на поручнях и сзади на тормозе. У бронзового Пушкина на голове попрыгивали воробьи, равнодушные к революциям. Даша свернула на Тверскую, — со спины на нее налетело пыльное облако, заку-

тало бумажками, донесло до кафе «Бом», — последнего оплота старой беспечной жизни.

Здесь собирались поэты всех школ, бывшие журналисты, литературные спекулянты, бойкие юноши, легко и ловко приспособляющиеся к смутному времени, девицы, отравленные скукой и кокаином, мелкие анархисты — в поисках острых развлечений, или — просто обыватели, прельстившиеся пирожками в вазе.

Едва Даша заняла в глубине кафе место под бюстом знаменитого писателя, — кто-то взмахнул руками, кинулся сквозь табачные туманности и шлепнулся рядом с Дашей, хихикая влажной, гнилозубой улыбкой. Это был давнишний знакомый, поэт Александр Жиров.

— Я за вами гнался на Лубянке... Уверен был, что это вы. Дарья Дмитриевна, какими судьбами, откуда? Вы одна? С мужем? Вы помните меня? Был когда-то влюблен, — вы знали это, правда?

Глаза его маслились. Ни на один вопрос он, очевидно, не ждал ответа. Он был все тот же, — с ознобцем возбуждения, лишь одряблела нездоровая кожа и волосы поредели на темени, — на тощем, длинном лице самым значительным казался кривоватый, широкий внизу нос...

— А я столько пережил за эти года... Фантастика!.. В Москве недавно... Надо завоевывать, завоевывать... Я в группе имажинистов: Сережка Есенин, Мариенгоф, Маяковский... Ломаем... Вы проходили мимо Страстного? Видели на стене аршинные буквы? Это мировая дерзость... Даже большевики растерялись... Мы с Мариенгофом всю ночь сегодня работали... Богородицу и Иисуса Христа разделили под такой орех... Такая, знаете, космическая похабщина, — на рассвете две старушонки прочли, и из обеих сразу дух вон... Дарья Дмитриевна, я, кроме того, в анархической группе «Черный Коршун»... Мы вас привлечем... Нет, нет и разговору не может быть... У нас шефом знаете кто? Знаменитый Мамонт Дальский... Гений... Кин... Великий дерзатель... Еще какие-нибудь две недели и вся Москва в наших руках... Вот начнется эпоха! Москва под черным знаменем! Победу мы задумали отпраздновать знаете как? Объявим всеобщий карнавал... Винные склады — на улицу, на площадях — военные оркестры... Полтора миллиона ряженных! Никакого сомнения, — половина — явятся голые... И вместо фейерверка — взорвем на Лосином острове артиллерийские склады. В мировой истории ничего подобного еще не было...

За последние дни это была уже третья политическая система, с которой знакомилась Даша. Сейчас она просто испугалась. Даже забыла про голод. Довольный произведенным впечатлением, Жиров пустился в подробности:

— Разве вас не рвет кровью при виде пошлости современного города? Мой друг, Мишка Кочергин, гениальный художник, составил план полного изменения лица города... Сломать и заново построить — мы не успеем к карнавалу... Кое-что решено взорвать, конечно, — Исторический музей, Кремль, Сухареву башню, дом Перцева... Вдоль улиц ставим во всю вышину домов досчатые щиты и расписываем их архи-

тектурными сюжетами новейшего, небывалого стиля... Деревья, — натуральная листва недопустима, — деревья мы окрашиваем при помощи дувльверизаторов в различные цвета... Представляете — черные липы Пречистенского бульвара, оранжевый Тверской бульвар... Жуть! Решено также всенародное кощунство над Пушкиным... Дарья Дмитриевна, а вспоминаете — «Великолепные кощунства» и «борьбу с бытом» на квартире Телегина? А ведь над нами тогда издевались.

Знобась от смешка, он вспомнил прошлое: Петербург, литературные вечера, ближе подсунулся к Даше и уже несколько раз, жестикулируя, задел ее едва выпуклую грудь...

— А вы помните Елизавету Киевну, — с бараньими глазами? Еще до одури была влюблена в вашего жениха и сошлась с Бессоновым... Она тоже в Москве... Ее муж — виднейший анархист, боевик, Жадов... Его Махно зовет на юг... Мы не пускаем... Он да Мамонт Дальский — главные наши козыри... Слушайте, и Антошка Арнольдов здесь. При Временном правительстве ворочал всей прессой, два собственных автомобиля... Жил с аристократками... Одна у него была — венгерка из «Вилла Родэ», — такой чудовищной красоты, — он даже спал с револьвером около нее... Ездил в Париж, — в прошлом июле, чуть-чуть его не назначили послом... Осел! Не успел перевести валюту за границу, теперь голодает, как сукин сын... Да, Дарья Дмитриевна, нужно итти в ногу с новой эпохой... Антошка Арнольдов погиб потому, что завел шикарную квартиру на Кирочной, золоченую мебель, кофейники, сто пар ботинок, подружился с Митькой Рубинштейном... Жечь, ломать, рвать в клочки все предрассудки... Абсолютная, звериная, девственная свобода, — вот! Другого такого времени не случится... И мы осуществим великий опыт... Все, кто тянется к мещанскому благополучию, — погибнут... Мы их раздавим... Человек, это — ничем не ограниченное желание... (Он понизил голос, придвинувшись к Дашиному уху.) Большевики — дерьмо... Они только неделю были хороши, в октябре... И сразу потянули на государственность. Россия всегда была анархической страной, русский мужик — природный анархист... Большевики хотят превратить Россию в фабрику, — чушь! Не удастся... У нас — Махно... Перед ним Петр Великий — щенок... Махно, на юге, Мамонт Дальский и Жадов в Москве... С двух концов зажжем свечку... Сегодня ночью я вас сведу кое-куда, — сами увидите — какой размах!.. Согласны? Идем?

Вот уже несколько минут, как за соседний столик сел бледный молодой человек с острой бородкой. Через пенснэ, пристально из-за газеты, он глядел на Дашу. Оглушенная горячечной фантазией Жирова, она не пыталась протестовать: в табачных облаках, казалось ей, рождались, как молнии, эти сверхъестественные замыслы, плавали странные лица с закушенными папиросками и расширенными зрачками... Что она могла возразить? Пропищала бы жалобно о том, что ее сердчишко трепещет перед этими опытами, и, конечно, в грохоте дьявольского хохота, улюлюканья, гоготанья — потонул бы ее комариный писк.

Глаза человека с острой бородкой все настойчивее ощупывали ее. Она увидела в его пунцовом галстухе маленький металлический череп, какие продают в Берлине на Фридрихштрассе, догадалась, что это тот, с кем ей нужно встретиться, приподнялась было, но он коротко мотнул головой, приказывая сидеть на месте. Даша наморщилась, соображая. Он показал глазами на Жирова. Она поняла и попросила Жирова принести ей поесть. Тогда человек с бородкой подошел к ее столу и сказал, не разжимая губ:

— С богом, в добрый путь.

Даша раскрыла сумочку и показала половинку треугольника. Он приложил ее к другой половинке, разорвал их в мелкие клочки.

— Откуда вы знаете Жирова? — спросил он быстро.

— Давно, по Петербургу.

— Это нас устраивает. Нужно, чтобы вас считали из их компании. Соглашайтесь на все, что он предложит. А завтра, запомните, — в это время вы придете к памятнику Гоголя на Пречистенский бульвар. Где вы ночуете?

— Не знаю.

— Эту ночь проводите, где угодно... Ступайте с Жирофым... Они, кажется, устраивают кутеж в Метрополе.

— Я ужасно устала. — У Даши глаза наполнились слезами, задрожали руки, но, взглянув ему в недоброе лицо, на страшенькую булавочку, она покорно опустила голову.

— Помните — абсолютная конспирация. Если проговоритесь, хотя бы нечаянно, — время боевое, — вас придется у б р а т ь... .

Он подчеркнул это слово. Даша поджала пальцы на ногах. К столу проталкивался Жиров с двумя тарелками. Человек с булавочкой подошел к нему, кривя улыбкой тонкий рот, и Даша услышала, как он сказал:

— Хорошенькая девчонка. Кто такая?

— Ну, это ты, впрочем, оставь, Юрка, не для тебя приготовлена. — Улыбаясь, не то грозясь, Жиров показал ему вдогонку осколки зубов и поставил перед Дашей черный хлеб, сосиски и стакан с коричневой бурдой. — Так, как же, сегодня вечером вы свободны?

— Все равно, — ответила Даша, с мучительным наслаждением откусывая сосиску.

Жиров предложил пойти к нему в номер гостиницы «Люкс» — наискосок через улицу: «Поспите, помоеетесь, а часов в десять я за вами приду». Он суетился и хлопотал, все еще по старым воспоминаниям несколько робея Даши. Постель у него в комнате, — с парчевыми занавесями и розовым ковром, — была настолько подозрительная, что он и сам это понял, — предложил Даше устроиться на диване, — убрав газеты, рукописи, книги, постелил вместо простыни черный ильковый мех, выпоротый из чьей-то дорогой шубы, хихикнул и ушел. Даша разулась. Поясницу, ноги, все тело ломило. Легла и сейчас же

уснула, пригретая глубоким мехом, слабо пахнувшим духами, зверем и нафталином. Она не слышала, как входил Жиров, и, наклонившись, разглядывал ее, как в дверях пробасил рослый, бритый человек, похожий на римлянина: «Ну, что же, своди ее туда, я дам записку»...

Был уже глубокий вечер, когда она, вздохнув, проснулась. Желтоватый месяц над крышей дома ломался в неровном стекле окна. Под дверью лежала полоска электрического света. Даша вспомнила, наконец, где она, быстро натянула чулки, поправила волосы и платье и пошла к умывальнику. Полотенце было такое грязное, что Даша подумала, наклонив голову, растопырив пальцы, с которых капала вода, и вытерлась подолом юбки с изнанки.

Ее охватила острая тоска от всего этого бездолья, отвращением стиснуло горло: — убежать отсюда, домой, к своему незаплеванному креслу, к чистому окну с ласточками... Повернула голову, взглянула на месяц, — мертвый, изломанный, страшный серп над Москвой. Нет, нет... Возврата нет, — умирать в одиночестве у окна, над пустым Каменноостровским, слушать, как заколачивают дома... Нет... Пусть будет, что будет...

В дверь постучались, на цыпочках вошел Жиров:

— Достал ордер, Дарья Дмитриевна, идемте.

Даша не спросила, какой ордер и куда нужно идти, — надвинула самодельную шапочку, прижала к боку сумочку с двумя тысячами. Вышли. Одна сторона Тверской была в лунном свете. Фонари не горели. По пустой улице медленно прошел патруль, — дугой полетел огонек папиросы.

Жиров свернул на Страстной бульвар. Здесь так же лежали лунные пятна на неровной земле. В непроглядную темноту под липы страшно было смотреть. Впереди в эту тень как-будто шархнул человек. Жиров остановился, в руке у него был револьвер.

Постояв, он негромко свистнул. Оттуда ответили. «Полундра», — сказал он громче. — «Проходи, товарищ», — ответил лениво отчетливый голос.

Они свернули на Малую Дмитровку. Здесь, навстречу им, быстро перешли улицу двое в кожаных куртках. Оглянув, молча пропустили. У подезда Купеческого клуба, где со второго этажа над входом свешивалось черное знамя, — выступили из-за колонн четверо, направили револьверы. Даша споткнулась, слабо вскрикнула. Жиров сказал сердито:

— Ну вас к чорту, в самом деле, товарищи, чего зря пугаете?.. У меня ордер от Мамонта...

— Покажи.

При лунном свете четверо боевиков, спрятавших безбородые щеки в поднятые воротники и глаза — под козырьки кепок, осмотрели ордер. Переглянулись. Лицо Жирова, как неживое, застыло, растянутое улыбкой. Один из четверых спросил грубо:

— А для кого это?

— Вот для товарища, — Жиров схватил Дашину руку, — она артистка, из Петрограда... Необходимо одеть... Вступает в нашу группу...

— Ладно. Заходи...

Даша и Жиров вошли в тускло освещенный вестибюль с пулеметом на лестнице. Появился комендант, низенький, с надутыми щеками студент в форменной куртке и в феске. Он долго вертел и читал ордер, ворчливо спросил Дашу:

— Что из вещей нужно?

Ответил Жиров:

— Мамонт приказал — с ног до головы, самое лучшее...

— То-есть как — приказал Мамонт?.. Пора бы знать, товарищ, — здесь не приказывают... Здесь не лавочка... (У коменданта в это время зачесалось на ляшке, он ужасно сморщился, почесал.) Ладно, идемте.

Он вынул ключи и пошел впереди в бывшую гардеробную, где сейчас находились кладовые Дома Анархии.

— Дарья Дмитриевна, выбирайте, не стесняйтесь, это все принадлежит народу...

Жиров широким размахом указал на вешалки, где рядами висели собольи, горностаевые, чернобурые палантины, шеншелевые, обезьяньи, котиковые шубки. Они лежали на столах и просто кучами на полу. В раскрытых чемоданах навалены платье, белье, коробки с обувью. Казалось, сюда были вывезены целые склады роскоши. Комендант, равнодушный к этому изобилию, сосредоточенно занялся своим носом.

— Дарья Дмитриевна, берите все, что понравится, я захвачу, пройдем наверх, там переоденетесь.

Что ни говори о Дашиных сложных переживаниях, прежде всего она была женщиной. У нее порозовели щеки, разбежались глаза. Неделю тому назад, когда она увядала, как ландыш, у окна в пустынное бледное небо, и казалось, что жизнь кончена и ждать нечего, — ее не прельстили бы никакие сокровища, даже — обещай ей любовь. Теперь все вокруг сдвинулось, всюду раскрылись щели, подул сквозняк. То, что она считала в себе оконченным и неподвижным, пришло в движение. Наступило то удивительное и редкое состояние, когда желания, проснувшиеся надежды устремляются в будущее, в тревожный дикий туман завтрашнего дня, а настоящее — все в развалинах, как дом, из которого только что выскочили во время землетрясения.

Она не узнавала своего голоса, изумлялась своим ответам, поступкам, спокойствию, с каким принимала закрутившуюся вокруг нее фантастику. Каким-то, до сих пор дремавшим, инстинктом самосохранения почувствовала, что сейчас нужно, распустив паруса, лететь с выброшенным за борт грузом, так, чтобы ничто не волочилось позади, в прошлом...

Она протянула руку к седому собольему палантину:

— Пожалуйста, вот этот.

Жиров взглянул на коменданта, тот тряхнул щеками. Жиров снял палантин, перекинул через плечо. Даша наклонилась над раскрытым кофром, — на секундочку стало противно это — чужое, запустила по локоть руку, вытащила стопочку белья.

— Дарья Дмитриевна, а туфельки? Берите уж и башмаки для дождя. Вечерние туалеты в том гардеробе. Товарищ комендант, дай ключик... Для артистки, понимаешь, туалет — орудие производства.

— Наплевать, берите чего хотите, — сказал комендант.

Даша и за ней Жиров с вещами поднялись во второй этаж, в небольшую комнату, где было зеркало, пробитое пулей. Среди паутины трещин в туманном зеркале Даша увидела какую-то другую женщину, медленно натягивающую шелковые чулки. Вот она опустила на себя тончайшую рубашку, надела белье в кружевах. Переступая туфельками, отбросила в сторону штопанное и грязное. Накинула на голые худые плечи седой мех... Ты кто же, душа моя? Кокоточка? Налетчица? Воровка?... Но до чего хороша... Так, значит, — все впереди?.. Ну, что ж, — потом как-нибудь разберемся...

Большой зал ресторана в Метрополе, поврежденный октябрьской бомбардировкой, уже не работал, но в кабинетах еще подавали еду и вино, так как часть гостиницы была занята иностранцами, большей частью немцами, и теми из отчаянных дельцов, кто сумел добыть себе иностранный — литовский, польский, персидский — паспорт. В кабинетах кутили, как во Флоренции во время чумы. По знакомству, с черного хода, пускали туда и коренных москвичей, преимущественно актеров, уверенных, что московские театры не дотянут и до конца сезона, и театрам и актерам — бесповоротная гибель. Пили, не щадя живота.

Душой этих ночных кутежей был Мамонт Дальский, драматический актер, трагик, чье имя в недавнем прошлом гремело не менее звучно, чем Росси. Это был человек неистового темперамента, красавец, игрок, — расчетливый безумец, опасный, величественный, хитрый и порочный. За последние годы он играл редко, только на гастролях. Его встречали в игорных домах в столицах, на юге, в Сибири. Рассказывали о его чудовищных проигрышах. Он был озлоблен и начинал стареть. Говорил, что бросил сцену. Действительно, во время войны он участвовал в темных комбинациях с поставками. Когда началась революция, — он появился в Москве. Он почувствовал гигантскую трагическую сцену, и захотел сыграть главную роль, что-нибудь в роде «Братьев-разбойников». Со всей убедительностью гениального актера он заговорил о священной анархии и абсолютной свободе, об условности моральных принципов и праве каждого на все. Он сеял по Москве горячее возбуждение в умах. Когда отдельные группы молодежи, усиленные уголовными личностями, начали реквизировать особняки, —

он объединил эти разрозненные группы анархистов, силой захватил Купеческий клуб и объявил его Домом Анархии. Советскую власть он поставил перед совершившимся фактом. Он еще не объявлял войны советской власти, но, несомненно, его фантазия устремлялась дальше кладовых Купеческого клуба и ночных кутежей, когда во дворе Дома, стоя в окне, он говорил перед народом, и вслед за его античным жестом вниз во двор, в толпу летели штаны, сапоги, куски материи, бутылки с коньяком.

Этого человека, — мрачное, точно вылитое из бронзы лицо, на котором страсти и шумно прожитая жизнь, как великий скульптор, отчеканили складки, морщины, мешки под нижними веками, решительные линии рта, подбородка и шеи, схваченной мягким грязным воротничком, — Даша увидела первого, когда вошла вместе с Жировым в кабинет.

Крышка рояля была поднята. Щуплый, бритый человечек в бархатной куртке, закинув голову, закусив папиросу, занавесив ресницами масляные глаза, брал погребальные аккорды. За столом среди множества пустых бутылок сидело несколько мировых знаменитостей. Один из них, курносый, подперев ладонью характерный подбородок, отчего мягкое лицо его сплющилось, пел тенорком за священника. Остальные, — резонер с кувшинным лицом, мрачный, с отвисшей губой комик, герой, не бритый третьи сутки и с обострившимся носом, любовник, пьяный до мучения, великий премьер с пылающим челом, глубоко врезавшимся морщинами и на вид совершенно трезвый, — вступали, когда нужно, хором.

Архидьякон от Христа Спасителя, сидящий красавец в золотых, полтора фунта весом, очках, поднесенных ему московским купечеством, похаживал по ковру, помахивая рукавом подрясника, и подавал возгласы. От зверино бархатного баса его дребезжал хрусталь на столе. Кабинет был затянут темно-красным шелком, с парчевыми портьерами и трехстворчатыми ширмочками у входной двери.

Облокотясь об эти ширмы, стоял Мамонт Дальский. В руке он держал колоду карт. На нем был полувоенный костюм, — английский френч, клетчатые с кожей на заду галифе и черные сапоги. Когда Даша вошла, он злобно усмехался, слушая панихиду.

— С ума сойти — какой красоты женщина пришла, — проговорил человек у рояля. Даша заробела. Остановилась. Все поглядели на нее, кроме Дальского. Архидьякон сказал:

— Чисто русская красота...

— Желанная, идите к нам, — бархатно сказал премьер.

Жиров зашептал: «Садитесь же, садитесь!» Даша села к столу. У нее стали целовать руку, с подходами и торжественными поклонами, как у Марии Стюарт. После этого пение продолжалось. Жиров подкладывал икорки, закусок, заставил выпить чего-то сладкого, обжигающего. Было душно, дымно. После обжигающего напитка Даша сбросила мех, положила голые руки на стол. Ее волновали эти мрач-

ные аккорды, древние слова пения. Она, не отрываясь, глядела на Мамонта. Только что по дороге Жиров рассказывал о нем. Он продолжал стоять в стороне у ширмы и был не то взбешен, не то пьян до потери сознания.

— Так что же, господа, — сказал он басом, наполнившим комнату, — никто не хочет?..

— Никто, никто не хочет с тобой играть, и так нам весело, и отстань, успокойся, — скороговоркой тенорком проговорил тот, у кого было сплющено лицо. — Ну-ка, Яшка, подмахни глас седьмой.

Яша у рояля, совсем закинув голову, зажмурясь, положил пальцы на клавиши. Мамонт сказал:

— Не на деньги... Плевал я на ваши деньги...

— Все равно, не хотим, не подыгрывайся, Мамонт.

— Я хочу играть на выстрел...

После этого с минутку все молчали. Герой с обострившимся носом провел ладонью по лбу и волосам, поднялся, стал застегивать жилетку:

— Я играю на выстрел.

Комик молча схватил его, навалился восемью пудами, усадил на место.

— Я ставлю мою жизнь, — закричал герой, — у подлеца Мамонта крапленые карты... Наплевать, пусть мечет... Пустите меня...

Но он уже обессилел. Резонер с расширяющимся книзу лицом сказал мягко:

— Ну, вот, и вина нет ни капли. Мамонт, это же свинство, голубчик.

Тогда Мамонт Дальский бросил на телефонный столик колоду карт и большой автоматический пистолет. Чеканно крупное лицо его побледнело от бешенства:

— Отсюда никто не уйдет, — произнес он по буквам. — Мы будем играть, как я хочу... Эти карты не крапленые. — Он сильно потянул воздух широкими ноздрями, нижняя губа его выпятилась. Все поняли, что настала опасная минута. Он оглянул лица сидящих за столом. Яша у рояля одним пальцем заиграл «чижика». Вдруг черные брови у Мамонта поднялись, в темных глазах мелькнуло изумление. Он увидел Дашу. У нее поспешно стало холодеть сердце под этим взглядом. Не шатаясь, он подошел к ней, взял кончики ее пальцев и поднес к запекшимся губам, но не поцеловал, только коснулся:

— Говорите — нет вина... Вино будет...

Он позвонил, продолжая глядеть на Дашу. Вошел татарин-лакей. Развел руками:

— Ни одной бутылки, все выпито, погреб заперт, управляющий ушел.

Тогда Мамонт сказал:

— Ступай! — И пошел, как под взглядом тысячи зрителей, к телефону, вызвал номер:

— Да... Я... Дальский... Послать наряд, Метрополь... Я здесь... Экстренно... Да... Четырех довольно...

Он медленно положил трубку, прислонился во весь рост к стене и сложил на груди руки. Прошло не больше пятнадцати минут. Яша у рояля тихо наигрывал Скрябина. Закружилась голова от этих знакомых звуков, летевших из прошлого. Время исчезало. Серебряная парча на груди Даши поднималась и опускалась, кровь прилиwała к ушам. Жиров что-то шептал, она не слушала.

Она была взволнована, чувствовала счастье освобождения, легкость юности. Казалось ей, — она летела, как оторвавшийся от детской колясочки воздушный шар, — все выше, все головокружительней...

Премьер погладил ее голую руку, пробархатил отечески:

— Не смотрите так нежно на него, моя голубка, ослепнут глазки... В Мамонте, несомненно, что-то сатанинское...

Тогда, неожиданно, раскинулись половинки входной двери и за ширмами появились четыре головы в кепках, четыре поднятые кожаные рукава, четыре кулака, сжимавшие ручные гранаты. Четыре анархиста крикнули угрожающе:

— Ни с места! Руки вверх!

— Отставить, все в порядке, — спокойно пробасил Дальский. — Спасибо, товарищи. — Он подошел к ним и, перегнувшись через ширмы, что-то стал объяснять вполголоса. Они кивнули кепками и ушли. Через минуту послышались отдаленные голоса, заглушенный крик. Глухой удар взрыва слегка потряс стены. Мамонт сказал:

— Сволочи, не могут без эффектов. — Он позвонил. Мгновенно вскочил в кабинет бледный лакей, зубы у него стучали. — Убери все, поставь чистое для вина, — приказал Мамонт. — Яшка, перестань мучить мои нервы, играй бравурное.

Действительно, не успели накрыть чистую скатерть, как анархисты снова появились с охалками бутылок. Положив на ковер коньяки, виски, ликеры, шампанское, — они так же молча скрылись. За столом раздались восклицания изумления и восторга. Мамонт объяснил:

— Я приказал произвести в номерах выемку только пятидесяти процентов спиртного. Половина оставлена владельцам. Ваша совесть может быть покойна, все в порядке.

Яша у рояля грянул туш. Полетели шампанские пробки. Мамонт сел рядом с Дашей. Освещенное надстольной лампой, его лицо казалось еще более скульптурно значительным. Он спросил:

— Сегодня в Люксе я вас видел, вы спали... Кто вы такая?

Смеясь от головокружения, она ответила:

— Никто... Воздушный шарик...

Он положил ей большую, горячую руку на голое плечо, стал глядеть в глаза. Даше было хоть бы что, — только тепло прохладному плечу под тяжестью руки. Она подняла за тоненькую ножку бокал с шампанским и выпила до дна.

— Ничья? — спросил он.

— Ничья.

Тогда он медленно повернулся к Жирову, притянул его за отвороты куртки, вывернув губы, проговорил: «Исчезни»,—и Жиров медленно исчез в темной глубине кабинета. Мамонт с трагическим напевом заговорил над Дашиным ухом:

— Живи, дитя мое, живи всеми силами души... Твое счастье, что ты встретила меня... Не бойся, я не обезобразю любовью твою юность... Любовь — рабство. Свободные не любят и не требуют любви... Отелло — это средневековый костер, инквизиция, дьявольская гримаса на человека... Ромео и Юлия... О, я знаю — ты тайно вздыхаешь по ним... Это старый хлам. Мы ломаем сверху донизу все... Мы сожжем все книги, разрушим музеи... Нужно, чтобы человек забыл прошлое... Тогда он будет свободен: — священная анархия... Великий фейерверк страстей... Нет! Любви, покоя не жди, красавица... Я освобожу тебя... Я разорву на тебе цепи невинности... Я дам тебе все, что ты придумаешь между двумя об'ятями... Проси... Сейчас проси... Быть может, завтра я тебя забуду... Но в эту ночь мы будем уничтожать друг друга, как зверь и зверь...

Сквозь этот бред слов Даша всей кожей чувствовала рядом с собой тяжелую закипающую страсть. Ее охватил ужас, как во сне, когда не в силах пошевелиться, а из тьмы сновидения надвигаются раскаленные глаза чудовища. Опрокинет, сомнет, растопчет... Еще страшнее было то, что в ней самой, навстречу, поднимались незнакомые, жгучие, душасщие желанья... Ощущала всю себя именно женщиной... Должно быть, она была так взволнована и хороша в эту минуту, что премьер потянулся к ней, чокаясь, проговорил с завистью:

— Мамонт, ты мучаешь ребенка...

Как от выстрела в упор, Дальский вскочил, ударил кулаком по столу, — подпрыгнули, повалились бокалы...

— Застрелю!.. Коснись этой женщины!..

Он устремился к телефонному столику, где лежал револьвер. Роняя стулья, вскочили все, сидевшие за столом. Яша кинулся под рояль. Тогда, сама не понимая как, Даша повисла у Мамонта на руке, сжимавшей револьвер. Она молила глазами. Он охватил ниже лопаток ее хрупкую спину, приподнял и прижался ко рту, касаясь зубами зубов. Даша застонала. В это время зазвонил телефон. Мамонт опустил Дашу в кресло (она закрыла глаза рукой), сорвал телефонную трубку:

— Да... Что нужно? Я занят... Ага... Где? На Мясницкой? Ковры? Хлам!.. Нет? Через десять минут я буду...

Он сунул револьвер в задний карман, подошел к Даше, взял в руки ее лицо, несколько раз жадно поцеловал и вышел, сделав прощальный жест рукой, как римляне.

Остаток ночи Даша провела в Люксе. Заснула, как мертвая, не сняв платья из серебряной парчи. (Жиров из страха перед Мамонтом спал в ванной.) Затем до середины дня сидела у окна, пригорюнясь. С Жировым не разговаривала, на вопросы не отвечала. Около четырех часов ушла, и до пяти ждала на Пречистенском бульваре на площадке, где под носатым Гоголем тихо возились худенькие пролетарские дети, — строили из пыли и песку пирожки и калачики.

На Даше снова было ее старенькое платье и домодельная шапочка. Солнце грело в спину, солнце стояло над бедной жизнью. У детей были маленькие от голода, старенькие личики. Кругом — тишина и пустота. Ни стука колес, ни громких голосов. Все колеса укатились на войну, а прохожие помалкивали. Гоголь в гранитном кресле сутулился под тяжестью шинели, загаженной воробьями. Не замечая Даши, прошли двое с бородами, — один глядел в землю, другой на деревья. Долетел обрывок разговора:

— Полный разгром... Ужасно... Что теперь делать?

— Однако Самара взята, Уфа взята...

— Ничему теперь не верю... Этой зимы не переживем...

— Однако Деникин расправляется на Дону...

— Не верю, ничто теперь не спасет... Погиб Вавилон, погиб Рим, и мы погибнем... Да, была Россия...

— Однако Савинков не арестован, Чернов не арестован...

— Ерунда все это...

Та же, что и вчера, прошла седая дама, робко показала из-под шали собрание сочинений Розанова. Даша отвернулась. К ее скамейке бочком подбегал молодой человек с булавкой-черепом. Быстро осмотревшись, поправил пенснэ, подсел к Даше:

— Ночь провели в Метрополе?

Даша опустила голову, одними губами ответила, — да.

— Отлично. Я вам устроил комнату. Вечером переедете. Жирову — ни полслова. Теперь — о деле: вы знаете в лицо Ленина?

— Нет.

Он вынул несколько фотографических карточек и сунул их в Дашину сумку. Посидел, захватывая и покусывая волоски бородки. Взял Дашины руки, безжизненно лежавшие на коленях, встряхнул:

— Дело обстоит так... Большевизм, это — Ленин, — вы понимаете? Мы можем разгромить Красную армию, но, куда в Кремле — Ленин, — победы нет... Понятно? Этот теоретик, эта волевая сила — величайшая опасность для всего мира, не только для нас... Подумайте и ответьте мне твердо: согласны вы, или нет...

— Убить? — глядя на голопузого, переваливающегося на кривых ножках ребенка, спросила Даша. Молодой человек передернулся, поглядывая направо, налево, прищурился на детей и опять укусил волоски.

— Никто об этом не говорит... Если вы думаете, то не кричите вслух... Вы взяты нами в контрразведку... Разве вы не поняли, о чем говорил Савинков?

— Он со мной не говорил... (Молодой человек усмехнулся.) Ах, значит, тот с платком и был...

— Тише... С вами говорил Борис Викторович... Вам оказано страшное доверие... Нам нужны свежие люди. Были большие аресты. Вам известно, конечно, — план мобилизации в Казани провален... Работа центра переносится в другое место... Но здесь мы оставляем контрразведку... Ваша задача — следить за выступлениями Ленина, посещать митинги, бывать на заводах... Работать вы будете не одна... Вас будут извещать о его поездках из Кремля и предполагаемых выступлениях... Если завяжете знакомства с коммунистами, — проситесь в партию, это будет самое лучшее. Следите за газетами и читайте литературу... Дальнейшие инструкции получите завтра утром здесь же...

Затем он дал ей адрес явки, пароль и передал ключ от комнаты. Он ушел в направлении Арбатских ворот. Даша вынула из сумки фотографию и долго рассматривала ее. Когда, вместо этого лица, она стала видеть другое, выплывшее из-за малиновых портьер минувшей ночи, — она резко захлопнула сумочку и тоже ушла, нахмуренная, с поджатыми губами. Мальчик на кривых ножках засеменял было за ней, но сел на голое дряблое тельце и заплакал...

Дашина комната оказалась на Сивцевом Вражке в ветхом особнячке, во дворе. Видимо, дом был покинут. Даша едва достучалась на черном ходу, — ее встретила грязная низенькая старуха с вывороченными веками, с виду — прижившаяся при доме нянька. Она долго ничего не понимала. Впустив, наконец, проводив Дашу до ее комнаты, принялась непонятно рассказывать про семейную беду: «Разлетелись ясны соколы, и Юрий Юрич, и Михал Юрич, и Василий Юрич, а Васеньке на Фоминой только шестнадцатый годок пошел... Уж живы ли? Каждый день за упокой души поминаю, чтобы написали»...

Даша отказалась от чая, разделась, влезла под ватное одеяло и в темноте заплакала в три ручья, зажимая рот подушкой...

Наутро, у памятника Гоголя, она получила инструкции и приказ — завтра быть на заводе. Думала — вернуться домой, но передумала — пошла в кафе «Бом». Там затоптался около нее Жиров, спрашивал, — куда она исчезла, почему ушла без вещей? «Жду от Мамонта телефонограммы, что ему ответить про вас?»... Даша отвернулась, чтобы он не увидел запыхавших щек... Сам чувствую, что жлет, подумала: «В конце концов,—инструкция такова, что нужно продолжать с ними знакомство»...

— За вещами зайду, — сказала она сердито, — а там увидим...

С пакетом, где лежал драгоценный палантин, белье и вчерашнее платье, она вернулась домой. Когда развернула вещи, бросила на кровать, взглянула, — ее охватила такая дрожь, — зуб не попадал

на зуб, плечи снова почувствовали тяжесть его руки и зубы—холод его зубов... Даша опустилась перед кроватью и спрятала лицо в пахучий мех. «Что же это такое, что же это такое?» — бессмысленно повторяла она...

Наутро она оделась, как советовали, в темное ситцевое платьишко, повязала платок по-пролетарски (она должна была выдавать себя за бывшую горничную из богатого дома, изнасилованную барином) и на трамвае поехала в Замоскворечье на завод Гужона.

У нее не было пропуска. Старик-сторож у ворот подмигнул ей: «Что, девка, на митинг? Ступай в главный корпус». По гнилым мосткам она пошла мимо свалок ржавого железа и шлака, мимо выщербленных огромных окон, затянутых паутиной. Всюду было пусто, в безоблачное небо тихо дымили высокие трубы.

Ей указали на замызанную дверцу в стене. Даша вошла в длинную кирпичную залу. Мрачный свет проникал сюда сквозь закопченную стеклянную крышу. Все было голо и обнажено. Высоко с воздушных мостиков свешивались цепи подъемных кранов. Ниже—тянулись валы трансмиссий, неподвижно на их шкивах висели приводные ремни. Непривычный глаз изумляли черные станины, то приземистые, то вытянутые, то раскоряченные очертания строгальных, токарных, фрезерных, долбежных станков, чугунные диски фрикционов. Сбоку, за широкой аркой, в темноте, освещенная только углями горна, вырисовывалась подбочененная, безголовая громада тысячепудового гидравлического молота.

Здесь строили машины и механизмы, которые там, за мрачными стенами завода, наполняли жизнь светом, теплом, движением, разумностью, роскошью. Здесь пахло железными стружками, машинным маслом, землей и махоркой. Множество людей стояло перед досчатой трибуной, многие сидели на станинах станков, на высоких подоконниках.

Она пробралась поближе к трибуне. Рослый парень, оглянувшись на Дашу, открыл широкой улыбкой зубы, — белые на замазанном лице, — кивнул на верстак, протянул руку. Даша встала на верстаке под окном. Кругом — несколько тысяч голов, — лица нахмурены, лбы наморщены, рты сжаты. Каждый день на улицах, в трамваях она видела эти лица, — обыкновенные, русские, утомленные, с нездоровой кожей, с недобрим, не пускающим в себя взглядом. Однажды, — это было еще до войны, — во время воскресной прогулки по островам два помощника присяжных поверенных, сопровождавших Дашу, завели разговор именно об этих лицах. «Возьмите парижскую толпу, Дарья Дмитриевна, — она весела, она добродушна, пенится радостью... А у нас, — каждый смотрит волком. Вон идут двое—рабочие, хотите я пойду, скажу шутку... Обидятся, не поймут... Нелепый, тяжелый русский народ... Даша с испугом вспомнила разговор на островах, — не хватало еще тогда проделать опыт с шуткой... И говорил не кто иной, как

Никанор Юрьевич Куличек... Теперь эти — не любящие шуток — стоят, взволнованные, мрачные, сосредоточенно решительные. Это — те же лица, но потемневшие от голода, те же глаза, но взгляд — зажженный, нетерпеливый, непрощающий...

Даша забыла, зачем пришла. Впечатления жизни, куда она кинулась из пустынного окна на улице Красных Зорь, захватывали ее, как птицу буря. Она с нетронутой искренностью вся отдавалась этим новым впечатлениям. В мозгу ее шла отчаянная работа, — смятение и разноречивые страсти. Она совсем не была глупенькой женщиной, но так же, как многие, предоставлена самой себе, одному своему крошечному опыту, душевно заброшена. В ней была неистовая жажда правды, личной правды, женской правды, человеческой правды, абсолютной правды.

Докладчик говорил о положении на фронтах. Утешительного было мало. Хлебная блокада усиливалась: чехо-словаки отрезывали сибирский хлеб, атаман Краснов — донской. Немцы беспощадно расправлялись с украинскими партизанами. Английский флот грозил Кронштадту и Архангельску. «Но, все же, революция должна победить!» Докладчик бросил лозунги, — вколотил их кулаком в пространство и, захватив портфель, сбежал с трибуны. Ему похлопали, но вяло, — дела оборачивались так, что не захопаешь. Понурились головы, прикрылись бровями глаза.

Зубастый парень, — Даша встретилась с ним глазами, — опять весело ей оскалился:

— Вот, девка, беда-то, как мышей, нас хотят заморить... Что ты будешь делать!

— А ты испугался? — сказала Даша.

— Это я-то? Ужас, до чего испугался. Мы, владимирские, страсть какие робкие, — жука увидим — бежать... (На него сердито зашикали: «Тише ты, дьявол...») А тебя как зовут-то?

Даша посмотрела на него, — до пупка раскрыта на мускулистой груди холщевая рубаха, бычья шея, веселая гелова, улыбка, потные кудри, лютые до баб круглые глаза, весь — чумазий...

— Хо-орош, — сказала Даша, — чего ты скалишься?..

— Мамка с лавки уронила, с тех пор скалюсь. А ты вот что, послезавтра поедем с нами на фронт. Вот посмеемся дорогой. Ладно? Все равно тебе здесь пропадать в Москве... С владимирскими, с гармоньей, девка...

Слова его заглушил шум аплодисментов. На трибуне стоял новый оратор, — небольшого роста плотный человек в сером пиджаке, в измятом поперечными складками жилете. Нагнув лысый бугристый череп, он разбирал бумажки. Он сказал тусклым, слегка картавящим голосом: «Товарищи!» — и Даша увидела его лицо, озабоченное и угрюмое, прищурившиеся, как на солнце, глаза... Руки его опирались о стол, о листки записок. Когда он сказал, что темой сегодня будет ве-

Никанор Юрьевич Куличек... Теперь эти — не любящие шуток — стоят, взволнованные, мрачные, сосредоточенно решительные. Это — те же лица, но потемневшие от голода, те же глаза, но взгляд — зажженный, нетерпеливый, непрощающий...

Даша забыла, зачем пришла. Впечатления жизни, куда она кинулась из пустынного окна на улице Красных Зорь, захватывали ее, как птицу буря. Она с нетронутой искренностью вся отдавалась этим новым впечатлениям. В мозгу ее шла отчаянная работа, — смятение и разноречивые страсти. Она совсем не была глупенькой женщиной, но так же, как многие, предоставлена самой себе, одному своему крошечному опыту, душевно заброшена. В ней была неистовая жажда правды, личной правды, женской правды, человеческой правды, абсолютной правды.

Докладчик говорил о положении на фронтах. Утешительного было мало. Хлебная блокада усиливалась: чехо-словаки отрезывали сибирский хлеб, атаман Краснов — донской. Немцы беспощадно расправлялись с украинскими партизанами. Английский флот грозил Кронштадту и Архангельску. «Но, все же, революция должна победить!» Докладчик бросил лозунги, — вколотил их кулаком в пространство и, захватив портфель, сбежал с трибуны. Ему похлопали, но вяло, — дела оборачивались так, что не захопаешь. Понурились головы, прикрылись бровями глаза.

Зубастый парень, — Даша встретила с ним глазами, — опять весело ей оскалился:

— Вот, девка, беда-то, как мышей, нас хотят заморить... Что ты будешь делать!

— А ты испугался? — сказала Даша.

— Это я-то? Ужас, до чего испугался. Мы, владимирские, страсть какие робкие, — жука увидим — бежать... (На него сердито зашикали: «Тише ты, дьявол...») А тебя как зовут-то?

Даша посмотрела на него, — до пупка раскрыта на мускулистой груди холщевая рубаха, бычья шея, веселая голова, улыбка, потные кудри, лютые до баб круглые глаза, весь — чумазый...

— Хо-орош, — сказала Даша, — чего ты скалишься?..

— Мамка с лавки уронила, с тех пор скалюсь. А ты вот что, послезавтра поедем с нами на фронт. Вот посмеемся дорогой. Ладно? Все равно тебе здесь пропадать в Москве... С владимирскими, с гармоньей, девка...

Слова его заглушил шум аплодисментов. На трибуне стоял новый оратор, — небольшого роста плотный человек в сером пиджаке, в измятом поперечными складками жилете. Нагнув лысый бугристый череп, он разбирал бумажки. Он сказал тусклым, слегка картавящим голосом: «Товарищи!» — и Даша увидела его лицо, озабоченное и угрюмое, прищурившиеся, как на солнце, глаза... Руки его опирались о стол, о листки записок. Когда он сказал, что темой сегодня будет ве-

Рука его вылетела из-за жилета, уничтожила кого-то в воздухе и повисла над залом.

— ... Когда рабочие, сбитые с толку спекулянтскими лозунгами, говорят о свободной продаже хлеба, о ввозе грузового транспорта, мы отвечаем, что это значит — пойти на выручку кулакам... На этот путь мы не станем... Мы будем опираться на трудовой элемент, с которым мы одержали октябрьскую победу, будем добиваться своего решения только введением пролетарской дисциплины среди слоев трудового народа. Перед нами историческая задача, мы решим ее...

— ... Самый коренной вопрос жизни — о хлебе — поставили последние декреты. Они все имеют три руководящие идеи. Первая — идея централизации, или объединения всех вместе в одну общую работу под руководством центра... Да, нам указывают, как на каждом шагу рушится хлебная монополия посредством мешочничества и спекуляции. Все чаще приходится слышать от интеллигенций: но ведь мешочники оказывают им услугу, и они все ими кормятся... Да... Но мешочники кормят по-кулацки, они действуют именно так, как нужно действовать, чтобы укрепить, установить, увековечить власть кулаков...

Рука его наискось зачеркнула то, что более никогда уже не будет.

— ... Наш второй лозунг — объединение рабочих. У нас нет полиции, у нас не будет особой военной касты, у нас нет иного аппарата, кроме сознательного объединения рабочих. Они выведут Россию из отчаянного и гигантски трудного положения. Организация рабочих отрядов, организация голодных из неземледельческих голодных уездов, — их мы зовем на помощь, к ним обращается наш комиссарьят продовольствия, им мы говорим: в крестовый поход за хлебом...

С тяжелой яростью обрушились аплодисменты. Даша видела, как он отступил, засунув руки в карманы, поднял плечи. На скулах его горели пятна, веки дрожали, лоб был влажен...

— ... Мы строим диктатуру! Мы строим насилие по отношению к эксплуататорам...

И эти слова потонули в аплодисментах. Он махнул рукой: — перестаньте же... — И в тишине:

— ... Об'единяйтесь, представители бедноты, — вот наш третий лозунг. Перед нами историческая задача, — нам нужно дать самосознание новому историческому классу... Во всем мире отряды рабочих городских, рабочих промышленных об'единились поголовно. Но почти нигде в мире не было еще систематических, беззаветных и самоотверженных попыток об'единить тех, кто по деревням, в мелком земледельческом производстве, в глуши и темноте оуплен всеми условиями жизни. Тут стоит перед нами задача, которая сливается в одну цель не только борьбу с голодом, а борьбу и за весь глубокий и важный строй социализма. Здесь перед нами такой бой, на который стоит отдать

все силы и поставить все на карту, потому что это бой за социализм, потому что это бой за последний строй трудящихся и эксплуатируемых.

Он быстро ладонью вытер лоб:

— ... И недалеко от Москвы, и в губерниях, лежащих рядом, — в Курской, Орловской, Тамбовской, — мы имеем, по расчету осторожных специалистов, еще теперь до десяти миллионов пудов избытка хлеба. Давайте, товарищи, братья за дело с большими усилиями. Только общие усилия, только объединение всех, кто больше всего страдает в голодных городах и уездах, нам помогут, и это — тот путь, на который вас зовет советская власть: объединение рабочих, объединение бедноты, их передовых отрядов для агитации на местах, для войны за хлеб против кулаков...

Он чаще проводил ладонью по лбу, голос его тускнел, он сказал уже все, что хотел. Он взял со стола листок, взглянул, собрал остальные листки:

— Итак, товарищи, если мы все это усвоим, все это сделаем, — тогда победим наверняка...

И вдруг улыбка, добродушная и усталая, осветила его лицо. И всем стало ясно: — свой, свой. Закричали, захлопали, затопали. Он побежал с трибуны, втягивая голову в плечи, насупись. Зубастый парень около Даши ревел бычьей глоткой: «Да здравствует Ильич!»...

Даша могла только сказать: видела и слышала «другое»... Вернувшись с митинга, она сидела на кровати, расширенными глазами глядела на завиток обоев. На подушке лежала записка от Жирова: «Мамонт ждет в одиннадцать, в Метрополе»... На полу у двери валялась другая записка: «Будьте сегодня в 6 у Гоголя»...

Во-первых, это «другое» было, как нечто очень сурово моральное, значит — высшее... Говорилось о хлебе. Раньше она знала, что хлеб можно купить, или выменять, — цена ему известна: пуд муки — две пары штанов без заплаток. Но оказалось, что этот протянутый хлеб Революция гневно отталкивает от себя. Хлеб этот нечистый. Лучше умереть, но этот хлеб не есть. Три тысячи голодных людей отrekliсь сегодня от нечистого хлеба.

Отrekliсь во имя... (Но тут в Дашиной бедной голове все путалось.) Во имя униженных и угнетенных... Ведь так он сказал? Отдать все силы, все поставить на карту, — жизнь — за последний строй трудящихся и эксплуатируемых... Вот почему у них эта трагическая суровость...

Куличек рассказывал, что со всех сторон света готовы протянуться руки помощи, руки с хлебом... Только — уничтожить советский строй... Уничтожить, и — хлеб... Во имя чего? Во имя спасения России. Спасения от кого же? От самих себя... Но они не хотят «так» спастись, — она сама видела...

Бедная, бедная Дашина голова! Поздно ты, Дашенька, занялась политикой... «Постой, — сказала она, — постой»... — Заложилa руки за спину и прошлась, глядя на кончики башмаков...

«Что может быть выше, чем отдать жизнь за униженных и угнетенных?» Остановилась у окна. С крыши сарая на Дашу поглядела ворона, скакнула боком, улетела... «А Куличек говорит, что от большевиков погибает Россия, и все это говорят»... Даша закрыла глаза, силясь представить Россию, как нечто такое, что она должна любить больше самой себя. Вспомнилась картина Серова: две лошади на косогоре, полотнище тучи в закате и растрепанная соломенная крыша... «Нет, это у Серова»... И в закрытые глаза ей весело и дико оскалился давешний зубастый парень. Даша опять прошлась... «Какая же такая Россия? Почему ее рвут в разные стороны? Ну, я — дура, ну, я ничего не понимаю... Ах, боже мой!..» Даша стала шепоткой пальцев стучать себе в грудь. Но и это не помогло... «К Ленину побежать, спросить? Ах, черт, ведь я же сыщица»...

Все эти ужасные противоречия и смятение души привели к тому, что к шести часам Даша нахлобучила на глаза шапченку и пошла к памятнику Гоголя. Человек с булабочкой сейчас же отделился от дерева:

— Опоздали на три минуты... Ну? Были? Слышали Ленина? Расскажите самую суть... Как он приехал, кто его сопровождал, охрана была на трибуне?

Даша помолчала, собираясь с мыслями:

— Скажите, — во имя чего его хотят убить?

— Ага! С чего вы взяли, никто не собирается... Так, так, так... Значит — на вас подействовало? Ну, еще бы... Вот поэтому-то он так и опасен.

— Но он говорит справедливые вещи.

Вытянув шею, с улыбочкой, — тоненькой и влажной, под самые Дашины глаза, — он спросил вкрадчиво:

— Так что же, — не отказаться ли вам, а?

Даша отодвинулась. А у него шея вытягивалась, как резиновая, в самые Дашины зрачки блеснуло солнцем его пенсне. Она прошептала:

— Я ничего не знаю... Я ничего больше не понимаю... Я должна быть убеждена, я должна быть убеждена...

— Ленин — агент германского генерального штаба, — просвистал человек с булабочкой. Затем он потратил около получаса на то, чтобы растолковать Даше про адский план немцев: — они посылают нанятых за огромные деньги большевиков в plombированном вагоне, большевики разрушают армию, дурачат рабочих, уничтожают отечественную промышленность и сельское хозяйство... Через какой-нибудь месяц немцы возьмут Россию голыми руками.

— Сейчас большевики раздувают гражданскую войну, кричат о хлебной блокаде, и вместе с тем расстреливают мешочников, — наших спасителей... Они сознательно организуют голод.. Вы видели, как

сегодня несколько тысяч дураков смотрели в рот Ленину... Хочется кусать себе руки от боли... Он обманывает массы, миллионы, весь народ... В одном плане,—физическом,—он—чудовищный провокатор... В другом... (Он кинулся к Дашиному уху и шепнул одним дуновением.) Антихрист!.. Помните предсказания? Сроки сбываются. Север идет войной на юг. Появляются железные всадники смерти, это — танки... В источники вод падает звезда Полюнь,—это пятиконечная звезда большевиков... И он говорит народу, как Христос, но только все — шиворот-навыворот... Сегодня он и вас пытался соблазнить, но мы вас не отдадим... Я переведу вас на другую работу.

Бедная, бедная Дашина голова.

Невыясненным остался третий вопрос. (Даша опять вернулась домой, легла на кровать, прикрыв локтем глаза.) Ей вдруг осточертело думать... «Да, что мне, в самом деле,—сто лет? Дурна я, как смертный грех? Возьму и дам себе волю... Хочешь—иди в Метрополь, не хочешь—не ходи... Для кого прятать все это, что не хочет быть спрятано, душить в груди крик счастья? Для кого с такой мукой сжимаешь колени? Для чьих ласк? Влечет тебя, лихорадка бегаешь по спине... Дура, дура, довела себя... Да, разожмись, кинься.. Все равно—к чорту любовь, к чорту себя»...

Она уже знала, что пойдет. И, если раздумывала, то только оттого, что было еще время, были сумерки,—самый ядовитый час для раздумья. В доме медленно, по-башенному, часы проббили девять. Даша стремительно соскочила с постели... «Унизительно так волноваться, унизительно, пойми»...

Она поспешно разделась и в одной рубашке побежала в ванную, где были свалены дрова, сундуки, рухлядь. Стала под душ. Ледяной дождь упал на спину, Даша почти задохнулась. Мокрая вернулась к себе, стащила с кровати простыню, вытерлась, постукивая зубами.

И даже и в эту минуту не пришло решение,—она глядела то на старое платьишко, сброшенное прямо на пол, то на вечернее, перекинутое через спинку кресла. И опять поняла, что это — трусость, только отсрочка... Тогда она стала одеваться. Зеркала не было, и—слава богу. Накинула соболий палантин, и вдоль стены, вдоль забора, как воровка, вышла на улицу. Были уже глубокие сумерки. Она шла по бульварам. Мужчины с изумлением провожали ее глазами,—вдогонку летели замечания, не слишком успокаивающие. Из-под дерева шатнулись двое в солдатских шинелях, окликнули: «Паразит, погоди, куда бежишь?».

На Никитской площади Даша остановилась,—едва дышала, колело сердце. Отчаянно звоня, проходил освещенный трамвай с прицепом. На ступеньках висели люди. Один, ухватившись правой рукой за медную штангу, а в другой держа плоский крокодиловый чемоданчик, пролетел мимо и обернул к Даше бритое, сильное лицо. Это был

Мамонт. Даша ахнула и побежала за трамваем. Он увидел ее, чемоданчик в его руке судорожно взлетел. Он оторвал от поручни другую руку, соскочил на всем ходу, пошатнулся навзничь, тщетно хватаясь за воздух, задрал одну огромную подошву, и сейчас же половина его тела скрылась под трамвайным прицепом, чемоданчик упал к ногам Даши. Она видела, как поднялись судорогой его колени, послышался хруст костей, сапоги забили по булыжнику. Взвизгнули тормоза, с трамвая посыпались люди.

Графитовый свет поплыл в глазах, мягкой, как перина, показалась мостовая, — потеряв сознание, Даша упала руками и щекой на крокодиловый чемоданчик.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Переход в наступление Добровольческой армии, так называемый «Второй Кубанский поход», начался с операции против станции Торговая. Овладение этим железнодорожным узлом было чрезвычайно важно, так как весь Северный Кавказ (хлеб и нефть) отрезывался от России. Десятого июня армия в девять тысяч штыков и сабель, под общим командованием Деникина, бросилась четырьмя колоннами на окружение Торговой.

Деникин находился при колонне Дроздовского. Напряжение было огромное. Все понимали, что исход первого боя решает судьбу армии. Под артиллерийским обстрелом противника, занавешенные огнем одного своего орудия, стрелявшего на картечь, дроздовцы на глазах командующего бросились вплавь через речку Егорлык. В передней цепи барахтался в воде, как шар, захлебываясь и ругаясь, командир полка, штабс-капитан Туркул, шумно прославившийся впоследствии за лихость и за зверство. Красные отчаянно защищались. Они позволили противнику окружить себя. Заставы были опрокинуты,—с юга колонной Боровского, с востока конницей Эрдели. Перемешавшиеся части красных и огромные обозы, оставив Торговую, начали отступление на север. Но здесь со стороны Шаблиевской им загородила путь колонна Маркова. Победа добровольцев оказалась полной. Казачьи сотни Эрдели рыскали по степи, рубя бегущих, захватывая телеги с добром и пленных.

Были уже сумерки. Бой затихал. Деникин, заложив полные руки за спину, красный и нахмуренный, ходил по перрону вокзала. Юнкера с шутками и смехом,—как шутят после миновавшей смертельной опасности,—носили рысью мешки с песком, укладывали их на открытые платформы, устанавливали пулеметы на самодельном бронепоезде. Низко над степным закатом апельсинового цвета пылала вечерняя звезда. Изредка, сотрясая воздух, доносился орудийный выстрел, — это на севере за Шаблиевкой били с красного бронепоезда. Последний снаряд оттуда упал около моста через Маныч, там, где на сивой лошадке сидел генерал Марков. Он не спал, ничего не ел и не курил

двое суток и был раздражен тем, что занятие Шаблиевки произошло не так, как он хотел. Станция оказалась занятой сильным отрядом с артиллерией и броневиками. Вчера,—одиннадцатого,—и сегодня весь день его обходная колонна дралась упорно и без успеха. Быстрое счастье на этот раз изменило ему. Потери были огромны. И только к вечеру, видимо, в связи с общей обстановкой, большевики, занимавшие Шаблиевку, отступили.

Слегка перегнувшись с седла, он всматривался в неясные очертания нескольких трупов, лежавших в застывших движениях, в каких их застигла смерть. Это были его офицеры, каждый из них в бою стоил целого взвода. Совершенно бессмысленно, из-за какой-то вялости его ума было убито и ранено несколько сот лучших бойцов!

Он услышал стон, хрипящие вздохи будто пробуждающегося от кошмара человека,—какое-то шипенье. Из предмостного окопа поднялся офицер и сейчас же упал животом на бруствер. Закряхтев, оперся, с трудом занес ногу, вылез и уставился на звезду в оранжевом закате. Покрутил бритой головой, застонал, пошел спотыкаясь, увидел генерала Маркова. Взял под козырек, оторвал руку:

— Ваше превосходительство, я контужен.

— Вижу.

— Я получил выстрел в спину.

— Напрасно...

— Я контужен со спины в голову из револьвера в упор... Меня пытался убить вольноопределяющийся Валерьян Оноли...

— Ваша фамилия? — резко спросил Марков.

— Подполковник Рощин...

В эту как раз минуту в последний раз выстрелило шестидюймовое орудие с уходившего на север красного бронепоезда. Снаряд с диким воем промчался над темной степью. Сивая лошадка генерала, беспокоясь, запряла ушами, начала садиться. Снаряд шарахнулся с неба и разорвался в пяти шагах от Маркова.

Когда рассеялись пыль и дым, Вадим Петрович Рощин, отброшенный взрывом, увидел на земле сивую лошаденку, лягающую воздух, и около—раскинутое, страшно маленькое, бездыханное тело. Рощин, приподнимаясь, закричал:

— Санитары! Убит генерал Марков!

Заняв Торговую, Добровольческая армия повернула на север на Великокняжескую, с двойной целью,— чтобы помочь атаману Краснову очистить Сальский округ от большевиков и чтобы прочнее обеспечить свой тыл со стороны Царицына. Великокняжескую взяли без больших потерь, но и успеха не удалось развить, так как в ночном бою конная дивизия Думенко опрокинула и растрепала казачьи части Эрдели и не дала им переправиться через Маныч. Под самой станицей едва не погиб первый добровольческий бронепоезд. С него заметили

бегущий паровоз под белым флагом и, полагая, что это парламентареры, приостановили огонь. Но паровоз летел, не сбавляя хода, непрерывно свистя. Лишь в последнюю минуту с бронепоезда догадались дать по нему несколько выстрелов в упор. Все же столкновение произошло, одна платформа была разбита и паровоз опрокинулся,—он был облит нефтью и обвешан бомбами. На несколько минут все поле битвы заинтересовалось этим кадром из американской фильма.

Передав район донскому командованию, предоставив отрядам станичников самим кончать с местными большевиками, Деникин снова повернул на юг на овладение важнейшим узлом,—станцией Тихорецкая, соединявшей Дон с Кубанью, Черноморье и Каспий. Он шел теперь навстречу большим опасностям. На пути лежали два больших иногородних села,—Песчанокопское и Белая Глина,—очаги большевизма, их спешно укрепляли, не выражая никакого желания отдать даром. Армия Калнина лихорадочно окапывалась под Тихорецкой. Армия Сорокина оправилась к этому времени от паники и начинала сильно давить с запада. Перегруппировывались разбитые на Маныче части красных, переходили с тылу в наступление. Из многих сел и станиц высылалось ополчение. Словом, палка была сунута в муравейник, и все пришло в движение.

Деникин мог рассчитывать только на одно: на несогласованность в действиях противника. Но и это могло измениться каждую минуту. Поэтому он спешил. Местами ему приходилось самому поднимать цепи, лежавшие в полном изнеможении. Пехоту везли на телегах. Впереди армии двигался все тот же доморощенный бронепоезд.

Под Песчанокопским вместе с красноармейцами дралось все население. Такой ярости добровольцы еще не видели. От утра и до ночи дрожала степь от канонады. Два раза штыковой атакой полки Боровского и Дроздовского были выбиты из села. И, только увидев себя окруженными со всех сторон, не зная сил и средств противника, защитники покинули село до последнего человека. Теперь все части, все отряды и толпы беженцев сходились в Белую Глину.

Здесь, в центре десятитысячного ополчения, стояла Железная дивизия Жлобы. Все возрасты были призваны к оружию. Укреплялись подступы, впервые проявлялась организованность и тактическое понимание. На митингах призывали победить или умереть. Партизан Дмитрий Жлоба, пылкий, упрямый и хитрый запорожский казак, крутыми мерами наводил порядок в разношерстной армии, где каждый желал воевать по-своему. Его боялись, как дьявола, за страшную физическую силу и за беспощадность.

Но ничего не помогло. Противник был ученый, против храбрости, пускай беззаветной, выдвигал науку, учитывал каждую мелочь, и двигался, как по шахматному полю, всегда оказываясь неожиданно в тылу. Правда, начало наступления, в ночь на 23, было неудачно. Полковник Жебрак, ведущий дроздовцев, напоролся в темноте на хутор,—на передовые цепи, встреченный в упор огнем, кинулся в атаку и упал

замертво. Дроздовцы отхлынули и залегли. Но уже к девяти часам утра с юга в Белую Глину ворвался Кутепов с корниловцами, конный полк дроздовцев и броневик. Со стороны захваченной станции подходил Боровский. Начался уличный бой. Красные почувствовали, что окружены. Броневик врезывался в их толпы. Запылали соломенные крыши. Коровы и лошади носились среди огня, выстрелов, рукопашной драки, воплей...

Все, что мог сделать Жлоба, — это вывести растрепанную дивизию по единственной еще свободной дороге. Там, у железнодорожной будки, стоял на коне Деникин. Он сердито кричал, приставив ладони ко рту, чтобы перерезали дорогу уходящим, — за остатками Железной дивизии уходили партизаны, жители, женщины, дети... В угон бегущим поскакал Дроздовский полк. Не вытерпели и конвойцы главнокомандующего, выхватили шашки, понеслись лавой — рубить. Штабные офицеры завертели в седлах и, как гончие по зверю, поскакали туда же, сверкая клинками, рубя по головам и спинам. Деникин остался один. Сняв фуражку, помахивал ей на возбужденное лицо. Эта победа расчищала ему дорогу на Тихорецкую и Екатеринодар. Это было чрезвычайное событие.

В сумерки в селе на дворах слышались короткие залпы: дроздовцы мстили за убитого Жебрака, — расстреливали пленных красноармейцев. Деникин пил чай в хате, полной мух. Несмотря на духоту ночи, плотная тужурка на нем, с широкими погонами, была застегнута до шеи. После каждого залпа он оборачивался к разбитому окошку и скомканным платочком проводил по лбу у сбоков носа.

— Василий Васильевич, голубчик, — сказал он своему адъютанту, — попросите 'ко мне притти Дроздовского, так же нельзя, все - таки.

Звякнув шпорами, приложив, оторвав руку, адъютант повернулся и вышел. Деникин стал доливать из самовара в чайник. Новый залп раздался совсем близко, так что звякнули стекла. Затем в темноте завыл голос, — у-у-у-у, — не то человеческий, не то собачий. Кипяток перелился вместе с чайниками через край. Деникин закрыл чайник. — «Ай, ай, ай», — прошептал он. Резко раскрылась дверь. Вошел смертобледный тридцатилетний человек в измятом френче, с мягкими, тоже измятыми, генеральскими погонами. Свет керосиновой лампы тускло отразился в стеклах его пенснэ. Квадратный подбородок с ямочкой щетинился, выпячивался, впавшие щеки подергивались. Он остановился в дверях. Деникин тяжело приподнялся с лавки, протянул навстречу руку:

— Михаил Григорьевич, присаживайтесь. Может быть, чайку?

— Покорно благодарю, нет времени.

Это был Дроздовский, недавно произведенный в генералы. Он знал, зачем позвал его главнокомандующий, и, как всегда, — ожидая замечания, — мучительно сдерживал бешенство. Нагнув голову, глядел вбок.

— Михаил Григорьевич, я хотел насчет этих расстрелов, голубчик...

— У меня нет сил сдерживать моих офицеров, — еще больше бледнея, заговорил Дроздовский неприятно высоким, срывающимся на истерику голосом. — Известно вашему высокопревосходительству, — полковник Жебрак замучен большевиками (сорвался, задохнулся)... Не могу сдерживать... Отказываюсь... Не угоден вам, ради бога — рапорт... За счастье почту — быть рядовым...

— Ай, ай, ай, — сказал Деникин, — Михаил Григорьевич, нельзя так нервничать... При чем тут рапорт?.. Поймите, Михаил Григорьевич, расстреливая пленных, мы тем самым увеличиваем сопротивление противника... Слух о расстрелах пойдет гулять.. Зачем же нам самим наносить вред армии? Вы согласны со мной? Не правда ли? (Дроздовский молчал.) Я требую, передайте это вашим офицерам, я требую, чтобы подобные факты больше не повторялись.

— Слушаюсь. — Дроздовский повернулся и хлопнул за собой дверью. Деникин долго еще покачивал головой, думая над стаканом чая. Вдалеке разорвался последний залп, и ночь затихла.

Операция против Тихорецкой задумана была по плану развертывания армии на широком, шестидесятиверстном фронте с востока от станции. Предварительно нужно было очистить плацдарм от отдельных отрядов и партизанских частей. Это было поручено молодому генералу Боровскому, — он в двое суток с боями прошел сто верст, заняв ряд станиц. В истории гражданской войны это был первый, — как его назвали, — «рейд» в тылах противника. (Впоследствии этим тактическим приемом широко будут пользоваться обе стороны.)

Добровольческая армия развернулась на очищенном плацдарме. Тридцатого Деникин отдал короткий приказ: «Завтра, первого июля, овладеть станцией Тихорецкой, разбив противника, группирующегося в районе Терновской — Тихорецкой»... В ночь колонны двинулись, широким об'ятием охватывая Тихорецкую. Большевики после короткой перестрелки начали отступать к укрепленным позициям, расположенным полукольцом на север и восток от станции.

Здесь уже не было того отчаянного сопротивления, как неделю тому назад. Падение Белой Глины внесло смущение и страх. Приостановилось наступление Сорокина. Жертвы — тысячи павших в кровавом бою — оказались напрасными. Противник двигался, как машина. Воображение в десять раз преувеличивало мощь и силы добровольцев. Рассказывали, что со всей России тучами сходятся к Деникину офицеры, что «кадеты» не дают пощады никому, что, как только они очистят край, — вслед придут немцы, а кто говорил — англичане... Главкомандующий Калнин сидел, как парализованный, в тылу армии, в своем поезде на станции Тихорецкой. Когда ему стали доносить, что полчища деникинцев подходят с четырех сторон, он пал духом.

В девятом часу утра битва затихла, красные войска отошли на укрепленное полукольцо. Калнин заперся в купе и лег заснуть на часок, уверенный, что боя на сегодня больше не будет. Добровольцы, тем временем, продолжали глубокий обхват противника, двигаясь по полям в густой пшенице. К полудню их крайние фланги сомкнулись и вышли с юга в тыл. Корниловский полк бросился на станцию и без потерь захватил ее. Железнодорожники попрятались. Калнин исчез, — в купе валялись его фуражка и сапоги. Рядом в купе был найден его начальник штаба, генерального штаба полковник Зверев, — он лежал на полу с разнесенным черепом. На койке, ничком, закрыв голову шалью, еще дышала его жена с простреленной грудью. Помощник его и адъютант были схвачены и здесь же у вагона расстреляны корниловцами.

После этого добровольческим колоннам оставалось только сжать в объятиях Красную армию, лишенную командования, отрезанную от базы и дорог. До вечера они громили ее из пушек и пулеметов. Люди метались в полукольце, свинцовый ураган косил в лицо и в спину, обезумевшие люди поднимались из окопов, бросались в штыковые атаки и всюду находили смерть. Героем этого степного побоища был Кутепов. Под вечер он преградил единственный, еще свободный, путь на север и огнем и холодным оружием уничтожал пробивающиеся к полотну группы красных. В сумерки все перемешалось в густой пшенице—и красные и белые. Командиры, бегая, как перепела, в хлебе, собирали офицеров и снова и снова бросали в бой. В одном месте из окопов выкинули на штыках платки. Кутепов с офицерами подскакал и был встречен залпом и матюком последней, смертной ярости. Он умчался, пригнувшись к лошадиной шее. Приказ главнокомандующего был—не расстреливать пленных, но никто не приказывал их брать. Добровольцы гадюками поползли в густой пшенице и штыками заплатили большевикам за коварство.

Бойня длилась до глубокой темноты. Наутро Деникин шагом объезжал поля боя. Куда только видел глаз—пшеница была истоптана и повалена. В роскошной лазури плавали стервятники. Деникин поглядывал на извивающиеся по полям, через древние курганы и балки, линии окопов,—из них торчали руки, ноги, мертвые головы, мешками валялись туловища. Он находился в лирическом настроении и, полусобернувшись, чтобы к нему подскакал адъютант, Василий Васильевич, проговорил раздумчиво:

— Ведь это все—русские люди. Нет полной радости, Василий Васильевич...

Победа была полной. Тридцатитысячная армия Калнина была разгромлена, перебита и рассеяна. Только семь эшелонов красных успело проскочить в Екатеринодар. Армия Сорокина отрезывалась. Разъединялись окончательно отдельные группы красных войск,—восточная, в районе Армавира и западная,—Таманская армия. Деникинцам доставалась огромная добыча: три бронированных поезда, броне-

вые автомобили, пятьдесят орудий, аэроплан, вагоны винтовок, пулеметов, снарядов, богатое интендантское имущество.

Впечатление от победы было ошеломляющее. Большевистские газеты сразу перестали называть деникинскую армию пренебрежительно—бандой, и забили настоящую тревогу. Атаман Краснов в новочеркасском соборе служил молебны и говорил перед войсками речь не хуже своего друга императора Вильгельма. Хотя за три недели деникинцы потеряли четвертую часть армии, состав ее к первым числам июля удвоился: — шел непрерывный поток добровольцев из Украины и Центральной России; прибывали конные и пешие станичники из станиц, впервые начали формироваться военнопленные красноармейцы.

После двухдневного отдыха Деникин разделил армию на три колонны и повел широкое наступление на три фронта: на запад—против Сорокина, на восток—против армавирской группы и на юг—против остатков армии Калнина, прикрывавших Екатеринодар. Задача была — очистить весь тыл перед штурмом Екатеринодара. Все было учтено и разработано по законам высшей военной науки. Деникин не учел одного единственного и важнейшего обстоятельства: перед ним находилась не неприятельская армия, силы и средства которой он мог оценить и взвесить, а—вооруженный народ, непонятные ему силы. Он не учел того, что одновременно с его победами—в этой народной, или красной армии растут ненависть и единодушие, что время буйных митингов, когда скидывались неугодные командиры и большинством голосов решалось наступление,—миновало, сменялось новой, еще дикой, но с каждый днем крепнущей дисциплиной гражданской войны.

Все, казалось, предвещало легкую и скорую победу. Разведка доносила о паническом движении войск Сорокина, уходящих на Екатеринодар, за Кубань. Но это было не совсем верно,—разведка ошиблась. За Кубань бежали дезертиры и мелкие полуразбойничьи отряды, уходили обозы беженцев. Тридцатитысячная группа Сорокина очищалась от всего небоеспособного, подтягивалась и лютела. Батайский фронт против немцев был оставлен. Красные ждали встречи в открытом поле лицом к лицу с Деникиным. И случилось так, что Добровольческая армия, окрыленная победами, почти у цели едва не погибла вся без остатка в завязавшемся вскорости десятидневном кровавом сражении с бешено наступающими войсками Сорокина.

С сатанинской гордостью Сорокин ответил на запрос Кубано-Черноморскому ЦИК'у:—«Агитаторов мне не нужно. Деникинские банды агитируют за меня. Историческая доблесть моих войск опрокинет все преграды контрреволюции»... Остановив панику в войсках,—в первые дни наступления Деникина,—Сорокин, казалось, очнулся от хмельного бездействия. Днем и ночью он носился по фронту,—в вагоне, на дрезине, верхом. Он устраивал смотры, собственноручно застрелил перед фронтом двух командиров за вялое отношение к теку-

щему моменту, вытягиваясь на стременах, говорил такие слова о врагах народа, так матерился с пеной на искаженных губах, что красноармейцы прерывали его ревом, как буйволы в туче слепней. Он усилил работу военных трибуналов и особых отделов, объявил смертную казнь за неисправность винтовки, и издавал по армии приказы, где говорилось: «Бойцы! Трудящиеся всего мира с надеждой смотрят на вас, они принесут вам свою великодушную благодарность, — с открытыми глазами и стальной грудью вы идете навстречу кровавому рассвету истории. Паразиты, ползучие гады, банды Деникина и вся контрреволюционная сволочь должны быть выметены огнем и свинцом. Мир трудящимся, смерть эксплуататорам, да здравствует всемирная Революция!»...

Он сам в горячем возбуждении сочинял эти приказы. Их читали вслух по ротам. Украинские мужики, донские фабричные и слободские, фронтовики кавказской армии, иногородние и казаки, — вся пестрая, оборванная, шумная, ни черта не признающая братва — слушала, как замороженная, эти малопонятные, пышные слова. Улавливали в них одно: огонь новой веры... Всемирная Революция, мир трудящимся, кровавый рассвет своего простонародного царства...

Начальник штаба Беляков, умный и опытный военный, разрабатывал план наступления, — вернее — предполагался прорыв всей тридцатитысячной группой сквозь окружение и уход за реку Кубань. Так по крайней мере, думал начштаба, не питавший никакой надежды на благоприятную встречу с Деникиным. Прорыв назначался в районе станции Кореновской (между Тихорецкой и Екатеринодаром). Заняв Кореновскую, не трудно было бы справиться с отрезанными на юге от главных сил колоннами Дроздовского и Казановича, повернуть на Екатеринодар, а там — что чорт пошлет, — так размышлял начштаба. Положение его было крайне щекотливое: он всем нутром, во сне и наяву, ненавидел красную, скандальную сволочь, дорогих товарищей, но проклятая судьба связала его с большевиками. Попадись он в руки Деникину, о котором он думал с тревожным и завистливым восхищением, — смерть. Заподозри его Сорокин в недостатке революционного пыла и ненависти к Деникину, — смерть. Единственной надеждой, правда фантастической, как и все события того времени, было неистовое честолюбие Сорокина. На этом можно было играть: всеми силами выдвигать Сорокина в диктаторы, а там — что чорт пошлет...

Во всяком случае, к наступлению он готовился деятельно: к станции Тимашевская (Западной дороги) стягивались запасы огневого снаряжения и фуража, выгружались снаряды, огромные обозы уходили в степь. Армия развертывалась в районе Тимашевской фронтом на юго-восток с тем, чтобы одновременно ударить на Кореновскую и севернее ее на Выселки.

На рассвете, 15 июля, полевые орудия открыли ураганный огонь по Кореновской, и через час лава за лавой казачьи сотни ворвались в поселок и на станцию. Рубили кадетов со свистом, сшибали конями,

в плен взяли тех только, кто еще издали бросил винтовку. Пехотные части шли всю ночь и в Кореновской немедленно начали окапываться,—не полуколыцом, как под Белой Глиной, а сплошным овальным окружением.

Белое солнце вставало во мгле пыли и зноя. Вся степь была в движении,—мчалась конница, ползли полки, грохотали колесами батареи,—ругань, удары, выстрелы, конский визг, хриплые крики команды. До самого горизонта тянулись обозы. День был горяч, как печь. Сорокин на полпути бросил штаб и верхом на белом от мыла жеребце вертелся среди войск. От него, как гончие, порскали с приказами дежурные и вестовые.

Шапку он потерял во время скачки, черкеску сбросил. На нем была шелковая малиновая рубашка с закатанными выше локтей рукавами, синие кавалерийские штаны туго перепоясаны наборным ремнем. Всюду видели его черное от пола и пыли лицо, оскаленные зубы. Он переменял уже третьего коня, — осматривал расположение батарей, окопы, где пехотные части по-кротовьи закапывались в чернозем, выскакивал в степь к секретам, уносился к подъезжавшим и разгружавшимся обозам со снарядами, взмахом нагайки подзывал командиров, и, свешиваясь к ним с седла, горячий и страшный, с бешеными глазами, выслушивал рапорты. Он, будто дирижер гигантского оркестра, натягивал нити музыки начинающейся битвы. Он бросил у вокзала тяжело дышащего коня, вбежал в отделение телеграфа, отпихнул ногой валяющийся у порога труп в погонах, с рассеченным черепом, и, читая бегущую с аппарата ленту, испытал чувство яростного, пьянящего возбуждения: с юга, покинув станцию Динскую, спешно подходили войска Дроздовского и Казановича—принимать бой.

Дроздовцы были двинуты на телегах,—весь день в облаках горячей пыли мчались по степи сотни подвод. Марковцы генерала Казановича, погруженные вместе с артиллерией в поезда, опередили их, и на рассвете, шестнадцатого, прямо из вагонов бросились в атаку на Кореновскую.

Генерал Казанович стоял на срубе колодца у железнодорожной будки и спокойно следил за умелыми движениями офицерских цепей, идущих без выстрела. Тонкое, изящное лицо его с полуседыми длинными усами и подстриженной бородой (как носил государь император) было насмешливо сосредоточено, красивые глаза холодно, с женственной страстностью улыбались. Он был настолько уверен в исходе боя, что ни минуты не захотел ждать дивизии Дроздовского. Он соперничал в поисках славы с Дроздовским,—болезненно самолюбивым, осторожным и часто во вред делу медлительным. Он любил войну за ее пышный размах; за музыку боя, за громкую славу побед.

Огромный солнечный шар выкатился из-за далеких курганов,—в нем была июльская ярость,—слепящий свет ударил в глаза больше-

викам. Застучали пулеметы, знойную тишину разорвали залпы. Видно было, как из окопов поднимались густые цепи противника. Марковцы бежали вперед,—ни один не кланялся пулям. Навстречу им ползли тысячи, тысячи фигурок... Казанович поднял к глазам бинокль. Странно!

— Шрапнелью три очереди по товарищам,—приказал он сидевшему у колодца телефонисту. Две батареи, скрытые за насыпью, открыли огонь. Низко над цепями противника рванулись ватные клубки шрапнелей. Фигурки заметались, выправились, продолжали наступать. Теперь все поле грохотало от выстрелов. Заревели, наконец, батареи большевиков. Казанович, недоумевая, усмехнулся, узкая рука его с биноклем задрожала. Марковцы ложились, торопливо окапывались. Лицо его побледнело под загаром. Он соскочил с колодца, присел над телефонным ящиком и вызвал генерала Тимановского.

— Цепи ложатся,—закричал он в трубку.—Чего бы ни стоило, опрокинь левое крыло... Дорога секунда..

Сейчас же из-за полотна, скатываясь под откос, побежали марковцы, резервы Тимановского. Пачками, цепь за цепью, решительные и взволнованные, они пропадали в высокой, уже осыпавшейся, пшенице. Тимановский, молодой, румяный, всегда смешливый, в сдвинутой папахе, в грязной холщевой рубашке с черными генеральскими погонами, кричал и хлопотал, подхватив шашку, побежал за цепями. Происходило непонятное: большевиков подменили, все моменты, когда они неминуемо должны были дрогнуть, миновали. Теперь вся степь наполнилась их наступающими фигурками. Бешено стучали добровольческие пулеметы,—новые волны противника сменяли упавших.

Там, где кончалось пшеничное поле, бежали со штыками на перевес роты Тимановского,—одна, другая... Казанович вытянулся, как струна, на срубе колодца. В узкое поле бинокля он видел втянутые в плечи свирепые затылки марковцев. Сколько напряжения! Падают, падают! Он вел биноклем за бегущими, и вдруг увидел разинутые рты, широкие лица, матросские шапочки, голые бронзовые груди... Большевики, матросы... Сейчас же все смешалось, сбилось в клубок,—удар в штыки. Болезненная усмешка застыла на изящно очерченных губах Казановича... Марковцы не выдержали. Остатки первой роты бежали в пшеницу, легли. Вторая рота отхлынула, легла.

Тогда он соскочил с колодца и легко побежал по полю. Его увидели. Ему удалось поднять цепи, крича:—«Господа, господа, стыдно!»—Он бросил их в штыки, но огонь был так жесток, люди падали в таком изобилии, что цепи снова легли... Неужели это был проигранный бой?

В девятом часу утра с запада послышались удары пушек Дроздовского. Серой черепахой, переваливаясь, появился в степи броневик. Дроздовцы методично и не спеша повели наступление. В третий раз поднялись цепи Казановича. Добровольцы надвигались теперь широким фронтом,—полумесяцем. Этого удара не должны были выдержать большевики.

Между окопами большевиков появился всадник, он бешено скакал, размахивая блистающим клинком. Взлетел на курган, осадил коня, так что тот сел на круп. На всаднике была пунцовая рубашка с засученными рукавами, голова закинута, он кричал и снова махал шашкой. И вот, на цепи наступающих добровольцев вылетели лавы кавалерии. Низенькие, злые лошаденки стлались по земле. Выстрелы прекратились. Далеко был слышен свист клинков, вой, топот. Всадник в пунцовой рубашке сорвался с кургана и, бросив поводья, мчался впереди. Поднималась черная пыльная туча, заволакивая поле сражения. Дроздовцы и марковцы не выдержали удара конницы и побежали. Они остановились и окопались за ручьем Кирпели.

Так началась эта отчаянная, упорная десятидневная битва.

(Продолжение следует)

Романтикам

мих. голодный

Романтики, — наша пришла пора,
Тоскуют во сне полустанки,
Притихла пиликающая детвора,
Устали гнусавить шарманки.

Довольно страна призывала уже,
Довольно она нас звала.
Молчал Гейне, молчал Беранже,
Валялся в пыли Калевала.

Довольно мы слушали о своем,
О шапках, о тряпках... За дело.
Долой — шапки. Долой — тряпье.
Песня еще не пела.

Взгляните, тепла и свежа земля,
Высоко под горою
Сверкают поля, сияют поля,
Небо пахнет травой.

Много взял Маяковский себе —
Голос, стихи, славу.
Перед сатирой не оробел,
Песню — нам оставил.

Ритмы — раскачаны. Слова — просты,
Сюжетов — воздушные горы,
Поэтические моря — пусты,
Плещут рифмы-просторы.

Облако — песня. И ты — и я —
Хор — земной, небесный.
Жизнь — моя. Жизнь — твоя.
Все это — песни, песни.

Все, что в поэзии было живым,
И в старость ее, и в детстве,
Будет твоим, будет моим
Романтическим наследством.

Шутя, споря, смешаем в одно:
Кривую улыбку сатиры,
Вись золотую, темное дно,
Печальную музыку мира.

Ударят, как пламя, по сердцу смычки,
Застелют глаза туманом.
Рвись, мое сердце, рвись в куски,
Лопайся над барабаном.

Романтики! Не долг привал боевой.
Тоскуют во сне полустанки.
Грянем над миром песней живой,
Брякнем о земь шарманки.

Воспоминанье

ПЕТР ШАМОВ

Опять встает, как тяжкий сон,
Далеких дней воспоминанье:
Глухая темь,
Протяжный звон
Над сонной тихою Рязанью.

Не сдвинуть тяжести силом,—
Метель да хмурь. На сердце будни.
Лежит родимое село
В медвежьей спячке непробудно.

Кабак,
Церковка...
Голь кругом,
За грош подневные послуги,
С резным карнизом барский дом
И разваленные лачуги.

Голодный захудалый год
И хилое худое право,
Нужда и хмель,
Погром господ
И царской милости расправа.

С полей не крытых волчий вой,
Лошадий храп,

Лихие свисты,—
Отряд драгун да становой,
Урядник-живодер
И пристав.

В поселке жуть и пустота.
Хлопочут в стан худые поршни,
Хлестки нагаек,
Рев скота
И бабьих слез полны пригоршни.

Кутузка,
Пытка царских лап,
Доска нагольная в подстилку,
Потом повестовый этап
И закандаленная ссылка.

Кривых саней скрипучий вяз,
И сердце с жуткою тревогой,
И долгий бесконечный лязг
Сибирской дальнею дорогой.

Все это в памяти, как сон;
Прошли года глухих терзаний,—
Весенний зацветает звон
Раздольем розовой Рязани.



Богатый Источник

Повесть

ЛЮБОВЬ КОПЫЛОВА

I. Доброе сердце и ясный ум

Варвара Федоровна стоит на коленях между решеткой помойки и мусорным ящиком. Перед нею лохань со смоченной угольной пылью. Она перемешивает ее с сором, выбирая самый горячий, месит руками хрустящую массу и лепит из нее шарики, которые раскладывает кругом.

Они лежат ровными рядами всюду: по-над стенами флигеля, на перилах террасы, на выступах перед окнами, на крыше сарая, круглые, черные и тяжелые, как маленькие пушечные ядра, которыми Варвара Федоровна бомбардирует жизнь.

Солнце жжет ее спину. Волосы лезут прямо в глаза. В мученическом изнеможении она поводит головой и, кончиками пальцев оттопырив мокрую кофточку на груди, приводит ее в движение, чтобы хоть немного охладить свое тело.

Акация уже зацветает над ней мелкими бутонами, беловатыми, как капли молока, стекающие вниз. Зеленый палисадник стоит рядом, закутанный сиреневой вуалью. В детском доме играют «Интернационал». Две девочки тащат корзину с хлебом. На них платья серенькие, как перышки у кукушек, и их деревянные сандалии стучат громко, как кастаньеты.

Варвара Федоровна думает о том, что «катышки» горят так же хорошо, как антрацит, а ничего не стоят; что сегодня нужно связать еще пару чулок и отнести их заказчице; что трем ее дочерям почему-то не везет в жизни; что после революции они вернулись к ней одна за другой и вот никак не устроятся; что, к счастью, сама она сильна, изворотлива, здорова, может накормить их всех и надеть на них чистые платья.

С остервенением мнет она черное тесто. Она кончает работу, споласкивает руки в ведре, из которого кропила угольный порошок, и тут слышит позади себя чирканье и шорох.

Оглянувшись, она видит мальчишку, который под'езжает к ней верхом на цветущей ветке. Он подает ей запечатанный конверт, обведенный траурной каймой, и, хлестнув кнутом своего коня, скачет от нее прочь.

Варвара Федоровна непонимающе долго смотрит на конверт, потом вскрывает его шпилькой и читает письмо, держа за уголки кончиками мокрых пальцев:

«Многоуважаемая Варвара Федоровна, с душевным прискорбием извещаю Вас о смерти горячо любимой жены моей, последовавшей сегодня ночью после непродолжительной и тяжелой болезни. Очень прошу Вас навестить меня в эти трудные для меня дни. Надеюсь на Ваше доброе сердце, ясный ум и всегдашнюю Вашу распорядительность. Душевно преданный Вам Петр Кармалин».

Губы у Варвары Федоровны беспомощно белеют. Она не может вложить письмо обратно в конверт. Она улыбается горестно и кивает головой, как человек, желание которого исполнилось слишком поздно.

Через террасу с цветными стеклами по белому половику она проходит в комнаты.

В комнатах с полуприкрытыми зелеными ставнями свежо и прохладно, как в густом тенистом саду.

Желтые крашенные полы блестят, точно натертые воском. Широколистые фикусы и цветущие олеандры отражаются в нем вершинами вниз, как деревья в чистом озере. Цветы на ковре цветут ярче, чем на клумбах.

В спальне ее дочерей белеют кровати. Никелированные шишечки на них поблескивают, как маленькие серебряные луны.

Розовый фонарь спускается с выбеленного потолка, и розовыми лентами перехвачены тюлевые занавески на окнах, как узкие талии старомодных барышень.

В золоченой рамке ангел с птичьими крыльями, распущенными по звездному небу, стучится в окно к людям, держа на руках голого младенца.

В углу на трехугольном столике стоит кулич, круглый и высокий, как башня, облитый глазурью и утыканный сахарными маргаритками. Красные, синие и желтые яйца лежат в зеленой пшенице, посеянной на широком блюде, и перевитая золотом свеча белеет над ними.

Варвара Федоровна любит созданным ею уютом. Довольная улыбка раздвигает ее губы, опять порозовевшие, как непышный цветок олеандра. Она вдруг становится красивой и почти молодой.

Она открывает сундук, пахнувший ушедшими годами, достает черное шелковое платье, нюхает его и вешает на веревке, чтобы проветрить. Потом она садится за чулочную машину и начинает наматывать нитки на шпульку, высокую и острую, как веретено. Но нитка рвется. Она связывает ее едва заметным узелком. Колесо жужжит. Нитка рвется опять.

Варвара Федоровна не может работать. Она вздыхает. Закрыв глаза, она запрокидывает голову, как девушка, только что изведавшая поцелуи.

Она сидит так долго, наливаясь горькой и хмельной пеной воспоминаний. Ее всю распирает, ее всю поднимает, как дрожжами.

Она хочет говорить.

Она побежала бы «туда» сейчас же, но не хочет явиться по-старушечьи, благоухая нафталином, а явиться без траура считает неудобным. И, сняв с себя все до рубашки, нарядившись, как в гости, она втыкает в узел своих неседующих волос булавку в виде звезды, сверкающую, как бриллианты, старинную булавку на эластичной пружине.

Пружина покачивается, и звезда мерцает над ее головой яркая, как Венера на небе.

Она запирает квартиру, прячет ключ для дочерей в условном месте за косяком дверей и выходит со двора, но она идет не в ту сторону, в какой живет Кармалин.

II. К Богатому Источнику

Варвара Федоровна идет по тротуару мимо высоких каменных домов с опущенными створками жалюзи.

Сквозь чугунные копьевидные решетки белеют круглые зодомы фонтанов.

Дельфины, широко разинув рот, прыскают водой прямо в небо, и купающиеся няяды разбрасывают кругом брызги своими беломраморными ладонями.

Варвара Федоровна останавливается у дома, принадлежавшего купцу Севрюгову, и с любопытством заглядывает в открытую калитку, желая знать, остался ли на месте фонтан, заказанный когда-то хозяином-самодуром, и видит трех голых амуров, которые еще стоят посреди двора, откинувшись назад, но, оскопленные революцией, уже не могут продолжать своего легкомысленного занятия.

Варвара Федоровна идет дальше мимо парадных подъездов с белыми кнопками звонков, мимо львов, кариатид и колонн. Она переходит бульвар, полный играющих детей. Она переходит базар, где торговки сидят, широко раздвинув колени, и груды овощей лежат кругом, точно исторгнутые из их чрева. Красная морковь рдеет, как утренняя заря. Серебристые кочаны капусты валяются, как заколдованные головы, и молодой картофель розовеет, как тело новорожденного сквозь грязные пеленки.

Мясники в рыцарских опоясках раздвигают красные занавески над своим товаром, как режиссеры раздвигают занавес на театре, являя зрителям кровавую драму жизни, и молочницы, разбухшие до избытка, разливают пенистую и густую влагу по кувшинам, широкобедренным, как они сами.

За базаром начинается Богатый Источник.

Богатым Источником называется часть города, прилегающая к бассейну с тем же названием.

Богатым Источником называется несколько улиц, кривых и узких, вогнутых, как грудь чахоточного, или выгнутых, как хребет горбуна.

Богатым Источником называется несколько улиц, мягких от пыли, как перина, с домиками, вымазанными желтой глиной, с развалившимися заборами и неровными двориками, выпученными, как больные животы.

Варвара Федоровна спускается ко дну балки. Комья сухой глины раскатываются под ее ногами. Она переступает через дохлую кошку и по противоположному склону поднимается вверх.

Здесь на голубом домике она видит дощечку с названием улицы и, пораженная, останавливается перед ней.

«Улица Овчинниковой»—читает она.

Овчинникова, это—ее девичья фамилия. Анна Овчинникова, это—ее двоюродная племянница, расстрелянная Деникиным в девятнадцатом году.

Они жили когда-то рядом в лачугах, теперь уже размытых дождями и стертых временем. Вот под этой акацией Анютка Овчинникова подавала своему отцу умыться, когда он приходил домой после работы, и свечным салом закапывала струпья и свежие ссадины на заскорузлых и черных руках молотобойца.

Как бы отягченная торжественностью сделанного открытия, Варвара Федоровна медленно идет дальше по чистой дорожке, заново выложенной булыжниками, и выходит на бугор, круглый, гладко укатанный и усыпанный желтым щебнем.

Когда-то на этом самом месте стоял трактир Новикова. Оттуда несло запахом водки и распаренного лимона. Там харкала и плевала шарманка. Оттуда выходили люди в одеждах, растерзанных от горла до пупка.

И Новиков стоял на крылечке.

Рубаха расплзалась мятыми складками по его животу, и ноги его в новых сапогах были, как чугунные колонны, несокрушимые и грузные...

«Клуб имени Карла Маркса»—читает Варвара Федоровна и видит белый дом, озаренный сиянием солнца. Гирлянды из листьев, широкие и пышные, вьются по косякам его окон и дверей. Синие, оранжевые, фиолетовые и красные электрические лампочки вплетены в свежую зелень.

Торжественно бьет барабан, и отряд пионеров, ладно переступая голыми ногами, восходит на высокое крыльцо.

Внизу, под бугром, широкая сверкающая река поворачивается плавным и мощным полукругом. Высокий город лежит на одном берегу, весь в золотисто-розовой дымке жаркого вечера, и поемные дуга зеленеют на берегу противоположном.

Голоса купающихся звучат громко, как ржанье молодых жеребят. Выдолбленные тыквы, желтые, как солнце, качаются привязанные вместо плавательных пузырей на синих волнах рядом с розовыми телами.

На самом берегу чугунно-литейный завод вздымает высоко свои кирпичные трубы.

Кругом лежат горы антрацита и угольной пыли, груды железных частей, винтов, гаек и рельс, якоря и остовы пароходов.

Белеют огромные баки с нефтью. То-и-дело стучат сцепляемые товарные вагоны.

Неумолчный молотобойный звон сотрясает весь завод и самый воздух над ним...

И, спустившись по крутому обрыву, Варвара Федоровна подходит к желтому деревянному домику, который приткнулся к одному из уступов и который чуть-чуть побольше собачьей конуры, стоящей рядом.

III. Советка

— Глянь, кума, каким это ветром тебя занесло? — встречает Советка Варвару Федоровну: — а я как раз собиралась детей купать... ну, да ничего... ты посиди тут немного, я живо управлюсь. — И, засучив рукава, молодецкато подбоченясь, она кричит в окно голосом, полным веселого и лукавого задора:

— А, ну-ка, первый — бравый, второй — кучерявый, третий — вареный.

Петя, Ваня, Маня, Зина и Митя, услышав знакомый клич, выскакивают из лопухов и бурьяна. Они бросаются в кухню со всех ног и, крича и толкаясь, выстраиваются в очередь перед матерью.

Горка трогательно полинявшего ситца тотчас же образуется на полу, и Митя, прибежавший последним, ревет громко, как теленок, которому не приготовили пойла.

— Ну, ну, — утешает его Советка: — маленький не в счет... маленький всегда бравый, — и сажает в корыто.

— Каким ветром? — переспрашивает ее Варвара Федоровна и добавляет весело: — собирайся на похороны, кума, барыню свою хоронить...

— Кармалину, — всплеснув руками, догадывается Советка. — Перекрестилась бы за упокой, да сыны надо мной смеются... Веришь ли, хотела это вот на пасху куличичи им напечь... Так что же ты думаешь, не говоря уже о Николае, эти пострелята мне заявляют: «Переведешь доброе, мать, все равно не с'едим ни крошки». — Так и напекла булок, и бергамоту положила и всего...

— Ели? — смеется Варвара Федоровна.

— Еще как!.. А для себя куличек маленький сделала по старой памяти, так они «ха» и «ве» соскоблили ресефесере на боку вывели

и красный флаг на палочке, вместо барашка, воткнули... Что ты с ними делать будешь?.. Кричат: «Наша взяла» да и только... За советскую власть стоят они у меня... Вот что.

— Я против советской власти ничего не имею...—подхватывает Варвара Федоровна:—дом она у меня отняла, или фабрику, что ли?... Так их у меня никогда не было. Как работала всю жизнь, так и работаю...

Ключья мыльной пены летят из-под рук Советки.

— Зажмурься,—кричит она и обливает Митю потоком воды из ковша. Потом, завернув его в простыню, бросает на свою широкую кровать и, блаженно урча, он начинает перекатываться по перине, разбрасывая кругом себя розовые ситцевые подушки.

— А давно мы не видались с тобой, кума. Раньше хоть по большим праздникам приходилось, а теперь не до того...—и Советка трет мочалкой пунцовую Петину спину. Потом вдруг опять по-бабьи всплескивает руками.

— Так, значит, умерла-таки?.. Ну, царство ей небесное... скажу по привычке... Ничего была женщина... Только уж очень смиренная какая-то... Бывало, принесешь ей белье... плохо ли выстирано, хорошо ли, — никогда ничего не скажет. Деньги отдаст и все в роде как-будто бы не смеет...

— Вот, вот, — обрадованно подтверждает Варвара Федоровна, — так и муж мой, покойный... бывало, придет спросить у нее перед весной, каких ей цветов на клумбах хочется, а она выйдет к нему в зеленом капоте полосатом, жирная, ну, чисто, гусеница: — «Как хотите, — протянет: — что хотите, то и садите... на то вы и садовник».

— Зажмурься! — кричит Советка. Вода падает с шумом, как проливной дождь. Пар от кастрюли поднимается до самого потолка.

По выбеленным стенам стекают тоненькие струйки. Советка выпроваживает-шлепком Петю из корыта и сажает в него Зину, следующую по очереди.

Вдруг Варвара Федоровна слышит в углу недовольное чмокание и сопенье. Она видит кроватку с сеточкой и, пораженная, кричит:

— Советка, да никак у тебя еще маленький?!

Советка смеется. Рукавом своей престонародной рубахи с мелкими розовыми цветочками и с пазушкой, она вытирает лицо в тоненьких сияющих морщинках.

— Ты что ж это, кума, думаешь, неисчерпаемая я, что ли?.. Внук это мой... Вот что...

Она вынимает из пеленок маленькое тельце, крепкое, глянцеви- тое, гладкое, как жолудь. Гортанный торжествующий крик раздвигает низкие потолки и тесные стены крохотного домика.

— Так, значит, Николай женился! — соображает Варвара Федоровна.

— И, кто теперь женится? — Советка промывает горячей водой резиновую соску. — Прижил с комсомолкой. Комсомолка днем на три-

котажной фабрике, вечером на рабфаке; матери у нее нет. Думали, думали, что с дитем делать... Ну, я и говорю: давайте, так и быть, выннчаю. Все равно у меня в роде как детский сад.

Вымытые дети пишат от восторга, кувыркаясь по постели.

Они испускают крики, пронзительные, как свистки милиционера.

Подняв руки, задирая вверх то одну, то другую ногу, они скачут друг перед другом, щеголяя своей райски-невинной наготой, припечатанной кое-где пятью пальцами материнской направляющей ладони.

— Ну, будет вам! — Советка шлепает старшего.

— Ты что больно руки распускаешь? — кричит он и, заранее взвизгнув, прячет голову под подушку. — Вот скажу Николаю.

Советка фыркает, не сдержавшись.

— Скажешь? — грозно набрасывается она на сына, стараясь отнять руки от его пылающих ушей.

— Скажу.

— Скажешь?

— Скажу.

Он брыкается, охает, хохочет, и вдруг все остальные набрасываются на мать. Они наваливаются на нее голыми трепещущими телами; они прижимают ее к развороченной постели; они запускают руки ей за пазуху; щекочут ее под мышками; тычут ей в живот растопыренными пальцами.

Перина с'езжает на пол, и они все с'езжают тоже вместе с периной.

— Будешь драться?

— Не буду... Не буду... Ой, пустите, — задыхается Советка.

— Ага!

Они укладывают перину на место, подбирают с полу материны шпильки и закручивают ей на затылке волосы.

— Тюльпаны свои поңесете, что ли?.. Так несите, а то завянут, — говорит она, раздавая им трусики и рубашки.

И через окно Варвара Федоровна видит торжественную процессию: выстроившись гуськом, дети маршируют по дорожке, протоптанной среди бурьяна.

Они тащат в руках охапки тюльпанов. Тюльпаны висят у них за ушами, тюльпаны натканы в их карманы и за воротники; тюльпаны торчат у них в зубах.

Красные, желтые, белые и розовые, они свешиваются на длинных, ломких, прозрачно-зеленых стеблях с яркими листьями и лепестками, глянцевыми и плотными на вид.

— Аж на Раскопанный Курган за цветами бегали, — объясняет Советка: — видишь, клуб пошли убирать. Пятая годовщина нынче, как его открыли.

— Так, значит, умерла! — вспоминает Советка, вытирая пол.

Варвара Федоровна рада, что, наконец, Советка перестала возиться с детьми.

— Никудышная была женщина, по правде сказать, — подхватывает она: — ни прислугой распорядиться, ни детей воспитать не умела... Как чуть-что в доме — все, бывало, за мной посылает... И всех боится... Разве, кума, так можно жить?.. Разве, кума, так можно жизнь свою устроить?.. Нет, кума, я свою жизнь брала за глотку и гнула ее, куда хотела. И она у меня поворачивалась... Хоть на половину, да по-моему выходило...

Варвара Федоровна разгорается. Она поднимается с места. Голос ее звучит властно и жестко. Она упивается сознанием своей силы.

Звезда над ее головой переливается цветными огнями.

— Ты, кума, знаешь мою жизнь и как мне пришлось... Я, брат, в гимназию восьми лет вздумала поступить, так я с первого класса городской школы учительнице своей кружевца начала вязать... Я, брат, ей и на штаны и на рубашки навязала... Я ей анютиными глазами столько дорожек навывшивала, что, кажись, разложи их одна за другой, так не то что до гимназии, до университета дойти можно было... Вот и определила она меня на казенный счет... По-моему вышло, хоть четыре класса, да все-таки прошла...

А в гимназии, думаешь, легко мне было учиться?.. Э... Ведь, кажись, со всего Богатого Источника я первая в гимназию пошла... Теперь хоть кое-где вымостили, а раньше сплошное болото было. Через балки на четвереньках, бывало, лезешь... Идешь, идешь, палочкой грязь счистишь и дальше... Навязнет ее по самые колени... Опять за палочку... А возле самого источника калоши вымоешь, тряпочку под камнем спрячешь, сама слезами умоешься... В гимназию придешь задрипанная по пояс... Смеются... Тогда отец Кармалина складом завывал. Он при самом заводе бесплатную квартиру имел, и по утрам его жена на базар на заводской лошади ездила и сына в гимназию к стати отвезила... Так я что придумала?..

Бывало, выйду из дома пораньше, до хлебных ссыпок дойду, за амбаром спрячусь и сижу так. Как услышу, что дрожки стучат, — выйду из-за угла... Ну, они меня к себе сажали... Так я и познакомилась с Петром Андреичем...

— Погоди, — вставляет Советка и убегает куда-то с помоями.

— А ты думаешь, легко мне было, как он на Людмиле Борисовне женился?—продолжает Варвара Федоровна, дождавшись подружку.— Другая бы на моем месте укусной эссенции глотнула, а я еще бегала под окна свадьбу смотреть... Другая бы на моем месте с горя зачахла, а я и виду никому не подала... И замуж вышла... Мужа моего покойного ты знаешь. Человек был, дай бог всякой такого... Он у меня свои статьи в журнале «Садовод» печатал... Он у меня на сельскохозяйственной выставке серебряную медаль за салат получил. Его Севрюгов к себе переманивал... Мы с ним детей воспитали не как-нибудь... У меня Женя—героиня, сестрой милосердия на самом фронте работала... У меня Оля в московском театре на сцене играла... У меня Катя замуж за инженера вышла... А он что из своей жизни сделал?.. Женился на растяпе...

Только и хорошего, что в приданое дачу со свечным заводом принесла. А что из ихних детей вышло?... Сына расстреляли... Если б то в гражданской войне... Нет, просто за мошенничество... Одна дочь публичной девкой стала, а другая с мужем за границу убежала, говорят, в прачках там служит... У меня в доме сроду ложки серебрянной не было, а в голодовку я дня без хлеба не сидела... А почему?.. Потому что запасла во-время, потому что брюхо во-время подтянула, потому что ездить не ленилась... А они?.. Ну, отобрали дачу и завод, а малю еще добра осталось?.. Мне бы на две жизни хватило, а они все пораспикали, попереводили, пораспродали, порастеряли.

Мне скоро сорок шесть лет будет, а все говорят—тридцать шесть... Да... А теперь вот он ко мне прибегает... Теперь он моим уютом старость свою пригреть хочет... Теперь ему мой ясный ум понадобился.

Варвара Федоровна бросает хвастливым жестом измятое письмо, и Советка, точно обрадовавшись ее молчанию, говорит:

— Знаешь что, кума, я тебя буду чаем угощать не как-нибудь, а в клубе. Пойдем со мной... Кстати сегодня там вечер воспоминаний...—И она взглядывает на Варвару Федоровну с неожиданно тонкой лукавой усмешкой, вдруг просяив всеми тоненькими своими морщинками.

Но Варвара Федоровна не обижается. Ей хочется говорить еще и еще.

Она не может успокоиться. Кроме этого, ей самой интересно посмотреть, что это за клуб, и очень охотно она отвечает:

— Ну, что же, пойдем.

IV. Вечер воспоминаний

У Николая черные волосы, которые мелко курчавятся вокруг честно открытого лба, черные глаза блестящие, как кусочки антрацита, и ослепительно белозубая улыбка.

Она сидит в президиуме за некрашенным столом. Секретарша цокает пером о чернильницу, и председатель, застенчиво краснеющий до самых глаз, с мальчишески затушеванным ртом, обводит глазами аудиторию.

— Товарищи,—робко говорит он:—кто еще желает рассказать что-нибудь из своих воспоминаний?—И в усугубленной тишине зрительного зала слышит в ответ поскрипывание скамеек и виноватое покашливание.

Председатель передвигает по столу букет тюльпанов. Тюльпаны венком украшают портреты на стене. Тюльпаны стоят в пестро разрисованных глиняных кувшинах, выстроенных в ряд на полу вдоль всей рамы. Тюльпаны красуются на груди у присутствующих.

Варвара Федоровна сидит рядом с Советкой и комсомолкой Марусей. Маруся, прижав к груди синее одеяльце, покачивает своего сына,

глядя на сцену. Густые и светлые волосы ее насильственно срезаны, как ножом.

Варвара Федоровна вертит головой направо и налево. Она оборачивается назад и кланяется знакомым. В удобные моменты Советка сообщает сведения о них.

Варвара Федоровна видит здесь старика Петухова, который объявлен ветераном труда и теперь получает пожизненную пенсию.

Она видит Маньку Рыженькую, с которой училась вместе в школе. Ее сын отправлен в этом году в Ленинград учиться рисовать.

Вот Махорка с родинкой во всю щеку. Она только что вернулась из Москвы, куда ездила делегаткой. Ее портрет был напечатан в газете.

Вот Самохвалов, Иван. Его портрет тоже был напечатан в газете, потому что он выбран в совет. На выборах он говорил речь с балкона в громкоговоритель, и его голос звучал, как голос с неба.

Когда-то он ухаживал за Варварой Федоровной. Один раз он провожал ее на гимназический бал. С фонарем в руках он перевел ее через все буераки до самой мостовой и обещал тут же встретить после бала. Но она пошла ночевать к соученице, и он напрасно прождал ее до самого утра.

Вот дочка Ивгушки Колесниченко, Шурка. Она училась вместе с ее Женей в гимназии и теперь заведует библиотекой при клубе.

Высокий ворот и рукава ее синего платья обшиты узкой белой полоской. Расправив на одном колене клочек бумаги, она что-то пишет на нем.

— Ну, что же, товарищи, так-таки никто больше ничего не расскажет? — просительно тянет председатель и уже с явным отчаянием ищет ответ глазами в тягостной пустоте зрительного зала.

Николай шепчет ему что-то на ухо, и, обрадованно подхватив подсказанное, председатель предлагает уже веселей.

— Быть может, товарищи женщины выскажутся?.. До сих пор вот у нас говорили одни мужчины...

— Мы на гражданской войне не были, — кричит ему кто-то сзади.

— Зачем же обязательно — на войне?.. Можно из быта что-нибудь.

Белая записочка летит на сцену и мотыльком садится на синюю майку председателя.

Он прочитывает записку вместе с Николаем, и оба смотрят на Шуру Колесниченко.

— Товарищ Колесниченко, вы хотите что-то сказать? — Озорная, ослепительно белозубая улыбка Николая освещает весь зал.

Бесхитrostное, спокойно внимательное лицо Колесниченко недоуменно вытягивается. Она отмахивается и мотает головой, но чей-то гулкий бас перекачивается по рядам: «Нехай Колесниченко рассказуе, бо вже дюже хорошо рассказыуе».

— Колесниченко! Колесниченко! — кричат со всех сторон и стучат ногами.

Колесниченко встает с места, разводя руками, и, осторожно ступая по приставным ступенькам, поднимается на сцену.

Аудитория гудит радостным оживлением. Сидящие сзади перебегают поближе к сцене. Скамейки трещат, и председатель хватается за колокольчик, но хватается зря, потому что в зале и без него наступает тишина, полная драгоценного внимания, и колокольчик, звякнув, умолкает, как выскочка, прикусив свой медный язычок.

— Ну, хорошо, товарищи, я расскажу вам, товарищи, о том, как я в первый раз узнала о «Коммунистическом Манифесте».

Колесниченко опускает свою черноволосую приглаженную голову и, прищурясь, смотрит куда-то вниз, вызывая образы виденного когда-то.

— Ну, вот, — начинает она: — многие из вас, сидящих здесь, товарищи, помнят, наверно, Тарасова Сергея?

— Помним, — вдруг кричит Варвара Федоровна и с досадой двигает плечом, когда Советка тянет ее за рукав.

Она чувствует себя так, как-будто бы сидит где-нибудь в гостях среди людей, хорошо знакомых и близких. Она чувствует, что каждое сведение, полученное ею от Советки, как бы добавляет что-то к ее собственной жизни. Она сопоставляет, сравнивает и делает выводы. Изголодавшаяся без общества, в одиночестве, она насыщается. Ее рот алчуще раскрыт, как земная трещина в засуху.

— Так вот, товарищи, Сережа Тарасов был сыном токаря на нашем заводе. Токаря зарабатывали больше других, и он мог отдать Сережу учиться в гимназию, как и младшую его сестру... Теперь из них не осталось в живых никого...

Вот... Сережа был уже в пятом классе... Вдруг отец у него заболел. Заболел он туберкулезом. Пришлось бросать завод. Началась нищета. Ну, конечно, первым делом нужно гимназию по боку... Тут Сережа как с ума сошел... кричит, плачет...

Бились, бились отец с матерью — ничего сделать не могли. Девочку-таки отняли, а его оставили доучиваться. Мать на табачную фабрику поступила, сестра в мастерскую. Стали они Сережу тянуть и дотянули уже до самого последнего класса.

Один раз у нас в женской гимназии заболел учитель, и вышло всего два урока. Иду я домой, значит, очень рано. Прохожу через городской сад. Смотрю, на скамеечке Сережа Тарасов сидит. А мы тогда в одном дворе, возле самого Богатого Источника, с ним жили и, конечно, знали друг друга...

Подхожу я к нему. Спрашиваю: «Что это вас так рано отпустили?» — Смотрю на него, он как больной. Пристала я к нему с вопросами. Вот он и рассказал мне, в чем дело.

А дело было скверное: Сережу, оказывается, уже целый месяц как исключили из гимназии за то, что он принес в класс «Коммунистический Манифест». Дома он ничего не сказал: не хватило духу,

делал вид, будто в гимназию ходит, а сам все искал, как бы устроиться, тогда, мол, отцу будет легче признаваться.

Я тогда и не спросила у него, что такое за «Коммунистический Манифест» — думала, может, неприличное что-нибудь.

Рабочие с руками, начисто вымытыми пастой, работницы с грудными младенцами, комсомолки в белых английских блузках — все смеются, и Николай гордо расправляет плечи, довольный, что культурно-просветительная работа ведется им так успешно.

— Жаль мне было Сережу, — продолжает Колесниченко: — да что поделаешь?.. Тут уж весна началась. Иду я как-то по берегу... Смотрю, Сережин отец в песке роется, выбирает оттуда корешки разные... Знаете, есть такие, их в половодье выносит, разные корешки, и шариком и рогулькой, и колечком... красивые попадаются...

— Зачем они вам?—спрашиваю.

— А вот, — говорит он мне: — наберу таких побольше, выкрашу, лаком покрою, на проволочку надену и рамочку сделаю Сереже в подарок, для диплома. Как точеная будет.

А сам задыхается и от кашля корчится весь.

Я от него бежать...

Ну, кончились экзамены. Не знаю, как это до отца слухов не дошло, только узнал он, в какой день дипломы выдавать будут.

Сережа чуть свет ушел, а я дома была. Часов в двенадцать сижу под акацией... Вдруг слышу — в калитку стучат. Открываю, а за калиткой душ десять гимназистов, и все бледные, как смерть.

— Тарасовы тут живут? С их сыном несчастье... Застрелился он около гимназии под самыми окнами.

Тут уж и рассказывать тяжело... Вошли мы к Тарасовым в комнату, а у них стол стоит, бутылка вина на столе, колбаса кружочками на тарелке разложена, пирог и около стенки рамочка из корешков...

Конечно, много тут разговоров по городу пошло. «Коммунистический Манифест» у учащихся с языка не сходил. Вот когда и я узнала, что это такое. А на Сережиных похоронах так даже раздала целых пять экземпляров потихоньку.

Варвара Федоровна слышит дружный плеск ладоней, как плеск многих крыльев. Шура Колесниченко, прыгнув с эстрады, проходит между скамейками на свое место, цепляясь то-и-дело за протянутые к ней дружески требовательные руки. Ее теребят за синее ее платье, поглаживают по ширококостному плечу, ее спрашивают о чем-то; сидящие от нее далеко кричат ей: «Шура!» и подают ей, видимо, хорошо понятные знаки.

Варвара Федоровна думает, что хорошо, если бы одна из ее дочерей была на этом месте. Легкая зависть к Шуриному незамечательному от природы и ничем неприкрашенному лицу, расцветающему улыбкой нескрываемого удовольствия, ссадиной трогает ее сердце.

Ее Оля играла в настоящем театре. Но где это было? И когда?.. Никто из ее знакомых, ни Ивгушка, ни Советка не видели этого и не знают.

Вдруг Варвара Федоровна соображает, что она сама могла бы так же, как Колесниченко, рассказать подходящую историю из своей жизни.

Сердце ее растекается кипятком по всему телу от сознания, что она может сделать это сию минуту. Она смотрит голодными глазами на крестника своего Николая.

— Товарищи женщины, может быть, из вас еще есть желающие говорить? — робко понуждает аудиторию бесхитростный и ненаходчивый председатель.

— Я хочу, — громко заявляет Варвара Федоровна. Судорога перехватывает ее голос.

— Пожалуйста же сюда! — слышит она и подходит к ступенькам. Но последняя ступенька для нее слишком высока. Она останавливается в недоумении. Николай встает и протягивает ей руку и, по-старушечьи крикнув, она взбирается на подмостки.

Она стоит близко к рампе. Букет тюльпанов закрывает ее ноги в прюнелевых ботинках с ушками. Ее черная юбка вздернута спереди животом пожилой женщины. Ее грубоватые руки с короткими пальцами, растертые горячей мочалкой, соединены вместе. Ожаренное волнением лицо — красиво. Кремовая косынка спущена на плечи, и звезда из поддельных бриллиантов горит над ее головой, как звезда славы.

Она сразу успокаивается рядом со своим крестником и, подражая Шуре Колесниченко, говорит совсем развязно:

— А я расскажу вам про фонарики.

— Какие фонарики? — недоуменно и недоверчиво кричат ей откуда-то из задних рядов.

Колокольчик звякает.

Варвара Федоровна чувствует в колокольчике дружескую силу. Она набирается еще больше храбрости и отвечает тоном, каким привыкла разговаривать с дочерьми, поучая их хозяйству, и с торговцами на базаре, выговаривая им за плохой товар.

— А про такие фонарики, — говорит она: — вы вот сидите сейчас в клубе, перед вами цветочки расставлены, лампочки электрические кругом... а когда-то на этом самом месте кабак стоял... Да... Сегодня смотрю, а посредине бугра электрический столб... А раньше тут что было? Тьма тьмущая, хоть глаз выколи. Только и свету было, что в окнах того кабака. И стоял-то он как раз на дороге, чисто, как мышеловка. Люди с завода идут — все через бугор, а он тут как тут со всеми тебе удовольствиями... А по субботам, как получка, так сам хозяин на крылечко выходил, гостей заманивать...

Да... от получки-то почти что все в его карманах оставалось.

Вот и придумали бабы детей навстречу посылать.

Бывало, закутаются ребяташки в материны кофты да юбки и попрячутся за углами, под заборами, в балке... Как загудит гудок, завоет, чисто, как пес голодный, тут они все сразу выскочат и заранее сами выть начнут. А минут через пять, смотришь, и отцы их по бугру лезут... Да... Теперь, вот, рабочие уходят, небось, часов в семь из дому и приходят засветло, а тогда, особенно зимой да осенью, — на работу при огне и с работы — тоже.

Так все с собою фонарики носили... Небось, помните?.. Утром с фонариками уходили и ночью с фонариками возвращались. Потому, иначе по нашим буеракам пройти нельзя было.

Так вот, значит, после гудка, бывало, весь Богатый Источник как закипит огнями! Тот вверх, тот вниз, тот качается, тот падает, тот совсем на дне балки пропадает... Дети воют, отцов за рукава хватают, отцы ругаются, хозяин кабака в детей камнями швыряет, а фонарики кругом кишмя кишат... сущее светопредставление да и только.

А мой батюшка, покойник, тоже любил в кабачок заглянуть.

Бегала и я его ловить по субботам... Ну, он меня, нужно правду сказать, все-таки стеснялся... Увидит, засопит и мимо кабака пройдет.

Бегала, бегала я его встречать, надоело мне, наконец, по дождю, да по слякоти, да по холодищу мучиться. Так я что придумала? Взяла ему в фонарь да и вставила красненькие стеклышки.

А жили мы как раз напротив трактира, с Овчинниковыми рядом. Небось, знаете?.. Из окна мне весь бугор виден... Сижу я себе в тепле, сухая, в окошечко поглядываю, куда красненький фонарик поплыл, мимо трактира, аль зацепился?

Так и отучили отца от пьянства... Потому что скрыть правду—из-за фонарика не скроешь, а явно в кабак заходить—духу не хватало..

Так что ж бы вы думали?.. По моему примеру все бабы своим мужьям в фонарики цветные стекла повставляли... Кто синие, кто желтые, кто зеленые... и фонари позаказывали кто шаром, кто крестом, кто еще что выдумал...

Хотите верьте, хотите нет, а фонарики эти хоть не всех, конечно, а все-таки многих образумили... Вот вам и фонарики.

И Варвара Федоровна победоносно проходит по сцене под веселое трепыханье ладоней признательных слушателей.

Возле Николая она останавливается и говорит ему потихоньку:

— Зашел бы когда проведать, крестник, или, как тебя звать теперь, не знаю... Маленький был, хоть за прынками бегал, а теперь чем тебя примануть?

V. Живот новопреставленной Людмилы

Покойница лежит посреди церкви. Ее огромный живот, накрытый белым тюлем, выпирает из гроба.

Тусклое пламя свечей веет вокруг запахом тающего воска, душевного ладона и беспощадным запахом разложения. Священник малодуш-

но отступает назад, взмахивая кадиллом. Синий дым заволакивает траурную его ризу, и молящиеся, один за другим, уходят в притвор.

Варвара Федоровна стоит у самого выхода, удерживая дыхание. Почтительная и строгая, она не плачет и не молится. Не отрываясь, она смотрит на страшную раздутую гору, обложенную цветами.

Она думает, что вот это лежит женщина, которая отняла у нее радость и счастье молодости. Она никогда не была красивой. Белобрысая и безбровая, она не умела себя прикрасить так же, как завести порядок в доме.

Сегодня Варвара Федоровна нашла у нее мокриц в умывальнике, клопов в постелях и моль, порхающую по комнате. И ко всему этому она не сумела даже умереть опрятно.

Варвара Федоровна думает, что вот рядом стоит человек, который пренебрег ею когда-то, променяв на груды теперь воняющего мяса.

Седеющие волосы его слабо завиваются вокруг проредевшего темени. Обшитый крепом рукав плохо выглажен, и крохотная неумелая заплаточка на спине вопиет о нищете.

Плечи его сутулятся, кожа под глазами волдырится, на небритых щеках лежат складки тремя рядами, и от прежнего его щегольства остался один белоснежный надушенный платок в руках.

О, этот платок, такой красноречивый посреди сору, доходящего до самого потолка.

Живот новопреставленной Людмилы растет на глазах у всех присутствующих. Священник уже не в силах заглушить кадиллом зловония.

Он пятится к самым дверям.

— «Море житейское, воздвигаемое зря», — задыхаясь и торопясь, бормочет он.

И Варвара Федоровна видит перед своими глазами бушующее море, черное, как кипящая смола, и себя, безжалостно брошенную в самую его пучину. А... так это не она погибла... Это не она раздавлена и убита. Она здорова... Она счастлива... Она несет гордо свою голову...

Три старухи, черные и скрюченные, подступают к ней, шипя и пыжась. Они хотят сказать, что нужно же закрыть гроб крышкой, иначе потом этого уже нельзя будет сделать, но, взглянув на нее, они вдруг опадают. В недоумении стоят они, раскрыв свои злобные рты перед женщиной в черном шелковом платье, в кружевной косынке с нарядными узорами, и с ужасом смотрят на ее лицо, сияющее улыбкой торжествующего, как сама жизнь, злорадства.

Вдруг Варвара Федоровна чувствует, что какое-то безмолвное смятение происходит кругом.

Она смотрит на гроб.

Огромный живот покойницы медленно опускается вниз, как проткнутая резиновая подушка.

Невыносимый смрад, разогретый пламенем свечей, разливается по церкви и, почти теряя сознание, зажав нос, Варвара Федоровна бросается прочь.

VI. «Она»

Варвара Федоровна ползает по полу, вытирая его тряпкой. Она извивается, выворачивается и сплющивается в лепешку, чтобы проникнуть во все уголки за мебелью и под нею. Щеки ее багровеют, волосы липнут ко лбу, она стонет и охает от усилий.

Три ее дочери дома. Они сидят, подобрав ноги, высоко над полом, протянув их горизонтально, так что кажется, будто они пинают носками свою мать.

В комнатах пахнет свежестью и безусловной чистотой. Только что сбрызнутые фикусы и олеандры блестят, как покрытые лаком. Утыканный маргаритками кулич, все еще нетронутый, стоит на месте.

Варвара Федоровна кончает работу. Облегченно ухнув, она уходит, захватив ведро с помоями.

Екатерина, заломив руки над головой, испускает протяжный и жалобный стон.

Стараясь ступать осторожней по мокрому еще полу, Евгения готовит для нее компресс и отсчитывает пахучие капли.

Она донашивает дома старые свои передники с крестом на груди, и в белом покрывале, с лицом бескровным и тонким, похожа на сестру Беатрису.

Ольга болезненно кривит рот сочувствующей гримасой.

— Так значит, — говорит она: — Кармалин будет у нас обедать... Поздравляю вас с этим.

Евгения обматывает голову сестры полотенцем. Полотенце сочится едким раствором уксуса. Екатерина, откинув голову на подушку, закрывает глаза синеватыми прозрачными веками.

— Тише, — предостерегающе шипит Евгения: — Она услышит.

Ольга просовывает голову через полуоткрытую дверь в следующую комнату.

— Не услышит... Теперь она моет кухню... Потом она будет мыть террасу...

— Потом она будет мыть кусочек асфальта возле ступенек...

— Потом она будет выколачивать палкой ковры и дорожки.

— Потом с четверть часа она будет сидеть на крылечке, чтобы хоть немного отдышаться.

— А чем же она будет его кормить? Кукурузной кашей, что ли?

— Нет, кукурузную кашу она будет сама есть и нас кормить ею...

А для него есть кое-что получше... Желаете видеть?

С многообещающими жестами Ольга отпирает буфет, старинный буфет, выложенный грушами и виноградом, точеными из дерева.

Среди бережно хранимой годами посуды, рядом с безвкусными масленками в виде кур и ананасов и размалеванными вазочками, стоит узкая бутылка коньяку с тремя звездочками, золотистого коньяку еще довоенного времени, затейливо вылепленные печенья, коробка с сардинами и какао.

— Пойдите... Это еще не все, — торжествует Ольга. Она убегает в кухню и сейчас же возвращается оттуда с двумя огромными круглыми корзинами.

Она снимает салфетку с одной из них. Пирожки, пухлые и жирные, с краями, защепленными оборочкой, с вытекающим оттуда вареньем, наполняют корзину до самых краев.

Она снимает салфетку с другой корзины. Красные, синие, желтые и фиолетовые яйца и яйца, разрисованные под мрамор, лежат там рядом с куличом, разрезанным на куски.

Рыхлое, слобное, искусно выпеченное тесто благоухает ванилью, и коричневая корочка на нем разузорена белой и розовой глазурью.

— Что это такое? — и Екатерина, встав, с распутившимся вокруг головы компрессом, смотрит на корзины с таким ужасом, как будто там, среди вкусной снеди, копошится ядовитая змея.

— А это Фомина неделя, — притворно невинным тоном отвечает Ольга: — разве вы забыли об этом? Сегодня она пойдет на кладбище вместе с Кармалиным... Она раздаст там все это нищим и отслужит панихиду по умершим.

— Она здорово-таки шикнет сегодня своей щедростью и достатком. Она кохнет-таки лишний раз его сердце...

— Не может быть, — ломает руки Евгения.

— Не может быть, — кричит Ольга: — а это может быть, что она заставляет спать нас на полу, на отрепьях, когда рядом стоят наши кружевные постели?.. А это может быть, что всю жизнь она кормила нас трехдневным супом, пахнущим, как трехдневный Лазарь, и, созывая гостей, тратила на них каждый месяц четверть отцовского жалованья?.. А это может быть, что целые зимы мы жили на Богатом Источнике, как нищие, а летом, перебираясь к отцу на Кармалинскую дачу, мы разыгрывали из себя великокняжескую семью?..

Вдруг Ольга хватает из корзины пирожок и сует его прямо в рот Евгению.

— Ешь! — кричит она в исступлении.

— Ешь! — топчет она ногами и сует другой пирожок Екатерине.

Екатерина вскакивает со своего ложа. Обкапанная вареньем повязка на ее голове, — как окровавленный бинт. Она швыряет пирожок через всю комнату, прямо в угол. И Евгения делает то же.

— Нет! — кричит она страшным голосом, исходящим из самой ее утробы. — Мы не крадем у матери кусок хлеба. Мы зарабатываем его сами, а если нас поразила безработица, мы не станем воровками. Лучше мы обратимся к благочестивому милосердию. Мы все пойдем на кладбище... Мы станем там рядом с калекими, припадочными и слепыми... Мы протянем к ней свои руки, и она положит на наши ладони по яичку.

— Идем! — с восторгом беснующейся вопит Ольга.

— Идем! Идем! Идем! — присоединяется к ним больная и срывает с себя полотенце.

VII. У ворот кладбища

«Приидите ко мне вси труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы».

Каменная стена кладбища высока и толста, как стена города, и золотая надпись на его воротах звучит, как жизнерадостная ирония.

По обеим сторонам дорожки, сейчас же за воротами, нищие комфортабельно расселись на своих раскладных скамеечках.

Они развернули на коленях желтые псалтири с прожженными страницами, и в руках, дрожащих от болезней и от жадности, они держат круглые деревянные чашки для монет.

С перевязанными зубами, с провалившимися носами, с гнойными веками и торчащими остатками недостающих конечностей, открытыми напоказ, они раскачиваются, бормочут молитвы, униженно кланяются прохожим, умильно благодарят и провожают скупых злобными взглядами трусливо косящих глаз.

Со степи дует горячий ветер. Лохмотья копошатся на них, как живые. Пыль шуршит вокруг них. Пыль засыпает их глаза и их нечесанные бороды. Они сплевывают ее друг на друга, кашляя и чихая.

Крашенная скорлупа битых яиц цветет в траве. Белые скатерти, как на столах, разостланы на зеленых могилах.

Стекло бутылок поблескивает на солнце, ликующе желтеют золотые апельсины. Крошки сдобного теста рассыпаны по могильным плитам. Птицы урывками склевывают их.

Сброшенные синие пиджаки, цветистые шерстяные шали и шляпы с розовыми лентами висят на крестах, как на вешалках. Тихо звякает кадило. Изнемогающий от усталости священник, с пересохшим горлом и лицом, засыпанным пылью, возглашает негромкую вечную память, и женщины, торопясь поскорее отделаться, тащат его каждая к себе за полы серой рясы.

Три дочери Варвары Федоровны в платьях белых, как платья покойниц, подходят к воротам кладбища. С окаменелыми, поднятыми вверх лицами, со стиснутыми зубами и глазами, не видящими ничего, они проходят мимо нищих. Нищие кланяются, заученные их жалобы становятся более громкими и почти искренними, но вдруг недоуменно смолкают.

Три барышни в маркизетовых платьях, беленькие и нежные, становятся рядом с припадочными и слепыми.

Нищие косятся на них, дергают друг друга за лохмотья, переглядываются и перешептываются.

Потом они успокаиваются, решив, что барышни поджидают кого-нибудь, стоя у самых ворот. Для приличия они бормочут молитвы, крестятся и вздыхают. Потом закрывают глаза и молчат, покачиваясь, одолеваемые ленивой дремотой.

Варвара Федоровна подходит к воротам кладбища. Черное шелковое платье ее шуршит, как прибрежный камыш; по-старомод-

ному длинный подол взметает дорожную пыль; две тяжелых и емких корзины висят на обеих ее руках, согнутых в локте, глаза ее скромно опущены вниз, и благодатная улыбка расцветает на ее лице, как розовый куст весной.

Кармалин покорно шагает рядом. Понуро висят на нем складки парусинового пальто. Виновато никнет седеющая голова. Пыль залегла в морщинах исхудавшего лица, и его рука, припухшая от страданий почек и сердца, неумело держит посильные приношения усопшим, завязанные в салфетку с затейливым вензелем на одном уголке.

Нищие шевелятся и ерзают на своих раздвижных стульях. Они вытягивают свои руки, затянутые коркой грязи и болячек; их рты наполняются алчной слюной и благословением. Соразмеряя силу своего голоса со щедростью предвкушаемой милостыни, они начинают выть все сразу.

Барвара Федоровна останавливается и окидывает взглядом их смрадную компанию, чтобы рассчитать, по скольку пирожков и по скольку яиц можно дать каждому. Она видит своих дочерей, стоящих последними в ряду, и улыбается им невинной и застенчивой улыбкой.

Невинной потому, что она не подозревает о поразившей их ненависти, и застенчивой потому, что, зная неприязнь дочерей к разного рода ритуалам, считает их появление на кладбище слишком большой и не совсем легкой любезностью.

Она рада, что Кармалин увидит их тут, таких нарядных и таких дружных.

Все еще улыбаясь гордой улыбкой, она оделяет калек.

Но эта ее улыбка приводит дочерей в бешенство. Слепшие и оглохшие в своем безумии, они протягивают вперед просительно раскрытые ладони, узкие и хилые, с прозрачными и ломкими, как леденец, пальцами, с ногтями, которые просвечиваются на солнце, как блестящие, розовеющие стеклышки.

Рядом с руками, раз'еденными сифилисом, искареженными ревматизмом, раздутыми слоновой болезнью, рядом с руками, на которых пальцев больше, чем следует, или вовсе беспальными, Барвара Федоровна видит беспомощные, бескровные, как воск, кукольные ручки своих дочерей и, вдруг, точно прозрев в одно мгновение, она постигает их ужасный смысл.

Ей кажется, что она сходит с ума. Ее рот, разодранный нечеловеческим воплем, страшен. Пирожки падают из корзины к ее ногам, и крик ее остается неслышанным потому, что один из уродов, с головой желтой и удлиненной, как дыня, и с туловищем круглым, как у паука, испускает тоже крик, страшный утробный крик ненасытного животного.

Он бросается к корзинам и выхватывает из них целые пригоршни всякой снеди.

И тотчас же остальные калеки делают то же.

Немые мычат, как коровы, слепые шарят пальцами по лицу Варвары Федоровны, припадочные падают, свиваясь в кольцо, и увлекают ее за собою, и хромые размахивают костылями над грудой копошащихся тел.

VIII. Пять писем

Конечно, Варвара Федоровна привирала, хвастаясь своими дочерьми перед Советкой. На самом деле она давно уже чувствует себя, как птица, которой по ошибке подложили чужие яйца. Когда-то она читала сказку о гадком утенке, и часто мечтала, что у детей ее вырастут, наконец, лебединые крылья.

И вот...

Вернувшись с кладбища в пустую свою квартиру, пустую, как гроб, обитый дешевым рюшем, накрытый белой кисеей с мушками, непрочной и тонкой, как паутина, она бросается лицом вниз на постель, разворачивает подушки, она катается по белым одеялам, кусает и царапает сама себя, она рычит и стонет, она исходит горем до самого дна своей души и встает успокоенная, постаревшая сразу на двадцать лет.

Она не верит в бога уже давно. Но она придерживается религии, так как религия подсказывает ей удобные, красивые, всеми одобренные формы, в которые можно сложить свой труд, радость, печаль и свой досуг.

Она давно уже чует своим здоровым нутром, вопреки всяким мистическим бредням, что ни наказаний, ни наград не следует свыше.

Она часто повторяет любимую свою поговорку: «Всяк молодец своему счастью кузнец», и она так добросовестно ковала свое счастье, не покладая рук, не зная отдыха и не падая никогда духом.

Она всегда стыдилась бедности и скрывала от людей даже свои болезни.

Так чем же заслужен сегодняшний ее позор?

Она хочет знать это.

Она хочет знать, какие чудовища выросли под ее крылом?

Она хочет знать, за какое преступление карают ее эти три выхлуженных девицы?

И, решительно поднявшись, она достает из вазочки, стоящей на комод, ключ, отпирает ящик, в котором ее дочери прячут свою переписку, и там, среди вороха поношенных кружев, пустых флаконов и коробок от конфет, она находит пачку писем, которыми сестры обменивались, будучи в разлуке.

Так, стоя над выдвинутым ящиком, вздыхая и охая, сморкаясь и вытирая слезы, Варвара Федоровна прочитывает пять писем трех своих дочерей.

IX. Богатый Источник

Варвара Федоровна не плачет и не кричит.

Три ее дочери больны смертельной болезнью. Нужно быть спокойной, чтобы спасти их. Нужно готовить лекарства и ставить припарки, а не биться головой об стенку. Она запирает ящик комода и прячет ключ обратно в вазочку.

Черными шторами виснет на окнах ночь.

Она думает о том, где сейчас ее дочери, и ломает руки, собравшись, что им некуда пойти и что теперь они сидят где-нибудь, прижавшись друг к другу, как бездомные.

Она виновата перед ними... Да... Но и они виноваты не меньше ее...

Им, должно быть, стыдно вернуться после того, что случилось, но все же они придут, продрогнув и проголодавшись, на рассвете. Тогда она впустит их, не глядя, чтобы дать им немного оправиться от неловкости. Она приготовит им поужинать заранее...

Вдруг она закрывает лицо руками. Щеки ее пылают. Она царапает их ногтями и вся корчится от стыда. Какой слепой была она всю свою жизнь...

Да и было ли у нее время, чтобы разбираться во всем, как следует?... Она не успела опомниться, как прошли тридцать лет ее замужества и все сорок восемь лет ее жизни, трудной, как крутая лестница на высокую колокольню в пасхальный день.

Пасхальный день оказался днем горьких будней и колокоल्या—пожарной каланчей, откуда она увидела, где горит...

Она вся закипает страшной злобой против того, кто заставил ее дотянуться до последней ступеньки, а сам остался таким жалким внизу.

Любила ли она его? Но как можно любить человека, который вонзил тебе нож в сердце и, улыбаясь, три раза повернул его?

Ревновала?.. Но как можно ревновать к женщине, у которой глаза точно забелены мелом, и зубы, как зерна у больной кукурузы?..

Нет. Она только мстила ему всю свою жизнь. Мстила расчетливо и в то же время так страстно... И как горько приходится ей раскаиваться в том, что она слишком много потратила на эту месть!

Она проверяет все свои дела и поступки с детства до последнего дня и в уме поправляет их, как математик делает поправки в длинном ряде вычислений после того, как найдена ошибка на целую единицу...

Сквозь тюлевые занавески просачивается холодноватый рассвет, и дворник чиркает метлой под окнами, когда она слышит робкий стук и опрометью бросается к дверям, найдя в себе силы крикнуть совсем беззаботно: — «Сейчас, сейчас».

Впустив дочерей, которые входят с теми же неживыми лицами, как стояли на кладбище, она уходит в кухню на свой сундук и оттуда говорит им, как ни в чем не бывало: «Ужинайте... там на столе в столовой».

И три ее дочери видят на столе в столовой бутылку вина, отсвечивающую, как рубин, парадный кулич, разрезанный на куски, открытые сардины, ветчину, варенье и апельсины.

Тогда они все трое садятся и плачут, всхлипывая и сморкаясь.

Варвара Федоровна выходит к ним растерзанная и косматая, красная и жалкая, как побитое животное.

— Ну, будет,—говорит она:—что ж теперь делать, пропадать, что ли?..

И сейчас же выпрямляется и повышает голос, как строгая учительница в школе.

— Вы сами хороши тоже... Если уж были такими умными, что все понимали лучше меня, почему ничего не сказали матери, как следует, вместо того, чтобы шептаться друг с другом по углам и... мать ненавидеть... За что?..—рванув кофточку, уже кричит она:—ведь я же хотела сделать, как лучше... Ведь я же и о вас думала... Ведь я для вас все выгадывала тоже... Да ведь я крошки лишней от вас не с'ела,—желая поразить их в самое сердце, прибавляет она, сложив пальцы щепоткой и униженно склонив голову на бок.

Этот жест переполняет ее жалостью к самой себе, и она рыдает, и три ее дочери тоже рыдают с ней громко и сладостно, как во сне.

— Ну, будет,—успокоившись, опять уговаривает Варвара Федоровна дочерей:—надо же жить как-нибудь.

Комната уже розовеет утренней зарей. В палисаднике поют птицы. Ветка цветущей акации простерта над окном, как благословляющая рука. Где-то стучит телега, и звонкий бабий голос предлагает творогу и молока.

Варвара Федоровна идет на кухню, чтобы умыться. Она подходит к крану и просящим жестом протягивает к нему руки. Легкий стон досады исходит из ее сердца: воды нет в кране.

Она слышит в нем змеиное шипение, какое-то бульканье и хрюканье.

Вдруг кран фыркает, как лошадь, и, обдав Варвару Федоровну брызгами, выбрасывает из себя неровную, прерывистую струю. Какие-то комочки падают на раскрытые ладони, и, содрогнувшись от отвращения, она догадывается об их происхождении.

Она бежит к соседям и там говорят ей: «Да, да... и у нас так же. Водопровод испорчен... фильтры никуда не годятся, вода в реке загрязнена до безобразия... Вчера вечером мы ходили к Богатому Источнику. Только там можно набрать чистой воды...»

Суетясь в волнении, которое почему-то становится радостным, Варвара Федоровна оправляет платье и волосы, хватая звенящие ведра и хочет бежать к Богатому Источнику, но Евгения, пряча от нее виновато косящие глаза, говорит: «Давайте, мы пойдем сами».

Варвара Федоровна подпрыгивает, как девочка, которую обрадовали гостинцем.

— Вместе! Вместе!—она раздает дочерям кувшины, и вот, все четверо, они выходят на улицу и проходят по городу необычайной, торжественной и в то же время чуть-чуть комической процессией.

Под их ногами розовеют булыжники отсветами восходящего солнца, и небо над их головой голубеет в прозрачных облаках.

В хлопотливой и радостной суетне просыпаются кругом дома, и навстречу им идут мужчины, женщины и дети с сосудами, наполненными до краев водой, чистой, как роса.

Варвара Федоровна идет впереди дочерей почти вприпрыжку.

Дужки ее ведер раскачиваются, звеня. Она размышляет про себя о том, как лучше повернуть теперь свою жизнь.

Прежде всего надо продать буфет. Он достался когда-то ей по случаю, почти даром, на самом же деле он стоит дорого.

Нужно дать Кате сто рублей, пусть она расквитается со своим калекой... И что уж там дворяниться?.. Пусть бросает его, коли он так уж ей противен. А там видно будет...

Потом нужно пойти к Советке и хорошенько попросить у Николая о том, чтобы он взял Олю к себе в клуб. Все-таки Оле трудно будет идти к нему на поклон. По правде сказать, ей самой не очень-то это приятно, но... в конце концов, пора забыть, как она дарила ему серебряные пяточки... Не зайти ли ей к ним сегодня же, покамест на этом месте работает Колесниченко Шура, взятая им только на время, потому что она не умеет организовать драмкружка?

А как быть с Женей?.. Конечно, ей нужно сделаться писательницей. Она, например, рассказала в письме о «Коммунистическом Манифесте» гораздо интересней, чем Колесниченко Шура... А если у нее не хватает духу для разговора с редактором, то, может быть, можно поручить это кому-нибудь, другому?.. Сама она, например, сумела бы это сделать прекрасно!..

И, увлекшись, она поворачивается к дочерям и начинает развивать перед ними свои планы.

Они, почти перепуганные ее прозорливостью, непонимающие, таращат глаза, но в эту самую минуту они все видят Севрюговых, мать и дочь.

Купчиха Севрюгова в ярком ситце, по-бабьи повязанная платком, положив руки на расписные коромысла, несет пустые еще ведра, и дочь ее, Маруся, тоже с ведром, цветет рядом с нею лентами и бусами украинского костюма.

— Ага... Матрена Ивановна!—приветствует ее Варвара Федоровна:—пришлось-таки нам с вами опять по воду на Богатый Источник ходить.

— Что ж делать?—кратко кивает головой Севрюгова:—коли придется, так не то что по воду, а и на мойку опять пойдешь, или на мельницу мешки шить, как раньше. Не умирать же с голоду.

— А тебя, Маруся, что это всю на прыщи побило?

Маруся недовольно морщится и отвечает уныло:

— За лицом ухаживать надо, а тут какой уж уход!

— Эх, милая моя,—нараспев затягивает ее мать:—как было нам по семнадцать лет, да как пойдём, бывало, мы к марафетчику, да купим на копейку пару леденцов, да накресим себе щеки... да пойдём в лавку, да купим фунт мелу, да натремся как следует... дак.. и никаких прыщей не было.

Смеясь совсем весело, все они проталкиваются к Богатому Источнику.

Четыре львиные пасти разинуты так, как-будто они готовятся пожрать всех, кто проходит мимо. Каждая из них изрыгает тугую и упругую струю, блестящую серебром.

Струи гремят, как гром, о дно подставляемых ведер, и женщины набирают воду.

Вспененная силой своего собственного падения, свежая, холодная и чистая вода так вкусна, как не бывает вкусна вода ни в одном другом бассейне.

Она мощно толкается о стенки несомых ведер, но женщины усмиряют ее уверенно положенным сверху деревянным кружком, и она остается спокойной в своем вместилище.

Разбросав руки по коромыслам, поднимаются женщины на гору, и гора, как Голгофа, вся в распятых, движущихся по ней.

О, Богатый Источник, скорчась и неловко запрокинув вверх свое лицо, я подставляю рот, пересохший от жажды и рыданий, под твои струи и в неудобстве глотаю живительную твою влагу. Пусть свиньи приходили стадами к тебе на водопой. Пусть коровы оставляли помет на твоём дне. Пусть всадники копытами вороных коней мutilи твою воду... Одетая в железо струя твоя чиста, как сама жизнь...

Лунные заборы

ПЕТР ОРЕШИН

Желты осенние просторы,
Задумалась степная тишь.
Земля моя, ах, скоро ль, скоро
Ты радостью заговоришь?

Твоя осенняя дремота
Меня всего заволокла.
Блестят колеса позолотой
По тихим улицам села.

Качается степным туманом
За лесом мертвенная синь.
Идет пустынным караваном,
Согнувшись, рыжая полынь.

Полынь на выгоне, в душе ли,
В избе, за серым ли плетнем.
Мы все мечтой похорошели
И завтрашним томимся днем.

Но явь жестока и сурова,
Медлительна, как дальний путь.
Полынный звон и свет лиловый
Вливаются в ночную грудь.

Лежу, как прежде, на лежанке,
Гляжу в лачужное окно.
Текут лесные позаранки,
Как мед иль красное вино.

За стенкой медленные споры,
Возня ветров и темных крыш,
И с неба лунные заборы
Спускаются в ночную тишь!



Жилтоварищество № 1331

Разные случаи и заметки, относящиеся к домоуправлению, записанные техническим секретарем оного, Андреем Ивановичем Колосковым, в связи с событиями личной жизни

МИХАИЛ ВОЛКОВ

I

Жизнь человеческая подобна, как говорят поэты, морю взбурленному, человек же — челн, влекомый волею судеб.

Имена, фамилии, национальности оного поэта, также и при каких обстоятельствах мною было сие воспринято,—сказать сейчас не смогу.

Но, применяя вышесказанное к нашему времени,—точность усугубляется.

Хотя, положила руку на сердце, считаю своим долгом сознаться, что я далеко не обожатель стихов.

СТИШКИ, по-моему, — пустословие досужих людей.

Спешу оговориться: это мое личное мнение,—стихами иногда могут увлекаться даже очень и очень значительные лица.

Например: начальник отделения неокладных сборов по нашему ведомству. И собой представительный, да и по чину: не одна звездочка в петлице. По канцелярии ходили слухи, что он собственноручно пописывает стихи и с курьером Степановым по разным редакциям газет и журналов рассылает. Говорят даже, будто бы некоторые были в «Правительственном Вестнике» за полной его подписью и указанием чина напечатаны. И будто бы чрезвычайно поучительного свойства стихи.

Стихам я приписываю и некоторое преткновение в моей служебной карьере.

Как-то случайно, в присутствии всей канцелярии, у меня с языка сорвались вышеприведенные мысли о поэтах.

Для человека, не посвященного в служебные тайны, вероятно, не знакомо слово «глазок».

А это значит, чтобы доказать свое рвение,—требуется при всяком проступке другого немедленно донести по начальству.

Многие чиновники такими приемами достигали видного положения на служебном поприще.

Четверть 12-го я сказал, а без четверти 12 курьер Степанов передает, что начальник неокладных сборов изводит меня требовать к себе в кабинет.

По пути не раз приходили в голову самодовлеющие мысли, что-де означенный начальник, увидя где-либо мое служебное рвение, возымел намерение предложить мне перейти из отдела окладных сборов во вверенный ему отдел с некоторым повышением. Я начал обдумывать полный собственного достоинства ответ, как столь легкомысленное течение мыслей прервано было гневным выражением лица начальника. Молниеносный взгляд, пробежавший по мне от головы до пят, вызвал некоторую лихорадочную дрожь по спине.

— Так и есть—Акакий Акакиевич!

— Извольте, говорю, выразаться поточнее... Вы, повидимому, принимаете меня за какое-то другое лицо... Меня зовут Андреем Ивановичем.

А он, не слушая меня:

— Современный Акакий Акакиевич!... Удивительно, как еще могут такие сохраниться до нашего времени.

Подобная нетактичность, при всем моем почтении и уважении к начальству, возмутила меня до глубины души и заставила несколько возвысить голос.

— Вы изволите издеваться надо мной!.. Позвольте заметить вам, что я у вас в прямом подчинении не нахожусь... А посему соблаговолите выражаться слогом воспитанного человека.

Последние мои слова заставили его вскипеть.

— А-а, вольнодумство!.. Да как ты смел оскорблять моих коллег... Всемирно уважаемого Александра Сергеевича Пушкина, великого русского поэта, имевшего чин камер-юнкера... Тайного советника Василия Андреевича Жуковского... Действительного статского советника Аполлона Николаевича Майкова...

И давай перечислять чины, у меня даже волос дыбом становится: выходит, что ни поэт, то все с таким чином, что самому его превосходительству, начальнику казенной палаты, впору метелкой, приставшие к их мундиру пушинки, смахивать.

Будучи приведен в крайнее смущение, я вынужден был замолчать.

Начальник неокладных сборов в моем же присутствии вызвал секретаря, приказал написать в отдел окладных сборов секретное отношение, что у чиновника (имярек) замечается свободолюбивое течение мысли, а посему иметь за таковым неукоснительное наблюдение.

Результат от сего сказался очень скоро. Чем строже надпись: «секретно», «весьма секретно»,—тем, скорее станет известным всей канцелярии содержание бумаги.

Чиновники на все лады обсуждали мое положение: некоторыми высказывалось, что, по всему вероятно, меня отдадут под суд, другими—просто исключат со службы, только один казначей остался при особом мнении, будучи твердо уверенным в моем повешении. В доказательство привел несколько известных всем случаев, когда чиновники за нарушение присяги, измену отечеству приговаривались к повешению. После его неопровержимых доводов многие чиновники стали от меня, как от зачумленного, сторониться.

Сидя за столом в угнетенном состоянии духа, я молча вожу пером по голове, терпеливо ожидая решения своей участи.

Из всех чиновников всего лишь двое не погнушались мною: недавно определившийся, на правах сверхштатного служащего, молодой человек, с гривой на голове и синими очками на носу, подошел ко мне, заговорил о Великой французской революции, что еще больше откачнуло от меня чиновников. Только заступничество контролера Феофилакта Козьмича несколько сгладило косые взгляды. Сей, великой души, человек прежде всего обратился к чиновникам с следующего рода замечанием:

— Напрасно вы божью коровку травите.

А затем при всех, пожав мне руку, публично пригласил зайти в воскресенье к нему.

Проливая безмолвные слезы, я ответил благодарным рукопожатьем.

В ближайшее воскресенье не преминул отдать своему благодетелю почтение.

Феофилакт Козьмич представил меня свояченице, довольно-таки еще молодой барышне. Он вел со мной продолжительную беседу о великих изобретениях и открытиях человеческого гения. Я слушал с превеликим вниманием, не только подобающим к старшему чином, но и восхищенный образованностью его ума. Слушая, изредка кидал взгляды на другой конец стола, где сидела за хозяйку Лиза (так звали свояченицу). Феофилакт Козьмич был вдов. Почти всякий раз я встречался с черными, подобными сливе, глазами Лизы. А раз даже заметил, как докривились ее, спелого помидора, губы усмешкой.

— Вам не надоело слушать пустяки?

— Какие пустяки?

— Да об изобретениях?

— Что вы... Помилуйте... Я даже очень охотно...

— А хотите я вам мой альбом со стихами покажу?

Не успел я рот для ответа открыть, как уже Лиза протягивает мне надушенный альбомчик. На переплете ландышевая веточка по атласу оттиснута.

Посмотрел: разные посвященья подруг и лично мне незнакомых молодых людей стишки написаны.

Лиза потребовала, чтобы и я память о себе стишками в альбомчике увековечил.

Я был изрядно смущен, так как стихи не мое назначение. По счастью, порывшись в своем архиве памяти, откопал завалявшееся там какое-то четверостишие и, стараясь, по возможности, красивым почерком написал таковое в альбом.

Довольная Лиза захлопала в ладоши.

— Bravo!.. Да вы настоящий поэт.

Феофилакт Козьмич тоже заинтересовался, — поправил пенсне на носу, взял в руки альбомчик. Прочитав, покачал головой.

— Несвойственными вашему возрасту делами, батенька мой, занимаетесь... Это вот им, стрекозам, простительно, куда еще крылышки себе не обожгли... Рассудочность, серьезность и к вышестоящим себя чином почтительность — вот добронравные качества чиновника.

Вероятно, я был краснее той пунцовой розы, под которой напаял стишок.

Феофилакт Козьмич взял меня за пуговицу.

— Не смущайтесь... Всем людям свойственно увлечение, только назначение человека направлять свои страсти в добродетельную сторону... Вот я вам, дорогой, дам одну книжницу прочесть... Такую книжницу, прочтете, после пальчики мм-а...

Для пущей убедительности он, действительно, поцеловал кончики пальцев. Взяв меня под локоть, повел в свой кабинет. Достал из шкафа книжку. Книжка называлась: «Бережливость» — сочинение английского философа Самуила Смайльса.

Очень приятно проведенный день закончился пожатием маленькой тепловатой ручки Лизы. Растроганный столь редкой в моей холостяцкой жизни женской лаской, я немного задержал в своей руке ее ручку, и она не выдернула торопливо, наоборот, я еще заметил, как ее пушистые ресницы задержались в движении.

Прощаясь со мною, Феофилакт Козьмич очень настоятельно советовал ознакомиться с означенной книжкой.

Всю дорогу я не переставал называть Лизу самыми ласкательными именами. Может быть, не раз проговорил и вслух, потому что встречные прохожие как-то испуганно сторонились от меня.

Дома немедленно принялся за чтение Смайльса. С первых же страниц предо мной раскрылась вся суть человеческого бытия, именно в бережливости. Смайльс предостерегает от склонности людей к нерачительному отношению к жизни. Он говорит: «Всякий человек может единолично достигнуть верхов благополучия путем благоразумной экономии. И наслаждаться созданным уютом в семье».

Я тут же дал себе клятву неуклонно следовать заветам Смайльса.

Встретясь со мною в канцелярии, Феофилакт Козьмич осведомился о впечатлении, произведенном на меня книгой, и остался очень довольным, услышав мой восхищенный отзыв.

— Верю, верю, батенька мой, что вы сумеете выполнить долг гражданина своему отечеству и создадите семью, полную благополучия. Что бы там вольнодумцы ни вольнодумствовали против семьи, но я

всегда скажу: семья есть высшее достижение общества... А недостатки в семье всегда ведут к развалу таковой. — Дружески похлопав меня по плечу, он вполголоса добавил: — Счастливые браки лишь и возможны в более зрелом возрасте.

Феофилакт Козьмич ушел на свое место. Чиновники, слышавшие наш разговор, как-то загадочно меж собой переглянулись, кто-то проговорил:

— Старый плутяга старается наградить божью коровку перзрелой свояченицей.

С легкой руки Феофилакта Козьмича меня теперь все называли «божьей коровкой», — на что я не обижался, сознавая, что сие говорится не от злого умысла, а исключительно, чтобы рассеять скуку, навеянную сухостью деловых бумаг.

Часто и сам, склоняясь над бумагами, делал вид, что чрезвычайно ими поглощен, мысленно же развлекал себя, строя планы предстоящей мне семейной жизни. И Лиза всегда была краеугольным камнем в закладке моего семейного очага.

Некоторое время спустя, чиновники стали величать меня уже свояком Феофилакта Козьмича. Я и сам не раз собирался сделать Лизе формальное предложение, кажется, того требовал и вопросительный взгляд ее, да проклятая робость сковывала мой язык. Наконец, твердо решился привести в исполнение в Новый год, когда приеду поздравлять Феофилакта Козьмича с повышением.

К Новому году обычно начальники отделений представляют его превосходительству списки на чиновников, подлежащих по усердию в службе к награждению. Втайне я не терял надежды, что на ряду с прочими также буду отличен. Когда же список вернулся и против моей фамилии вместо производства стоял вопросительный знак, отмеченный синим карандашом, — я был крайне удручен столь несправедливым отношением ко мне начальства.

В мрачном состоянии духа явился я с визитом к Феофилактору Козьмичу по случаю Нового года. Ни дружеское утешение Феофилакты Козьмича, что истинный слуга отечества должен радоваться своей бескорыстной службе, и что добродетель рано или поздно без награды не останется; ни любезность Лизы — долгое время не могли разглядить горестных морщин, легших на моем челе. Между прочим, Феофилакт Козьмич, подмигнув в сторону свояченицы, добавил:

— Лиза и без того вас любит.

Лиза вспыхнула. Желая сгладить вызванную замечанием Феофилакты Козьмича неловкость, я тут же попросил у него руки Лизы, чем еще больше усилил смятение, так как Лиза обиделась, убежала в свою комнату. Феофилакт Козьмич обнял меня, затем показал рукой на комнату Лизы, чтобы я шел ее уговаривать. Несмотря на все мои просьбы, уговоры, Лиза мотала головой, твердила одно, что мое сватовство, без предварительного объяснения в любви, напоминает крепостное право, когда невест выдавали без их согласия. В конце концов,

видя бесполезность своей просьбы, я поднялся с колен, отряхнул приставшую к брюкам пыль. Лиза отняла с одной стороны лица руку и улыбнулась. Я схватил ее руку, начал осыпать поцелуями. Лиза сквозь слезы сказала, что прощает меня, и наградила, как своего жениха, нежным поцелуем.

Революционная гроза застала нас в приготовлениях к свадьбе.

Я по своей натуре совершенно не способен сотрясать миры, да и в помыслах никогда о том не держал, но при первых же раскатах революционного грома не преминул побежать в отдел неокладных сборов. Там застал метавшихся без толку растерянных чиновников. Кабинет их начальника был пуст, так что я не мог выразить бюрократу все мое негодование за перенесенные по его милости лишения. На обратном пути встретившийся Феофилакт Козьмич значительно охладил мой революционный пыл:

— Плохи, батенька мой, дела... Совсем плохи.

Встревоженность уважаемого мною лица заставила меня призадуматься о собственной судьбе.

В канцелярии застал собрание чиновников. Наш начальник окладных сборов произносил речь. До меня долетели лишь заключительные слова его речи:

— Надеюсь, господа, что вы и по свержении тяготевшего над нами деспотизма так же верно и честно будете служить Временному правительству, как прежде служили свергнутому монарху.

Речь была покрыта громкими аплодисментами.

Я протолкался несколько вперед. Увидя меня, начальник протянул в моем направлении руку, с движением, вызывающим на пожатие.

Признаюсь, несмотря на то, что революция во многом уравнила людей, руку начальника я пожал очень нерешительно. Он же резко потряс и, не выпуская моей руки, обратился к присутствующим чиновникам:

— Господа, в лице уважаемого Андрея Аркадьевича...

Кто-то поправил:

— Ивановича.

— Все равно, Ивановича... Я имею высокую честь приветствовать одного из неустанных борцов революции.. Которые, твердо перенося всевозможные причиняемые им царским правительством лишения, неотступно стремились к своей цели, и теперь, благодаря Андрею Ивановичу, мы имеем светлое счастливое будущее... то-есть настоящее...

Снова гром рукоплесканий.

Я был чрезвычайно польщен оказанным мне вниманием. Но и тут не обошлось без завистников. Есть такие натуры, что не могут переносить славу других. Кем-то довольно-таки громко было сказано:

— Ай да, божья коровка!.. В революционеры попал.

Застилавшие мои глаза счастливые слезы мешали видеть нового недоброжелателя.

После начальника пытался было говорить вышеупоминаемый мною гривастый молодой человек, требовавший выборного начала в назначении начальников и отмены чиновных рангов.

Речь его успеха не имела, возмущенные чиновники разошлись, не дослушав. Занятия в канцелярии, по случаю сего торжественного дня, не производились.

Прямо со службы я побежал к Лизе, дабы порадовать ее выпавшим сегодня на мою долю успехом. Она, выслушав подробно изложенные мною происшествия, нежно обняла меня и со свойственным невинности покраснением лица поцеловала. Тотчас же мы отправились на шумные, полные ликующего народа улицы. Идя под руку, как и подобает жениху с невестой, чувствуя у своей груди прижимающийся упругий локоток, я, полный священного трепета, старался осторожно выступать, словно нес в руках благоухающий миром сосуд. На женщину я всегда смотрел, как на нечто хрупкое.

Часто нам встречались знакомые чиновники нашего ведомства с женами и без оных. Они показывали на нас женам, хотя приветливо и улыбались, но в глазах светилась плохо скрываемая зависть. Правда, я и сам поддался свойственной человеку слабости: несколько горделиво отвечал на их поклоны. Мне начинало казаться улыбающееся лицо судьбы, которая теперь должна сопутствовать мне по лестнице отличий.

Дальнейшие события внезапно прервали благоприятно сложившееся течение моей жизни, так что пришлось уже помышлять не о личном счастье, а всеми силами уцепиться за сохранение собственной жизни.

Долгое время я, точно бумага, отправленная не по назначению, блуждал по необъятной России, пока, наконец, судьбе не благоугодно было подшить меня к жилтовариществу № 1331, в качестве члена такового.

II

Однажды, в осеннее пасмурное утро, я сидел у окна своей комнаты, площадью 1,8 кв. саж., и с превеликой скорбью в душе, трясущимися от волнения руками, отпарывал с тужурки форменные пуговицы нашего ведомства.

Означенная тужурка—единственная вещь, оставшаяся из всего моего достояния. Остальное же имущество ушло в памятные для всех годы на поддержание моего оскудевающего живота.

Всякая вещь, пущенная в обмен на хлеб или картофель, предвзрительно окрапливалась обильными слезами. Может быть, моя слезоточивость покажется многим излишней сентиментальностью, но, принимая во внимание, что мое имущество не есть признак наследственного перехода от умерших родственников, также не есть и результат счастливого случая: дарение или какого-либо рода выигрыш, а все

было благоприобретено долгим упорным трудом и бережливостью, — надеюсь, поймут мои чувства.

Неоднократно терпя голод, холод, я все же не решался пустить в оборот сию тужурку, стараясь всеми силами сохранить приличествующий чиновнику вид, ибо втайне никогда не терял надежды, что государственный корабль, проблуждав по неведомым ему морям, рано или поздно приткнется к прежнему берегу.

Покуда я ждал погоды, сей корабль, хотя и повернул нос по ветру, но из прежнего направления взял лишь строгость по взиманию недоимок.

По отношению к недоимкам я не мог считать себя свободным: за мной числилось несколько месяцев неуплаченной квартирной платы и за то же время за освещение. Поэтому домоуправление в любой момент могло воспользоваться предоставленным ему законным правом и в буквальном смысле выбросить меня на улицу.

Столь уважительные причины и заставили меня приняться за тужурку, лишь бы иметь возможность продержаться еще некоторое время, вперед до получения соответствующей моей должности работы.

Хотя ответственным по квартире лицом мне и было запрещено пользование электричеством, но все-таки не утерпел и, с несвойственной мне скрытностью, стараясь не щелкнуть выключателем, пустил свет. Радостно сверкнули украшенные государственным гербом пуговицы. Их блеск напомнил мне о том незабвенном времени, которое теперь кажется вечно цветущим садом.

Каждая отпоротая пуговица с болью отрывалась от моего сердца, торчащие нитки казались разорванными жилами, по которым сочилась моя кровь. С последней пуговицей прерывалась связь с прошлым, настоящее же страшило меня.

Многое, прежде считавшееся верхом человеческого благополучия, рухнуло окончательно.

Лично мне всегда казалась высшим счастьем спокойная семейная жизнь, но и семью в настоящее время затронул тлетворный дух современности.

Мысли о семье неизменно приводили меня к воспоминаниям о Лизе.

С закрытием нашего ведомства Феофилакт Козьмич уехал на юг, где государственное управление пребывало в прежних формах. Вместе с ним уехала и Лиза, дабы пережить там наступающий в центральной России голод. Юг был давно уже покорен, а от Лизы до сего дня не имею никакого известия.

Мои грустные размышления прервались стуком в дверь. Я бросился было к выключателю. Не успел погасить свет, как дверь отворилась, страх мой еще больше усилился: вошел председатель домоуправления.

— Это вы гр. Колосков?

— Так точно.

— Мне вас и нужно.

— Извините, Парфен Сильвестрович... Что же касается квартирной платы, то я...

Председатель перебил меня.

— По другому делу.

Мое лицо вытянулось в вопросительный знак.

Парфен Сильвестрович провел глазами по комнате. Я спохватился своей невежливости, подставил ему стул. Председатель сел, и не столько головой, сколько глазами поблагодарил меня.

— Видите, гр. Колосков, в чем дело. Трудность многочисленных работ по домоуправлению, возложенных на секретаря правления, вынуждают нас пригласить ему в помощь другого технического секретаря. Хотя среди населения нашего дома имеются многие безработные жильцы, но правление остановилось на вас.

С радостным трепетом сердца поблагодарил я председателя за оказанное мне внимание. Председатель поднял кверху указательный палец.

— Но, гражданин Колосков, но!...

Я замер в самой почтительной позе.

— Вы, гр. Колосков, должны ценить оказываемое вам доверие и быть преданным правлению, как собака хозяину... поняли?

В знак неограниченной преданности, я склонил голову. Палец председателя все еще оставался вверху.

— Еще раз но, гр. Колосков...

Почтительная окаменелость не сходила с моего лица.

— Вашей главной обязанностью, помимо обычных канцелярских и других работ, будет еще неуклонное наблюдение за жильцами... При всяких возникающих волнениях, ропоте немедленно осведомлять о том правление... Итак, гр. Колосков, о вашем согласии спрашивать нахожу излишним. При вашем положении мое предложение должно вам казаться даром, ниспосланным свыше... Завтра от секретаря можете принять дела и более подробно узнать о своих обязанностях.

Парфен Сильвестрович поднялся уходить, заметил на столе отпоротые пуговицы.

— Вы, гр. Колосков, из чиновников?

— Так точно.

— Весьма похвально... весьма.

Покачал головой.

— Думали ли, гр. Колосков, что когда придется отличительные от простых людей знаки отпарывать? Да... А я, вот, из неограниченного владельца этого дома сделаюсь просто выборным лицом, которого в любой момент может собрание жильцов отстранить... Довольно-таки сложная жизнь наступила... Оказывается, кем управляешь, тому же и подчинен... Путаная жизнь!

— С божьей помощью, Парфен Сильвестрович, может быть, и распутается.

— Вы верите?

— Никто, как бог.

— У меня нет к тому веры, впрочем... Значит, завтра приступите к работе?

У двери Парфен Сильвестрович немного задержался, посмотрел на меня. Я догадался: открыть ему дверь. Председатель остался довольным, кивнул головой.

Оставшись один, радостно потирая руки, я ходил по комнате. Достал припрятанную от насмешек иконку и, поставив на стол, полными слез глазами возблагодарил руководящий в моей жизни божественный Промысел. Столь радостное настроение мне испортил вошедший в комнату ответственный по квартире. Он зашел узнать, по какой причине я удостоился посещения председателя. Увидя горевший днем свет, он всплеснул руками.

— Да вы, товарищ Колосков, с ума сошли!

— Вы насчет электричества?

— Имейте в виду, что у вас сегодня же будут обрезаны провода.

— Не имеете права!

— А вы имеете право за счет других паразитствовать!

Приняв горделивую осанку оскорбленного человека, я показал ему на дверь:

— Гражданин Петерсон, дверь сзади вас!

— Как вы смеете мне дверь показывать?!

Я повторил:

— Дверь за вами!

— Мы еще посмотрим!

Он хлопнул дверью.

III

Утро следующего дня мною было использовано на приведение себя всеми доступными мне средствами в более приличествующий вид: с тужурки тщательно удалены бензином все заплесневелые пятна, получившиеся от долгого лежания без употребления; с лица бритвой снята вся излишняя поросьль. Когда же я проверил себя в маленькое для бритья зеркальце, остался собой довольным. Только черные пуговицы на тужурке придавали несколько похоронный вид. Радостное волнение, охватившее меня, было настолько сильно, что я вынужден не раз глотками холодной воды успокаивать себя, прежде чем идти к секретарю за принятием дел. Секретарь принял не сразу, только на четвертый или пятый раз оказался дома. Подобное отношение меня возмущало, но впоследствии, узнав его бывшее общественное положение, вполне его оправдывал. Между прочим, секретарь передал мне, чтобы я приходил на сегодняшнее заседание правления, ибо ведение протоколов также входит в мои обязанности. Заседания происходят еженедельно, по понедельникам, от 8 часов вечера до неограниченных часов ночи, в квартире председателя. С частым

биением сердца в груди, в назначенный час я звонил к председателю и с дрожью в голосе спросил у отпершей прислуги: дома ли Парфен Сильвестрович? На что отворившая дверь девка, беспричинно ослабившись во весь рот, сказала:

— Парфен Сильверстович у себя, сичас доложу... Не знаю, примет ли вас.

Ожидая в передней, я платком вытирал вспотевшие руки, так как нет ничего противнее скользкой руки, напоминающей лягушку. Парфен Сильвестрович самолично показался в дверях одной из комнат, выходящих в переднюю.

— Гражданин Колосков, можете войти.

Осторожно покашливая, дабы скрыть волнение, вошел я за председателем в комнату. Вокруг письменного стола, непринужденно развалясь в креслах, сидело несколько человек. Парфен Сильвестрович, усаживаясь на свое место перед столом, представил меня членам правления:

— Господа, рекомендую — новый технический секретарь.

На мой, полный учтивости, поклон, они ответили больше глазами, нежели головой. Председатель показал мне пустующий около стола стул. Господин с проседью в подстриженной бородке, видимо, недовольный тем, что мой приход прервал интересный разговор, продолжал с некоторой раздраженностью в голосе:

— ...А вы, думаете, откуда такие капиталы взялись у господ Морозовых, Разореновых, Губкиных, как не от гуслицких фальшивых ассигнаций. И что же вы скажете, что они мошенники? Ничуть не бывало. Подошел счастливый случай, они его сумели использовать... Всегда и везде важен случай... Да вот мой покойный отец тоже от простого случая дело настолько поднял, что из третьеразрядников сразу в первогильдейские попал. Совершенно неожиданный случай... Открывали купеческий клуб. На открытие были приглашены очень знатные лица, одно было даже сиятельное. Губернатор приветствовал купеческое сословие похвальной речью, как преданных престолу и отечеству граждан. Как и водится, необходимо было выразить наиболее почтительнейшие чувства ответной речью. И, представьте себе, все, как нарочно, оказались еле можаху, один лишь мой отец, хотя тоже в себя вкатил не малую толику, но старик был очень крепким на ногах, так что мог вполне за трезвого сойти. Старшина к нему: «Герасим Петрович, ради бога, не уроните в грязь купеческое сословие, скажите речь». Отец отнекиваться. Какие там речи, когда он, кроме сортов мануфактуры да домашней ругни, ничего иного за всю свою жизнь не произносил. Старшина чуть ли не на коленях умоляет. Делать нечего, пришлось выступать. Вы и представить не можете, дочего ошеломляющей вышла речь. Успех колоссальный. И перед кем еще держал-то: Гавриил Иванович Крестовников—15.000.000 капитала; Петр Васильевич Щукин—10.000.000; Федор Лукич Безменов—8.000.000. Словом, в таком обществе стотысячники нищими казались.

Федор Лукич кричит: «Иди, мил-друг, Маркишев, я тебя расцелую». Отец говорит: «Что мне бабы поцелуй, ты бы вот кредит тышечок на десять предоставил — другое дело». Федор Лукич в раж вошел: «Даю пятьдесят тысяч!» Петр Васильевич 100 тысячами покрыл, а разве Гавриил Иванович свое первенство уступит кому: пятьюстами всех перебил. Отец, не будь тумакон, на другой же день и за кредитом. Гавриил Иванович глаза вытаращил: «Что ты, дескать, в своем уме, чтобы я стал свои капиталы на ветер кидать?». Отец напомнил, свидетели подтвердить нашлись. Гавриилу Ивановичу волей-неволей, чтобы не уронить свое звание, пришлось слово сдержать. Прижать, правда, прижал: цену на товар вдвое увеличил. Хотя отец половину прибыли из обещанного потерял, но когда со всеми по гривенничку за рубль расплатился, все ж кое-что на бедность осталось. Немедленно по погашении векселей открыл фабрику. Прежде в торговом деле всегда можно было развернуться, нисколько не опасаясь, что прихлопнут. Теперь иное дело... И случая не рад будешь... Вот я имею две лавки и никакой нет уверенности, что завтра же не сделаюсь таким же пролетарием...

Он показал на меня. Присутствующие засмеялись. Я обиделся, хотел выразить порицание.

— Товарищ...

Меня тотчас же негодующе прервал председатель:

— Прошу вас, гражданин Колосков, не забываться. Если вас приняли в изысканное общество, так вы и должны вести себя подобающим образом, а не вульгарничать.

Больше всех напал на меня толстый, с бритым актерским лицом, господин.

— Гоните взашей его, Парфен Сильвестрович!

Председатель, постучав мраморным пресс-папье о чернильницу, водворил порядок.

Воспоминания продолжались.

Секретарь правления, гражданин Днепровский, с достоинством, присущим бывшему дворянину, отметил грубость купеческих интересов, вращающихся исключительно вокруг наживы, тогда как дворянство являлось рассадником культуры; в виде примера рассказал про свою благоустроенную усадьбу, с домом-дворцом, построенным на островке у днепровских порогов.

Гр. Госик, предложивший суровые меры для моего наказания, привел несколько примеров из своей антикварской практики, удачной продажи непонимающим купцам за большие деньги поддельных древностей.

Парфен Сильверстович рассказал романическую историю своей женитьбы и получения в приданое за женой дома, которым он теперь только управляет.

После сделанного мне замечания, с указанием определенного места в их обществе, я слушал не совсем внимательно, больше рассматривал обстановку комнаты в 8 кв. саж., обращенной, насколько это

было возможно, при современных условиях, в кабинет. Над письменным столом, на стене — рогатая лосевая голова, на рога положена с длинным чубуком трубка. Под рогами два скрещенных старинных ружья. В противоположном углу тяжелый красного дерева шкаф, сквозь стекло просматриваются золотые переплеты книг. Незаполненные мебелью пространства стен украшены картинами охотничьего, или же изображающего красоту женского тела, содержания.

Было уже около двенадцати ночи, многие члены правления, рассказавшие свои родословные, слушая других, начинали позевывать. Председатель спохватился.

— Итак, господа, кажется, мы все в сборе?

— Да.

Не было еще одного члена правления, гр. Дядиленко, который никогда не присутствовал на заседаниях. И вполне понятно почему: если мне, человеку, принимаемому в лучшем обществе, было не по себе, то каково бы пришлось простому рабочему?

— В таком случае приступим к рассмотрению вопросов, подлежащих обсуждению. Гр. Колосков, огласите повестку дня.

— Обложение в трехкратном размере излишков занимаемой площади против нормы.

Постановлено: утвердить; секретарю приготовить список на всех жильцов с указанием занимаемой ими площади и состава семьи.

Так же быстро решены и остальные вопросы: о сдаче работ по устройству душей в ваннах подрядчику Бутрову; о закрытии парадного хода после 12 час. ночи. Члены поднялись уходить, гр. Днепровский остановил.

— Минутку, господа!.. Дело в следующем: ко мне обратился гр. Палкин из кв. № 6.

— Это который вечно шум производит?

— Он самый.

— О чем же мы будем обсуждать, раз излишней площади не имеется.

— Да он не по поводу площади обращается... У него родился ребенок, так он хочет, по-современному, октябрить его.

— И пусть октябрит, или ноябрит, нам-то до того какое дело!

— Вот именно, что дело. Он просит октябрины произвести правлением публично.

— Ну, уж это в сторону!

У меня в душе тоже поднимался ропот против нововведения: если кто не хочет подчиниться христианскому обряду, так уж лучше совсем ничего не производить, нежели заменять обряд обрядом. Меня тянуло высказать свои соображения, но, утя отношение ко мне правления, промолчал. В чем и не раскаялся. Доселе молчавший Парфен Сильвестрович изложил совершенно иные соображения.

— Господа, напрасно вы так опрометчиво решаете. Чтобы нас не упрекали в отсталости, мы должны быть на высоте своего назначения.

Стремление заменить старые обряды новыми замечается не только в рабочей среде, есть и среди интеллигенции.

Такие веские доказательства председателя заставили в корне изменить уже принятое было решение. Избрали комиссию по устройству октябрин. В комиссию вошли: Парфен Сильвестрович, гр. Днепровский и гр. Госик. Меня хотя в протокол и не занесли, но в силу своих обязанностей я должен был исполнять различные поручения комиссии.

IV

Октябрины предположено произвести в воскресенье. В субботу же с раннего утра до позднего вечера я рыскал по городу, по поручениям комиссии. Вечер и почти половина ночи ушла на убранство комнаты, где должны были происходить октябрины. Комната пустовала из-за производимого в ней ремонта. Я приказал дворнику в спешном порядке убрать леса, так как штукатурился потолок, и вынести весь сор. По стенам ближе к потолку натянули красную материю, с крупными белыми буквами изречения, придуманного Парфеном Сильвестровичем: «Через дом управления к социализму». Пониже материи портреты вождей революции, благополучно ныне здравствующих и отошедших. Портрет одного из вождей покосился, я хотел было поправить, Парфен Сильвестрович строго остановил:

— Не трогайте, висит и так.

При этом во взглядах остальных членов мной замечено какое-то чувство злорадства.

По середине комнаты, из опрокинутого ящика из-под известки, сооружено возвышение, напоминающее церковный амвон. Накрыли ковром, поставили стол, так же покрытый красной материей. Под портретами прибили по две перекрещивающихся еловых веточки.

К назначенному часу, т.-е. в 7 час. вечера, в воскресенье, начали собираться жильцы. Они были предварительно оповещены повестками и обходом дворника по квартирам. Рабочие в куцах, фабричного масового изготовления, пиджачках, с подогнутыми низками брюк, взятых по рабочему кредиту. Большинство из них в русских косоворотках, некоторые в серых туалденоровых фантазиях, с галстучками. Все выбритые, вымытые и трезвые. Интеллигенция, собравшаяся из-за любопытства, не имея праздничного вида, наоборот, всякий преднамеренно своим костюмом подчеркивал непричастность к совершаемому торжеству. Конечно, дамы не в счет, они рады были всякому случаю, чтобы разрядиться во всю. Пошумливали шелка, вспыхивали не прожитые еще бриллианты в ушах и на руках. На лицах матовая бледность пудры. Пудрой прикрыта и краснота обветревших лиц работниц. Они в сшитых самими по журналу неуклюжих платьях.

Парфен Сильвестрович в черном, вполне приличествующем званию председателя, костюме из английского шевиота, несколько полного покроя, соответствующем снова начавшему выступать брюшку.

Остальные члены правления тоже имели сему случаю торжественный вид. На рукаве гр. Днепровского красная лента с надписью: «Распорядитель».

Собравшиеся граждане, расположившись в разных углах комнаты, смотря по знакомству и общественному положению, небольшими группами, — шумно беседовали. Беседа, главным образом, касалась настоящего праздника. Интеллигентная часть жильцов возмущалась неуместным, по их мнению, либерализмом правления. Рабочие же отзывались весьма одобрительно, видя в том победу своего класса.

Загремел барабаном прибывший отряд пионеров. Граждане расступились ближе к стенам. Отряд промаршировал вокруг стола, затем, потоптавшись на месте, стал по команде в две шеренги. Председатель приветствовал отряд словами:

— Будь готов!

На что юные пионеры дружно вскричали:

— Всегда готов!

Парфен Сильвестрович приказал гр. Днепровскому приступить к производству церемонии. Гр. Днепровский, не медля ни минуты, попросил граждан выйти из комнаты. Граждане затем были расставлены по обеим сторонам лестницы, вплоть до комнаты гр. Палкина. По середине, громяхая барабаном, прошел отряд пионеров и, с тем же громяханием, вернулся обратно, сопровождая ребенка, несомого гр. Палкиным. Сей новорожденный гражданин, завернутый в розовое одеяльце, потревоженный барабанным боем, выражал свое неудовольствие жалобным писком. Парфен Сильвестрович, стоя на возвышении, впереди стола, напоминал картину Симеона-богопримца, по обеим сторонам окружали его остальные члены правления. Гр. Палкин внес ребенка, за ним комнату наполнили остальные граждане. Председатель принял ребенка и, торжественно воздев его кверху, произнес:

— Товарищи, в нынешний знаменательный день я имею счастье приветствовать нового гражданина, нового борца революции. Может быть, недалек тот час, когда надменные западные капиталисты испытуют то же самое, что перенесли и русские...

Голос Парфена Сильвестровича дрогнул. После небольшой остановки, он снова продолжал. Его речь слушалась насупленной интеллигенцией, вытянутыми лицами рабочих. Он настолько увлекся своей речью, что не замечал, как растрепавшийся ребенок болтал ножками из пеленок. Вдруг послышался звук, напоминающий рвущийся новый ситец... Председатель оборвал речь, опустил ребенка, и держа его одной рукой, другой же стал вытирать пеленкой бортик пиджака. Дружный смех всех присутствующих очень обидел Парфена Сильвестровича. Он протянул к гр. Палкину ребенка:

— Возьмите вашего неприличного ребенка.

В группе интеллигенции некий, невысокого роста, довольно пожилой гражданин, со щетиной давно небритого лица, громко произнес:

— Сколько ни октябрь, а все из хама не сделаешь пана!

На что гр. Дядиленко обиделся:

— Сам-то ты лысая мараказия!

Старый гражданин поднял красноватый нос:

— Вот как, публичное оскорбление! Призываю вас всех, граждане, в свидетели.

— Плевать я на тебя хочу!

Празднество приняло неожиданной конец.

Парфен Сильвестрович поспешно вышел из комнаты, вслед за ним растеклись и граждане.

V

Злостные неплательщики — постоянное зло всех домоуправлений.

Председателем, через секретаря правления, дано мне распоряжение срочно приготовить к заседанию список недоимщиков по квартирной плате, с выделением наиболее злостных в особую графу. Просматривая квартирные ведомости, я мысленно возблагодарил господ, избавившего меня от позорной сей графы.

Наиболее злостными оказались:

Гр. Орубной, проживающий в кв. № 9. Занимает комнату площадью 2,3 кв. саж. Имеет задолженность за 5 мес. По роду занятий: свободная профессия — поэт.

Гр. Горохольская, кв. № 7, занимаемая площадь 3,2 кв. саж. Без определенных занятий, долг за 4 мес.

Гр. Буткевич, проживает в той же кв., площадь 3,5 кв. саж. При нем малолетний ребенок. Средства к существованию: получаемые с жены на ребенка алименты. Квартирная плата не вносилась в течение 3 месяцев.

И другие...

На заседании правлением было уделено значительное время на обсуждение по вопросу о недоимщиках. Большинство членов правления склонялось к возбуждению против злостных неплательщиков судебного преследования, ссылаясь на то, что снисходительность может оказать пагубное влияние и на аккуратных плательщиков. Председатель решительно восстал против применения судебного воздействия и советовал прибегнуть к устрашающим мерам, не выходя за пределы дома. Тем более, что большинство неплательщиков интеллигентного происхождения. В виде опыта Парфен Сильвестрович предложил на первое время в парадном вывесить художественный плакат ниже следующего содержания: изображен безупречный в санитарном и других отношениях, содержимый хозяйственным домоуправлением, двор, на нем в беспорядке разбросанная мебель, некоторые вещи умышленно поломаны, тут же на табуретке горящий примус, около него, грея иззябшие руки, стоят скорченные от холода, выселенные из комнат неплательщики. Сверху на них одновременно сыплет снег и льется

дождь. По сторонам два здания: одно разрушающееся, другое только что отремонтированное. Из окна отремонтированного выглядывает упитанное лицо аккуратного плательщика, рукой он показывает на надпись под убогим зданием: «По вине злостных неплательщиков». Нижняя часть доски остается свободной для занесения фамилий жильцов, не внесших своевременно квартирную плату. Предложение председателя принято единогласно.

Мною незамедлительно выполнено постановление правления. Через два дня в парадном уже пахла свежей краской доска, с соответствующим рисунком и тщательно выведенными фамилиями вышеупомянутых злостных неплательщиков. И мудрый сей способ утешения не замедлил оказать свое действие.

В неприемные часы в мою комнату ворвался, именно ворвался без предупреждения, свойственного воспитанному человеку, тот же лысый гражданин, что на октябринах нарушил благопристойный порядок, приличествующий интеллигентному обществу. Брызжа во все стороны слюной, он беспокоил моих соседей криком:

— Как вы смели мою фамилию на позорной доске выставлять?

Потрясая пред моим носом имеющейся в его руке тростью, он продолжал кричать:

— Если вы благородный человек, сегодня же присылаю вам мой вызов... Что вы скажете на это, если я вас в пяти шагах прострелю?.. Если же вы хамского происхождения, то я...

Пригнувшись над занесенной над моей головой палкой, я имел благоразумие перейти за стол и оказался вне досягаемости трости.

— Успокойтесь, гражданин, поймите, что я всего лишь выполняю возложенные на меня обязанности.

— А-а, моя, мол, хата с краю, ничего не знаю... Нет, врешь, подлец!.. Я не стесняюсь называть вас подлецом... Потому что до вас подобной пакости не было... Назвав вас подлецом, я считаю себя удовлетворенным... Теперь приступаю к цели моего посещения. Прошу у вас разрешения самолично стереть с позорной доски мое ничем не запятнанное имя.

— Не могу.

— Но я вас прошу, как благородный благородного человека.

— Я нахожусь в зависимости распоряжений председателя.

— Да разве толстосум Парфен своей купечкой натурой может понять просьбу благородного человека.

— Но я же, при всем моем желании, ничего не могу поделать

— В таком случае извиняюсь... Будем знакомы, подполковник царской службы Буткевич... Честь имею.

Прихрамывая, он удалился из комнаты.

Не успел я привести в порядок свои расстроенные чувства, как в комнату вкатилась дородная, полная дама.

— Гражданин секретарь, я вас умоляю... я вас умоляю...

Я уже без объяснений знал о причине прихода.

— Обратитесь, гражданка, к председателю.

— Я же при первой возможности все заплачу.

— Обратитесь к председателю.

— Вы хотите вашей проклятой доской меня... Меня в гроб уложить... Так знайте, если из этого дома меня вынесут бездыханным трупом, в причине моей безвременной смерти будете виновным вы... вы... вы...

Она, задыхаясь от волнения и толщины, тяжело дышала, подобно рыбе, вынутой из воды, выглатывая слова. Принес из-под крана стакан холодной воды, ляская об стекло зубами, она отпила несколько глотков, успокоилась. Держа стакан во время питья, мне пришлось также поддерживать и ее, чтобы не свалилась со стула. Под рукой получалось впечатление, как-будто я держал только что взбитую пуховую подушку. Теплота, излучаемая через материю ее телом, натолкнула меня на воспоминания о Лизе...

Я не могу видеть слез страдающей женщины и всегда готов пойти на всевозможные уступки, могущие осушить их.

— Пойдемте, гражданка, я за вас испрошу разрешения председателя.

Она с живостью, несвойственной ее толщине, поднялась со стула.

— Если вы будете так любезны.

Председатель принял нас очень холодно.

— Гражданин Колосков, вы, как техническое лицо, обязаны беспрекословно исполнять даваемые вам распоряжения, не вдаваясь в рассуждения таковых. — Затем, обратясь к гражданке, произнес: — А вас, мадам Горохольская, по вашему поведению давно бы уже следовало выселить из дома.

И, не выслушав: от меня об'яснений, от мадам Горохольской просьбы, повернулся к нам спиной и ушел.

На лестнице мадам Горохольская протянула мне пухлую ладонь, улыбнулась.

— Благодарю вас, гражданин Колосков, за ваше участие во мне. И плавно поплыла вниз по лестнице.

Вскорости почти всеми интеллигентными жильцами задолженность была погашена. Ошеломленная интеллигенция так боится гласности. Рабочее же население на доску отозвалось иначе: тыча пальцами в жирную личность на доске, они говорили:

— Эва, как буржуи за себя агитируют, чтобы им дома отдали обратно.

Так как гражданин Отрубной не вносил квартирную плату и после появления своей фамилии на доске недоимщиков, то я вынужден был представить ему выписку из протокола правления за № 43, пункт 9-й, гласящий в постановлении применение строгих мер к недоимщикам. Из расспросов ответственного квартиронанимателя я узнал о крайне бедственном положении сего гражданина, который ни в какой должности по службе не состоял, занимаясь исключительно писанием стихов. Подобное занятие в настоящее время не только

считается ненужным, но и всячески искореняется. Давление оказывалось и в отношении квартирной платы: поэты отнесены к лицам свободных профессий, поэтому и облагаются независимо от их заработка, наравне с людьми, имеющими основательные доходы. Бедность гражданина Отрубного подтвердилась и обстановкой его комнаты, состоящей из стола на козелках, табуретки, да парусиновой койки.

Гражданин Отрубной отбросил в сторону писавшийся стишок, взял выписку, пробежал ее глазами, тупо уставился на меня, по всей вероятности, еще не пришел в себя от обуявшего творческого угара. Я словесно повторил ему постановление правления. Он понял, враз спустился с облаков на землю: свирепо стукнул кулаком по столу.

— Скажите, товарищ, есть на земле справедливость?!

Вопрос его был для меня неожиданным, я не мог ответить. Он продолжал:

— Было время, когда люди, опьяненные революцией, захлебывались восторженными моими стихами. Затем люди устали, им стал неприятен мой рьяный революционный крик, я стал не нужен... Товарищ, если вам придется стать поэтом, то послушайте моего совета, воспевайте всегда людскую пошлость... Порывы временны, пошлость же бессмертна, тогда вам не придется испытать мою горькую участь... участь ненужной, выброшенной тряпки... Я знаю, что придет время, хватятся меня, но... тогда будет уже поздно... Поздно, я говорю... Понимаете, поздно!

— Ваше положение понятно и без слов.

Он махнул рукой.

— Вы не поняли... Я не о том говорил.

Опасаясь его намерения пуститься в раз'яснения, я предупредил.

— Гражданин Отрубной, распишитесь в получении выписки.

Он расписался. Напомнив ему на прощанье еще раз о последствиях неплатежа, я ушел. Иначе не дожидаться бы и конца: все сочинители имеют слабость поговорить о себе.

VI

Жена гражданина Палкина, вернувшись из родильного приюта, была крайне возмущена произведенными ребенку, вместо христианского крещения, нечистыми, по ее мнению, октябринами. Оказалось, муж устроил октябрины произвольно, без ее на то согласия. Гражданка Палкина вскоре окрестила ребенка. Мне пришлось в прописной книге исправлять, с оговоркой, имя ребенка из Революции в Дарью. Я нисколько не сердился за помарки в книге. Опрятность в книжных записях, выработанная долгой привычкой, осталась у меня навсегда. Наоборот, мной даже было выражено гражданке Палкиной одобрение, что она, несмотря на всеобщее отрицание религии, не следует примеру многих верующих, но старающихся казаться из-за малодушия неверующими. Гражданка Палкина, польщенная моей похвалой, сказала:

— Как же без бога быть? Поешь ли, попьешь ли, надо же кого-нибудь поблагодарить.

Из ответа мне стала ясна вся поверхностность ее веры. Лично я видел в религии глубокий смысл, являющийся поддержкой падающего в дни уныния духа.

Гражданину Палкину религиозность жены была не по нутру, он всячески стремился поколебать ее веру. Их соседями по квартире неоднократно заявлялись жалобы на нарушение тишины, необходимой при отдыхе от умственных занятий. В прописной книге гражданин Палкин по роду занятий числился продавцом в молочной Сельско-союза. Остальные жильцы квартиры № 6 состояли из служащих разных учреждений.

Я составлял для фининспектора ведомость по исчислению доходов граждан, проживающих в сем доме. Работа требовала большой внимательности, но сосредоточиться не давали частые отрывы для текущих дел. Занес в ведомость неопределенность доходов гражданина Отрубного, который, невзирая на его бедность, облагается налогом наравне с торгующими по разным разрядам.

Из шестого номера прибежал взволнованный жилец.

— Андрей Иванович, ради бога, уймите гражданина Палкина!

Из отворенной двери квартиры доносились шумные звуки. Я вынужден был оставить свою работу и пойти расследовать о причине таковых.

Такая уже неблагоприятная должность секретаря.

Вежливо постучал в дверь. Из комнаты послышался грубый голос гражданина Палкина.

— Чего там стучать, входи!

Вошел. Комната площадью 5 квадратных сажен. За столом, спиной к окну, сидит гражданин Палкин, на кровати — жена, кормит грудью ребенка. На столе жестяной чайник, налитые чаем стакан и чашка. Гражданин Палкин с книжкой в руках, в зубах цыгарка. После обычного приветствия, я обратился к нему с замечанием:

— Гражданин Палкин, так же нельзя... После 8-часового рабочего дня всякий гражданин Советской Республики имеет право на заслуженный отдых. Вы же, лишая других отдыха, подрываете рабочие силы в ущерб государству и тем совершаете явно контрреволюционный поступок...

Он же передразнил меня:

— Революция, конституция и так далее... А вот вы попробуйте в ее дурью башку вложить научные обоснования, что она имеет происхождение от обезьяны... Целый вечер толкую, толкую и на все ноль внимания... После этого камень и тот голос возвысит...

Жена огрызнулась.

— Сам-то обезьян... Вылитый обезьян.

— Видите, товарищ Колосков, как трудно на женскую логику воздействовать... Ты ей науку, а она тебе оскорбление.

— Вам, гражданин Палкин, советскими законами не воспрещается от любого зверя свое происхождение производить, но другим людям, созданным по образу и подобию божию, свои безбожнические идеи навязывать не можете.

Гражданин Палкин уставился на меня изумленными глазами:

— Как, и вы в невежественном мировоззрении пребываете?

Жена так и подпрыгнула.

— Что, остолоп, дождался!.. Товарищ Колосков не тебе дураку чета и то в сотворение мира господом верует.

Положила ребенка на кровать, достала из комода икону.

— Посмотрите, товарищ Колосков, что над иконой негодяй наделал.

Взглянул — ужаснулся: лико вдоль и поперек исчеркано.

Говорю:

— Поступок неблагоразумный.

Он перелистал книжку, открыл на какой-то картинке, протягивает мне.

— Видите, товарищ Колосков, насколько скелет обезьяны с человеческим сходство имеет.

— Мне сейчас некогда скелеты рассматривать... Прошу вас, гражданин Палкин, вести себя подобающим сознательному человеку образом. А вам, гражданка, не взбраняется икону поставить на надлежащее ей место.

Жена принялась устанавливать икону в передний угол.

Гражданин Палкин пришел в ярость.

— Не позволю! — заорал он, грохая кулаком по столу.

— Не забывайте, гражданин, что в Советской России установлено свободное вероисповедание.

— Никогда не допущу, чтобы мои товарищи меня на смех из-за жениной глупости поднимали.

Приняв официальный вид представителя домоуправления, тоном, не допускающим возражений, я произнес:

— Предупреждаю, гражданин, что домоуправление может к вам, как к беспокойному человеку, применить соответствующий § устава, по которому будете подлежать немедленному выселению.

Поддерживая тот же вид, я оставил граждан Палкиных. В коридоре успокоил жильцов:

— Впредь больше не повторится.

VII

Многосложные обязанности, связанные с должностью технического секретаря, всецело овладели моим вниманием и тем отвлекали меня от грустных воспоминаний о Лизе.

В мои обязанности входила, помимо канцелярской работы, распоряжений дворнику, наблюдения за домом, и такая, которая бывает

принадлежностью дамского доктора, парикмахера, — это выслушивание женской болтовни. В приемные дни и часы (понедельник, среда, суббота, от 6 до 8 часов вечера) мне приходилось запастись особым запасом терпения.

Для приема квартирной платы и по другим надобностям жильцов, внизу, направо при входе в парадное, отгорожена фанерой небольшая конторка.

Имея в настоящее время большее соприкосновение со многими людьми, нежели при нахождении меня на службе в бывшем ведомстве, я мог лучше узнать разнообразие человеческих характеров. Признаюсь, на современные взаимоотношения людей я взирал с некоторым ужасом, видя в том более звероподобные, нежели человеческие чувства. В особенности, это проявлялось при освобождении в доме жилплощади. Каждый из ожидающих комнаты готов был другому перегрызть горло. Самые грязные, отвратительные измышления ушатами выливались друг на друга. И недостойные уважающего себя человека подхалимствования пред правлением, чтобы заслужить расположение такового. Не имея родственных связей с правлением, получить комнату представлялось гораздо труднее, чем выиграть крупную сумму на облигации. Поэтому верхом человеческих желаний данного времени была жилплощадь.

В один из приемных дней, дежуря в конторке, я выслушивал очередные излияния принесшей квартплату гражданки. Покуда отыскивал в ведомости следуемую с нее сумму, мне уже стало известно о многих злодействах, причиненных ей ужасными соседями, когда же выписывал квитанцию, узнал об удивительной кротости самой гражданки... Правда, она в отместку соседям, коптящим ее примусом, держит у их двери ведро с помоями, но ведь с такими людьми, будь хотя ангелом небесным, и то не хватит терпения. Дальше я знал, что воспоследует рассказ о том, что она ест, что пьет. Рассказ гражданки оборвали встревоженные голоса, раздавшиеся на лестнице.

— Андрей Иванович!.. Андрей Иванович!

Подняв голову, я увидел на верхней площадке ответственного квартирнанимателя квартиры № 9, махавшего мне рукой.

— В чем дело?

— Скорее... скорее... несчастье!

Бросив ведомости в стол и не извинившись пред гражданкой, я, спотыкаясь, побежал по лестнице. В коридоре упомянутой квартиры столпились все граждане, проживающие в ней. Они, отталкивая друг друга, заглядывали сквозь замочную скважину в комнату поэта Отрубного.

— Что там?

Мне замахали руками.

— Тсс...

Шепотком спрашиваю смотревшего:

— Что, как?

— На шею петлю надел.

— Чего ж он копаётся!

— Шш... На дверь оглянулся.

— Не передумал бы!

— Нет, только голову руками зажал... С табуретки спрыгнул.

— Ай!.. Удавился!..

Я бросился расталкивать граждан от двери:

— Кто удавился?!

Заглянул в скважину.

— О, ужас!

Поэт Отрубной, вися на веревке, такие несуразные движенья руками и ногами выделяет. Дернул за ручку, — дверь заперта.

— Помогите, граждане, взломать дверь.

На меня со всех сторон уставились умоляющие глаза.

— Товарищ секретарь, может быть, несколько минут обождать?

Ответственный по квартире взял меня под руку:

— Я советую, дорогой Андрей Иванович, не спешить. Сами знаете, как страдал бедняга от своей пагубной страсти к стихотворству... Пусть успокоится... Так ему будет лучше...

Возмущенный бесчеловечностью, я хотел ему очень резко ответить... Вдруг почувствовал щекочущую ухо шелковистость волос, а в самое ухо приятный голос, связанный с молодостью и красотой, шептал:

— Андрей Иванович, умоляю вас... обождите...

В своих предположениях я не ошибся, обернувшись, увидел милостивое личико очень молоденькой барышни, недавно прописанной на площадь гр. Зекс, в качестве временной жилицы.

Меня охватило раздумье.

Юная гражданка почти прижалась ко мне. Правое плечо ощущало упругость груди. Слышались удары сердца! Ухо обжигало дыханье.

— Андрей Иванович, отойдите в сторону... У меня есть для вас небольшой секрет...

Встретясь с ее глазами, я...

Тут как-то сразу кольнуло у меня в сердце, по спине пробежал озноб.

— Посторонись, граждане!.. Скорей ломать дверь!.. Дайте топор!.. Позвоните в милицию!..

Никто не трогался с места.

— Вы хотите, чтобы вас привлекли к ответственности?!

Опасаясь ответственности, граждане рассеялись. Ответственный принес из кухни кочергу. Подсунув под дверь конец кочерги, сломал крючок.

Поэт уже не бился, руки беспомощно повисли вдоль туловища. Все тело длинно вытянулось. С высунувшимся языком он имел страшный вид. Любопытство снова привлекло граждан. Женщины в ужасе

закрыли лицо руками. Я перехватил веревку, поэт глухо брякнулся на пол. Приехала карета скорой помощи. Пришел из милиции участковый для составления протокола. На площадке перед квартирой собралось почти все население нашего дома. Едва я показался на площадке, как со всех сторон предо мной замелькали заявления на освободившуюся при таких печальных обстоятельствах, комнату.

Вечером состоялось исключительное заседание правления, посвященное определению комнаты нуждающимся в таковой. Гр. Днепро-вский настаивал, что больше всех имеет право на комнату племянница гр. Зекс. Парфен Сильвестрович имел намерение поселить в ней своего племянника. Гр. Маркишев требовал для сестры своей жены. Между членами произошел довольно-таки крупный разговор. А затем так принялись друг друга аттестовать, что мне даже казалось удивительным: почему они в домоуправлении, а не в тюрьме.

Зазвонил телефон, гр. Днепро-вский взял трубку.

— Слушаю?.. Да!?

Не дослушав, бросил трубку, обернулся с искаженным от злобы лицом:

— Идиот!

Председатель резко спросил:

— Кто?

— Вот!..

При этом показал на меня, чем привел меня в немалое смущение от незаслуженной обиды и оскорбления.

Гр. Днепро-вский добавил:

— Не мог обождать!

— Жив?!

Председатель напомнил:

— Вы не должны, гр. Колосков, забывать, что вы всего лишь техническое лицо, которое...

— Да что мы с ним много церемонимся... Взять другого и только.

На этом заседание и закончилось.

Впоследствии и среди жильцов, встречавшихся мне, я замечал недружелюбство к себе.

VIII

Благодаря неустанным заботам домоуправления, граждане, проживающие в нашем доме, могли пользоваться достижениями человеческого ума. Тогда как соседние жилтоварищества все еще отапливались дровами, у нас уже давно работало паровое. О преимуществах парового пред дровяным — говорить не приходится. Только разве самый недобросовестный человек, окончательно потерявший совесть, может возразить против.

В самый разгар холодов случилось несчастье: лопнул паровой котел, потребовался значительный ремонт. Представлено несколько

смет от частников и кустарных артелей. Принята смета подрядчика Дровяного в сумме 2.234 руб. 95 коп., в каковую входит проверка всей системы отопления и смена дымогарных труб.

Собрать с жильцов такую сумму одновременно не представлялось возможным, правление взяло ссуду в банке, сроком на 6 мес. Все же и этот срок требовал значительного повышения квартирной платы. Срочно созвано общее собрание жильцов. В докладе председатель изложил о денежных затруднениях, и указал единственно возможный выход из них лишь при несении жильцами некоторой жертвы, а именно необходимости сжаться в жилплощади, дабы иметь возможность освободившихся несколько комнат предназначить для продажи состоятельным лицам. Это предложение весьма неохотно проголосовалось «за». Более охотно поддержалось: устройство в подвальном этаже новой квартиры и переселения в нее части жильцов. Намечено использовать помещение рядом с котельной. Переселиться туда предложено рабочей части жильцов, для которых не так важен парадный ход. Рабочие на это ответили взрывом негодования. И только после заманчивого предложения понизить для них квартирную плату на 50% согласились.

Ремонт отопления и отделка квартиры произведены быстро. Рабочие начали перебираться. Понятно, без слез и ругани при этом дело не обошлось. Гр. Палкин перебираться наотрез отказался. Против него правление давно точит зуб, подыскивая причину для выселения. С уплотнением интеллигенции тоже произошло немало хлопот. Больше всех кипятился гр. Буткевич: ему предложено было перебраться во вновь отделанную из части коридора комнату, площадью 2,8 кв. саж., имевшую одну из стен смежную с ванной. В конце концов, упорство гр. Буткевича было сломлено, — он перешел в назначенную ему комнату. Переселение закончилось. Граждане успокоились, многие, вначале не соглашавшиеся, теперь выражали правлению знаки благодарности. В числе таких оказался и гр. Буткевич. Он почему-то в переселении считал меня главным виновником, долгое время при встречах со мной отворачивался в сторону. Затем гр. Буткевич снова начинает раскланиваться. И не так давно, при взносе квартирной платы за просроченный месяц, пригнулся через стол, обдавая меня зловонным дыханьем, исходящим от гнилых зубов, зашептал:

— Если вы, Андрей Иванович, будете свободны в пятницу... Или, впрочем... Да, в пятницу, вечерком заходите ко мне... Я вам кое-что покажу...

Задетый любопытством, я остановился писать квитанцию.

— Что такое?

Он подмигнул, прищелкнул пальцами:

— Нечто особенное.

Я пожал плечами.

Он взял квитанцию, в дверях обернулся.

— Смотрите, не забудьте.

После его ухода я заметил в квитанции описку: итог проставлен без включения пени за просрочку. Хотел вернуть, да зная его скаредность, не решился. Вообще сей гражданин, несмотря на всю его напускную важность, производил на меня отталкивающее впечатление.

IX

Остаток из сумм, полученных от продажи комнат, правление постановило употребить на мелкий текущий ремонт в квартирах. Для определения требуемого ремонта была образована комиссия. Осмотр начали с подвального этажа. В квартире стоял затхлый запах, исходящий от непросохшей еще штукатурки, свет загораживался выступавшей пред окнами стеной соседнего домовладения. Перегородки между комнатами разошлись, из щелей выглядывали всевозможные бесплощадные жители. Жильцы требовали штукатурки перегородок. Комиссии пришлось продолжительное время потратить на уговоры разволновавшихся жильцов, ссылаясь на то, что зимой штукатурка долго не просохнет, и только обещание обязательно произвести работу весной немного удовлетворило жильцов. Комиссия постаралась поскорее выбраться из подвала. Вслед им неслись не совсем приятные напутствия:

— Жулики, обделали нашего брата!

В квартирах верхних этажей все находилось в порядке. Мелкие ремонты производились самими жильцами. Зашли в комнату гр. Палкина, у него требовалось вставить стекло во внутреннюю раму. Я остался снять размеры нужного стекла. Случайно глянул в угол: иконы не было. Гр. Палкин заметил мой взгляд.

— А что, товарищ Колосков, вы все еще пребываете в религиозном состоянии?

— Это мое дело.

— Жена уже больше не верит.

Он отворил дверь, крикнул в коридор:

— Катя!

Вытирая руки передником, вошла жена.

— А-а, товарищ Колосков, здравствуйте.

— Катя, докажи тов. Колоскову, что ты действительно отреклась от религии.

Гр. Палкина с кошачьей гибкостью выдвинула из-под кровати ящик с каким-то хламом, достала оттуда икону. Затем плюнула на нее и швырнула обратно в тот же ящик.

Чрезвычайно тем довольный, гр. Палкин обратился ко мне:

— Придет время, и вы, товарищ Колосков, освободитесь от этого заблуждения.

Вне себя от ужаса я выскочил из комнаты. Комиссию нашел уже в следующей квартире.

X

Натуре человеческой свойственна тяга к неизвестному.

Старый плутяга, — иначе я не могу назвать его, — затронувший мое любопытство, заставил несколько дней бесцельно ломать голову над разрешением вопроса: чем он хочет меня удивить? Также я опасался каких-либо подвохов с его стороны. От него всего можно было ожидать. Однако удержаться в пределах, подсказываемых здравым смыслом, у меня не хватило духа, — в назначенное время, под предлогом исправления квитанции, я звонил в кв. № 7. Отперев, гр. Буткевич пригласил пройти в его комнату. В комнате было совершенно темно. Я в недоумении остановился, намереваясь спросить: что сие значит? Он предупредил меня, приложив палец к губам, проговорил: — Тихо.

Закрыв дверь, он взял меня за руку, дабы я не спотыкался о мебель, и подвел к стене. В черноте стены светлело небольшое пятнышко, повидимому, от отверстия в освещенную соседнюю комнату. Гр. Буткевич приложился к отверстию. Мне стало слышно его учащенное дыхание. Затем он пригнул к отверстию и мою голову. Я услышал всплески воды, догадался, что отверстие выходило в ванную комнату, и увидел... Белую облицовку ванны, а в ней три розовых шара, посаженных друг на друга; верхний, самой малой величины, шар повязан платком. Приглядевшись, узнал в нем лицо мадам Горохольской. Она за последнее время часто приносила прописывать временно прибывающих к ней родственников мужского пола. Я уже отвернулся было, чтобы высказать сему сладострастнику мое негодование, но в этот момент мадам Горохольская поднялась в ванне во весь свой рост, — я несколько задержался. Гр. Буткевич шепчет:

— Товару-то! товару-то сколько...

Он пытается меня отстранить от отверстия, я не уступаю.

— Андрей Иванович, разрешите мне взглянуть... Всего лишь на одну секундочку.

Наш шум, вероятно, достиг до мадам Горохольской. Она повернулась лицом к перегородке.

Когда я вижу какую-либо статую Венеры, мне кажется ясно, для чего женщина создана на земле, но для чего мадам Горохольская? — никак не могу постигнуть.

После я очень раскаивался за свое нескромное любопытство. Гр. Буткевич при встрече как-то заговорщически подмигивает и приглашает еще притти насладиться интересным зрелищем. Мне становится стыдно, я краснею и молча прохожу мимо. Он за спиной ехидно подхихикивает.

XI

Правлением мне предписано делать ежедневно ночной обход всего домовладения, чтобы удостовериться, все ли в порядке. У нас был

строго установлен следующий порядок: с наступлением сумерек запирались ворота во двор, в 12 час. ночи запиралось и парадное. Запоздавший жилец принужден был звонить дворнику, дежурившему в швейцарке. Дозвониться ему не так-то было легко, приходилось порядочно потоптаться на морозе, что и заставляло каждого возвращаться домой заблаговременно. Впрочем, для более почетных жильцов существовал особый знак: два коротких звонка под ряд. На эти звонки дворник должен быть лететь стремглав. Часто опаздывающие жильцы заносились в списочек, представляемый дворником в конце месяца правлению. Парфен Сильвестрович иногда меня экзаменовал по этому списку. Почему жилец такой-то такого-то числа и месяца поздно домой возвратился? Если я отмалчивался незнанием, председатель строго выговаривал:

— Стыдитесь, гр. Колосков, если дворник, как человек малознательный, может ворота отпертыми оставить и парадное не запереть, вы же не только человек, но и лицо... Вы обязаны знать всю подноготную каждого жильца.

Обхожу я всегда в определенное время: полдвенадцатого.

Как-то, совершая подобный обход и найдя все в порядке, я направился к парадному, чтобы приказать дворнику запереть дверь. По привычке заглянул в нишу около парадного. В ней прежде стояла фигура римского воина, с копьем и щитом в руках, как бы охраняя вход. После эпохи военного коммунизма от воина осталась нога да часть копья. В период восстанавливающий Парфен Сильвестрович приказал счистить с пьедестала ноги и копье, намереваясь поставить бюст кого-нибудь из вождей революции, что и было утверждено общим собранием (протокол № 23, от 12/VII — 1921 г.). Пришел «нэп», а с ним иные мысли, иное настроение, — правление решило вместо бюста поставить голенькую Венеру, которая больше ласкала бы взор, чем грозное напоминание о пережитом. Вскоре соответствующей фигуры не нашлось, потом сметная сумма была израсходована по другому назначению, ниша так и осталась пустой. На этот раз я заметил на пьедестале скорченную фигуру. Присмотревшись внимательно, я разобрал, что это была женщина. Она, отогревая дыханьем руки и пользуясь светом стоявшего против ниши уличного фонаря, читала книжку. Видя нарушение установленных правил, я приказал сей гражданке немедленно оставить означенное помещение, так как ниша предназначалась не для жилплощади, а для обитания некоего прекрасного, но бездушного существа. На мое приказание гражданка еще глубже затаилась в углу ниши. Я повторил, но с добавлением, что, в случае неподчинения, будет выселена административным порядком, при помощи милиции. Тогда она заплакала.

— Имейте хоть каплю человечности... Куда же мне деваться?.. На вокзал раньше 5 час. утра не пустят... В церквях служба начинается с 6 часов.

Тронутый ее слезами, я спросил о причине пребывания в нише. Она вкратце пояснила, что прибыла в город, движимая стремлением к науке. Не имея ни родственников, ни знакомых, она, впредь до получения жилплощади, вынуждена искать пристанища там, где не прогонят.

Из чувства сострадания я пригласил гражданку обогреться в моей комнате. А через час-два, во избежание кривотолков, снова выпустить на улицу. В парадном нам встретился дворник, идущий запирать дверь. Он покосился на нас.

— На ночь, что ли, ведете?

— То-есть как это на ночь?

— Мне что, дело ваше... Я к слову...

Извинившись за беспорядок в комнате, наскоро привел в порядок. бросил со стола на окно кое-какие бумаги, со стульев прибрал разбросанную одежду. Попросил гражданку располагаться, как у себя, сам же побежал на кухню вскипятить чайник. Вернувшись назад, застал ее мирно почивавшей. Облокотясь на стол, положив русую, коротко остриженную головку на ладонь, она покачивалась во сне. По лицу протянулись грязные полоски. Наверное, умываться приходилось редко. Осторожно разбудил. Она вздрогнула, видимо, часто прерываемая во время сна. Заметив меня, улыбнулась. Потянулась, хрустнув пальцами над головой.

— Как приятно быть в тепле... Если бы это случалось каждый день!

Заварил чай, достал с полки хлеб. Гражданка принялась за еду с аппетитом голодного человека. Разговорились. Узнал, что ее зовут Соней. Учится в фармацевтическом техникуме. Мечтала поступить на рабфак, но не приняли из-за происхождения ее родителей. А чем она виновата? Сейчас кое-как перебивается, в будущем надеется получить стипендию.

Чайник давно выпит, Соня не проявляет намерения уходить. Я предложил вскипятить еще чайник, рассчитывая, что она догадается уйти. Она потрясла головой. Сказать ей, чтоб уходила, у меня не хватало смелости выгнать бездомного человека на мороз. Меня не столько беспокоило лишение сна, сколько ожидаемые утром грязные намеки соседей, если Соня переночует. Я и так уже слышал подозрительный шорох за дверь. Соня с улыбкой подняла на меня глаза. Заметил: глаза серые.

— Что же вы спать не ложитесь? Вы мне позволите просидеть в вашей комнате до утра?.. Позволите, да?

У меня от ее просьбы волосы на голове зашевелились, но все же я не мог иначе ответить, как:

— Пожалуйста.

— Вы меня не стесняйтесь, будьте как со своим товарищем, а не с женщиной.

Мне сделалось стыдно за свою жестокость к Соне из-за каких-то глупых предрассудков. Я устроил в углу из двух стульев, табуретки и

крышки стола нечто в роде кровати. Постлал пальто, из одежды сделал изголовье.

— Располагайтесь.

Соня села на указанную ей постель.

— Какой вы добрый... Что, если бы все люди были такими?.. А то меня больше, как собаку, отовсюду гонят.

Я сижу на своей кровати, ожидая, когда Соня скажет, что можно погасить свет: неприлично же при женщине раздеваться. Ей же, по-видимому, сказать это и в голову не приходило. Безо всякого стеснения дернула за бортик кофточку, щелкнули кнопки, мелькнула белая округлость лифа, смуглая шея, полные руки. Смотрю на нее с изумленьем: развращенная ли натура предо мной, или же глупость непорочная. Не заметно ни того, ни другого: в глазах светится ум. Соня берется за пуговицу лифа. Мне становится неловко, выключаю свет, быстро раздеваюсь, ложусь спать. Соня все еще возится в темноте за раздевaniem.

— Товарищ, не можете ли зажечь свет... Никак не могу развязать тесемок.

Притворяюсь спящим. Слышу, как треснули оборванные тесемки.

Близкое присутствие женщины всегда волнует. А от меня всего в двух шагах слышится мерное дыханье Сони. Всю ночь я не мог сомкнуть глаз. Постель мне сделалась невыносимо жестка. Если на минуту забывался тревожным сном, виделись серые глаза Сони, которые затем темнели в глаза Лизы, тут же просыпался, укоряя себя:

«Развратничаешь, Андрей... Развратничаешь».

Только под утро настоящий сон прекратил мои мученья.

Проснулся поздно. В комнате светло. В коридоре слышны разговоры уходящих на службу жильцов. Иногда смех. Соня в нижней юбке сидит на постели, причесывает волосы. В подмышках поднятых рук темные впадины. При движении заметно, как натягивают сорочку колышавшиеся груди. Первое мгновение я никак не соображу, каким образом попала ко мне женщина, потом припоминаю вчерашнее. Я стыжусь вставать при Соне, жду, когда она выйдет из комнаты. Соня заметила, что я проснулся.

— Доброе утро! Что же не встаете? Валяться в постели вредно, развивается лень.

Я не отвечаю. Мне становится досадно на мое вчерашнее великодушие. Соня оделась, спросила:

— Где у вас кухня?

Сердито отвечаю:

— В конце коридора.

По уходе Сони вскакиваю с кровати, спешу одеться до ее возвращения. Она вернулась с порозовевшим от холодной воды лицом. Утерлась моим полотенцем. Нужно идти умываться, но долгое время не решаюсь. Наконец, собрался с духом, вышел. Как ожидал, так и получилось: сейчас же был окружен жильцами. Гражданка Петерсон—

жена нашего ответственного квартиронанимателя, тонкая, сухая, как щест, приветствовала меня следующим:

— Поздравляю, Андрей Иванович, поздравляю... Вот вы и пожелались, а все говорили про вас, что вы постник.

Гр. Петерсон проговорил на ухо жене, но так, чтобы все слышали:

— Он не может...

Мужчины двусмысленно засмеялись, женщины посмотрели с любопытством. Кое-как умывшись, постарался от них избавиться. Соня читала книжку.

— Как легко заниматься, когда выспишься как следует.

Я что-то пробурчал. Она с заботливостью посмотрела на меня.

— Вы не больны?.. Что-й-то вы такой мрачный?

У меня мелькнула мысль: назвать Соню родственницей и в качестве таковой прописать временной жилицей на мою площадь и тем предупредить развитие сплетен. Выдумка меня значительно успокоила. Рассказал Соне, она очень обрадовалась.

— Значит, теперь я ваша родственница. Только какую степень родства установить... Сестра? Нет, пусть лучше буду племянницей.

— Бабушкой, — пошутил я.

Соня прибрала комнату, напилась чаю, ушла в техникум.

Днем я прописал.

Из техникума Соня вернулась ко мне.

XII

Мадам Горохольская пригласила меня осмотреть ее комнату, чтобы воспользоваться моим советом, так как она намеревается произвести некоторый ремонт. Хотя сия гражданка и не внушала мне доверия, но, в силу своих обязанностей заботясь о поддержании дома на высоте своего назначения, а также выполняя волю правления — всемерно поощрять стремления жильцов к самостоятельному ремонту, — я вынужден был пойти.

Измерил комнату, сказав о потребном количестве обоев, я хотел было откланяться, но мадам Горохольская пригласила меня выкушать с нею чашку кофе. Из-за вежливости и потому, что сей приятный напиток уже долгое время не бывал на моем столе, — я изъясил свое согласие. Меня одно удивляло, каким образом сия гражданка, платящая за комнату по ставке безработной, изощряется распивать кофеи. В пределах, допускаемых приличием, путем распроса пытался решить сию неразрешимую задачу. Но гражданка проявила изворотливую коварность своего ума, и я ничего не мог допытаться, кроме того, что она пожелала сказать. Разговаривая, я не упустил момента для подробных наблюдений над нею. По своему крупному, но грубому телосложению она имела большое сходство с породистой коровой, что дополняли и большие, мало подвижные глаза ее. Кроме того, мною было замечено, что полнота мадам Горохольской значительно

дополняется состоянием беременности. После выпитой чашки она предложила другую, но я поспешил поблагодарить и уйти. Она просила зайти еще раз во время работы, а то маляры, пользуясь ее неопытностью, оклеят обои бог знает как. Я обещал.

В исполнение своего обещания мне пришлось еще несколько раз бывать у мадам Горохольской, давая различные указания малярам, которые, чуя над собой опытный глаз, выполняли работу более добросовестно. И всякий раз она отблагодаривала меня чашкой-другой кофе. Часто во время кофеепития стучались в дверь соседние жильцы, приходившие по разным надобностям, на что мадам Горохольская с чисто женским лукавством неизменно отвечала:

— Обождите, я не одна.

Со мной же разговор вела о том, что человек — общественное животное и нуждается в обществе себе подобных. Одиночество слишком тягостно, а современная молодежь так развращена, поэтому она всегда предпочитает общество не старого, но и не молодого мужчины. При этом кидала на меня томные взгляды и вздыхала. Особого значения сему я не придавал, приписывая их чисто женской кокетливости.

По окончании ремонта я не преминул зайти, чтобы тщательно исследовать произведенную работу. Постучав в дверь, я получил разрешение войти, — войдя в комнату, был крайне изумлен увиденным: мадам Горохольская только что встала с кровати и была в таком виде, что первое мое впечатление было: на два туго набитых мучных мешка поставлен огромный куль. На мое смущение она развязно, как-будто бы ничего особенного в этом нет, сказала:

— Какой вы, однако, Андрей Иванович, отсталый человек... Ужасно отсталый... Вы все еще держитесь того взгляда, чтобы женщину держать взаперти... Так знайте, раз современная женщина в правах уравнена с мужчинами, так мы, женщины, не хотим вам уступать во всех отношениях...

Не успел я собрать разбросанные мысли в порядок, как без предупреждения вошла проживающая в той же квартире старая дева, вносящая квартплату по ставке моссельпромщицы. Жильцы многожды жаловались на нее, что многочисленность кошек, обитающих с ней в комнате, обращают квартиру в кошачий приют. Сия дева-кошатница всплеснула руками, воскликнув:

— Ах!.. — и быстро удалилась.

Почуя в том недоброе, я, со скоростью летящей пули, выскочил из комнаты. В коридоре столкнулся с гр. Буткевичем. Он, с притворной радостью пожимая мне руку, заговорил:

— Частенько, я вижу, начали посещать нашу квартиру... Частенько...

Затем, погрозив пальцем, продолжал:

— Смотрите, доходите до алиментов.

Шутка гр. Буткевича была мне неприятна; желая его уколоть, я сказал:

— Вы же вот получаете с женщины алименты, так почему же и мне не получать.

— Хе-хе-хе... Я получаю на законном основании, как потерпевшая в браке сторона... А вас, дорогой, могут самого в работу взять... И возьмут... Что ж, нахожу вполне справедливым, если каждый холостяк будет обложен в роде как бы налогом — алиментами... Семейному человеку приходится все жилы вытягивать для содержания семьи, а вы станете на чужой счет прохлаждаться... Ведь вы же не бесплотный дух!.. Впрочем, кажется, из всего дома только вы один и свободен от алиментов...

Из соседних комнат выглядывали улыбающиеся лица жильцов. Мне стало не по себе, я постарался отделаться от разглагольствований гр. Буткевича.

(Окончание следует)



Весна

Из романа „Пушторг“

И. СЕЛЬВИНСКИЙ

1

Выбирали в Совет. Стояла весна,
Но какая весна, Алеша!
Как мандолиной звенит новизна,
Петух разрывает жемчужные ядра,
Поддерживая голос предыдущего

оратора.

Но, глянь-ка сюда, под этот забор:
Всех громче весну знаменует собой
Торжественно выброшенная галоша.

2

За черным валом — черный вал,
Пляшет по улицам карнавал
«Красного Сахара», «Резинотреста»,
И морда в воде ухмыльнулась до

треска:

«Хотя, увы, — я галошею рваной
В луже пока принимаю ванны,
Но не подумай, что мне капут —
По три с полтиной пойду за пуд».

3

Чья-то рубаха из дыр и заплаток,
Болтаясь среди золотых кистей,
Лихо подплясывала на шесте,
Повторяясь в утильсырьевых
плакатах:

«Фу-ты, ну-ты, разойдися,
Дуй вприсядку трепака,
Нас берет и заграница
Даром, что мы тряпка».

4

И среди этого треска
Динь-дилинь, день-делэн
Профсоюзного оркестра
(А уж день-то, а уж день!)

Над пожарной командой
Динь-дилинь, день-делэн,
Чучелом валандается
Сэр Чемберлен.

5

За черным валом черный вал,
Пляшет по улицам карнавал,
Кратером разверзся блузный круг,
Рабочие истово несут хоругвь!
Ноги обвисли,
Щеки как икс,
Болтается на виселице
Мистер Хикс.

6

А в автомобиле катит пантомима:
Английская блуза с трубкой в зубах
Держит за шиворот того же

Чемберлена:

То рыжий, то черный, с манишкой по
колено,
Чемберлен повсюду. Прносятся
мимо.

Радио вещают о грядущих боях:

«Не пужай про диво
газы,

Если есть противо-
газы».

7—8

Акуловая тень аэроплана. У панели
Роты комсомольцев, печатая, пели,
«О том, как в ночи ясные»,
«О том, как в дни ненастные»,
«Мы жертвою пали в борьбе
роковой»,

Новая скрижаль

Р о м а н

ПАНТ. РОМАНОВ

(Окончание ¹)

XXXIX

И помнит Сергей, что на утро, встав, он не застал Людмилу дома. Она уже ушла, как сказала Дуня, на службу.

Сергей тоже пошел в отдел и увидел на дворе впереди его шедшего Петрухина. Тот, дойдя до определенного места у ворот, которое уже знал Сергей, оглянулся на окно своей комнаты тем особенным взглядом, когда знают, что там стоят и ждут этого взгляда.

Сергей тоже машинально оглянулся и увидел блондинку, которая стояла в капоте у окна и писала на стекле какое-то, очевидно, нежное слово, понятное Петрухину.

Сергей вспомнил, что они уже несколько месяцев живут рядом и не были еще ни разу друг у друга; Сергей не собрался позвать его. Он хотел, было, свернуть от него в сторону, но в это время Петрухин оглянулся и увидел его. Сергей тогда решил, что нужно хоть сказать о том, что он давно собирается его позвать, и оба торопливо сказали вдруг в один голос слово в слово одну и ту же фразу:

— Я все собираюсь... нам надо как-нибудь собраться.

И оба покраснели.

— Я уж очень завален работой, — сказал Петрухин.

— Я тоже, — сказал Сергей.

Он пошел в отдел и по дороге думал о происшедшем вчера вечером. Что она подразумевала под лекарством? Про какое битое стекло она говорила? Кого подразумевала при этом? Если лекарство — морфий, то герой битого стекла — наверное, Бех.

Она презирала его, он ей был не нужен и тяготил ее, когда она верила, что Сергей принадлежит целиком ей. Тогда она, видя в Бехе ту любовь, о которой мечтала, не отвечала ему, потому что у нее был он — Сергей. Возможно, что теперь она ухватится за Беха, как за ка-

¹) См. «Новый Мир», кн. 1 — 4 с. г.

кое-то оправдание жизни. Она уступит ему из того соображения, какое однажды уже высказывала: именно, что даст ему частицу своей любви, которая не нужна Сергею, она даст ее тому, как в е л и к и й д а р, не любя его, а только снисходя к его великой любви. Она оторвет кусок своего сердца, ненужного другому, и даст тому, потому что этот дар он возьмет, как святыню. Он возьмет его трепетными руками, потому что этот дар н у ж е н ему, как жизнь, больше, чем жизнь! И, может быть, она даже со временем примирится с ним, потому что он таким образом даст смысл ее существованию. Он даст ей силу жить, раз окажется, что если не один, то есть другой человек, которому н у ж н а ее душа, как сокровище жизни. Может быть. И как странно, что сейчас он совсем не чувствует ни ревности, какая у него проскальзывала иногда, — ни жалости к ней. Может быть, п р и ш е л тот момент, о котором говорила Эмма?

Может быть, инстинкт самосохранения, проснувшийся в нем, уничтожил эту жалость? И, может быть, вопрос, что дороже — любовь женщины, отдавшей ему всю душу, или собственный путь — идет сам собою к разрешению?

И почему она умышленно ушла сегодня, не видевшись с ним? Значит, она уже решила после вчерашней бурной сцены не делать больше попыток?

Думая об этом, он уже проходил по коридору в свой отдел, как один из служащих остановил его, сказав:

— Товарищ Мамаев, в кабинете вас жена дожидается.

Сергей удивился. Ему показалось что-то странное в том, что Людмила ушла раньше его из дома и вперед него пришла к нему в отдел. Что это, какой-нибудь сюрприз? И ему стало тоскливо-неприятно от мысли, что сейчас что-нибудь произойдет неприятное, тяжелое, которое опять все перемешает в нем и опять ничего не даст ни ему, ни ей, кроме лишней тяжести.

Но, отворив в кабинет дверь, он невольно отшатнулся назад.

В кабинете, как-то неловко, посередине комнаты, на стуле, спиной к двери и лицом к его письменному столу, в позе долгого ожидания, сидела его первая жена Груша, с которой он развелся, даже не видев ее.

Она была покрыта беленьким платочком с цветочками по кайме. Она вся как-то прибралась, как она прибиралась на праздник, когда шла дома в церковь, и тогда особенно бело казалось ее лицо с белыми ресницами и маленькими веснушками на шее.

На ней было что-то в роде городской жакетки с отворотами, обшитыми тесьмой. На ногах — новые полусапожки с резинками и торчащими ушками. В ней была та деревенская чистота (несмотря на убогость костюма), которую помнил Сергей, когда она, бывало, в высоко подоткнутом сарафане стояла рядом с ним на скотном дворе, железными трехрожковыми вилами поддевала сочные пласты навоза и бросала их в телегу, чтобы везти на поле. И ее белая шея и особенно полные, нетронутые еще солнцем после зимы, ноги казались на навоз-

ной жиже необычайно белыми и нежными. И на них тоже были веснушки.

У нее в руках на коленях лежал платок, в уголке которого были, очевидно, завязаны деньги.

Груша оглянулась с таким видом, с каким в сотый раз оглядывается безнадежно долго ожидающий проситель при входе лиц, не имеющих отношения к его делу.

Но вдруг лицо ее и сама она вся встрепенулась. Не вставая, а только повернувшись на стуле, она смотрела на Сергея.

Он не знал, как к ней отнестись, что ей сказать. И неловко подошел к ней, все еще не зная, что он должен делать и как с ней познакомиться.

Но Груша встала, быстро и решительно, просто обняла его за шею рукой, в которой у нее был платок, поцеловала его простым неумелым деревенским поцелуем с плотно-сомкнутыми губами. И вдруг, уронив голову ему на грудь, заплакала, жалко вздрагивая плечами в своей жакетке, которую, вероятно, тщательно готовила для поездки к нему.

Потом, как бы устыдившись своих слез, оставила Сергея и села на стул в том же положении, в каком сидела, неловко, прямо и далеко, не касаясь спинки стула.

Она смотрела на Сергея моргающими от слез глазами, прижав к дрожащим губам платок. На грубой, загоревшей руке ее было их медное обручальное кольцо. Потом, сделав усилие и борясь со слезами, Груша, стараясь улыбнуться, сказала:

— Эх ты... что ж ты наделал-то?..

И, как-будто эта улыбка стоила ей непосильного напряжения, она, не удержавшись, упала головой на стол и заплакала, вздрагивая плечами.

— Ну, будет, ну, чего ты... ну, мало ли что... — говорил Сергей, сам хорошо не зная, что он хочет этим сказать.

Груша долго плакала, потом, понемногу затихнув и успокоившись, подняла было голову от стола. Но, очевидно, при какой-то новой, остро-мучительной мысли, опять закрыла лицо платком с узелочком на уголке и стиснула своей рукой руку Сергея, которую держала все время, не отпуская.

— Ну, Грушенька, ну, будет... — говорил Сергей.

— Вот бог привел как встретиться... Что ж теперь я буду делать?.. Свекровь со свекором будут, может, терпеть, пока работать буду... Ну, да что там?..

Она вдруг сдвигала комочком платка глаза, как бы желая остановить досадные, ненужные слезы и решительным жестом отняла платок от глаз.

— Ну, что об этом толковать. Не я первая, не я последняя. Ну-ка, сядь, расскажи, — сказала она, показав Сергею на стул. Точно, отдав дань своему горю, она хотела теперь знать и про него. — Хорошая, она-то? — спросила Груша, тревожно внимательно ожидая ответа.

— Ничего... — ответил неопределенно Сергей, так как ему показалось, что если он скажет, что хорошая, то причинит этим лишнюю боль Груше. А сказать в коротких словах то, что действительно есть, он не смог бы.

Но у Груши было такое внимательное выражение, с полным, казалось, забвением личных интересов, что ей, вероятно, доставило бы искреннее огорчение, если бы его новая жена оказалась плохой.

— Ничего? — повторила она хозяйственно-озабоченно, — это слава богу. А то ведь они, городские-то, есть такие стервы... Ежели хорошая — ничего. А вот попадетсЯ какая-нибудь... Что ж, как барыня, небось, ходит? — спросила она полулюбопытно, полунедоброжелательно, и, бабьим жестом сжав руку у рта и покачав головой, проговорила с горечью непоправимости: — Ах, стерва, стерва...

Видно было, что горе и ревность и жалость к разрушенной жизни опять кольнули острой иглой ее сердце.

Она заметила на блузе Сергея какое-то пятно и, продолжая его расспрашивать, скоблила это пятно жестким ногтем большого пальца и изредка утирала все еще катившиеся слезы. Но видно было, что ее внимание с собственного горя перешло на интерес к жизни Сергея. И в этом интересе проглядывала странная, непонятная забота о нем.

Точно мать приехала из деревни к сыну в столицу и, скорбя о его разрыве с домом, расспрашивает его и старается понять его новую жизнь.

И Сергей помнит, что он тогда точно совсем новыми глазами увидел Грушу, и ему захотелось, как к родной, припасть к ее плечу и пожаловаться на жизнь, на самого себя. Но он не сделал этого, а продолжал рассказывать про свою службу, про домашнюю жизнь.

В промежутке его рассказа Груша, вздохнув, отвела глаза, и взгляд ее остановился на письменном столе Сергея. Она, держа руку у рта, покачала головой при виде большой бронзовой чернильницы, большого кресла с кожаной спинкой и сказала, как бы сама с собой:

— Господи батюшка, где ж тут...

Что она хотела этим выразить, было неизвестно.

Потом отвлеклась от стола и спросила:

— А живешь-то у нее?

— У нее, — сказал Сергей, отгибая и загибая уголок тетради, лежавшей у него на столе.

— Сама стряпает или как?

Сергею показалось неудобным сказать, что им стряпает прислуга (такая же крестьянская женщина из деревни, как Груша), и он сказал, что сама.

Сергей смотрел и не узнавал Груши. Прежде он знал ее неловкой, застенчивой бабой, которая никогда не находила, о чем с ним говорить, и все больше молчала, если не было предложения говорить о хозяйстве. Молчала и, в ответ на его ласку или слова, виновато гладила его руку.

Теперь же он вдруг увидел в ней совершенно другого человека, который безо всякой конфузливости, прямо и просто, как друг, заботливо выспрашивает у него... о чем же? О том, что разрушило ее собственную жизнь.

С нее как-будто спала пелена прежней неуклюжести, прежней ослепчивости и душевной немоты. Как-будто она в первый раз за всю свою жизнь нашла, о чем с ним говорить, кроме хозяйства.

— О, господи батюшка, — сказала Груша, вздохнув, и облачко задумчивости набежало у нее на лицо. Но сейчас же она взглянула на Сергея и, через силу улыбнувшись, сказала: — Вот так встретились...

Потом махнула рукой, как бы говоря, что охами да вздохами горю не поможешь.

— Что ж, совсем?.. И повенчались? Где венчались-то?

— Да тут же, в Москве.

— По-собачьи, небось? Или, как следует, в церкви?

— Нет, только расписались.

— С яровым справились, — сказала Груша, помолчав и глядя озабоченно в пол. — Теперь картошку сажаем. Небось, не пустит теперь в деревню-то?

— Отчего ж не пустит, я приеду, — сказал Сергей.

Груша с сомнением посмотрела на него.

— Ежели такая, то пошли ей бог здоровья. А то ведь есть стервы... Ох, стервы!..

Сергею хотелось как-нибудь пригреть Грушу, приласкать, повести ее к себе, накормить после дороги. Но он подумал о том, как может встретить ее Людмила, в особенности после того, что было ночью. Каким испугом, недоумением и враждебной подозрительностью встретит она эту женщину, его первую же н у... Для нее будет ужасом увидеть, что он имеет еще что-то общее с этой чужой, неграмотной женщиной (а, может быть, она сама ему более чужая?), с грубыми красными руками и в жакетке, убого сшитой неумелой деревенской портнихой.

И в то же время он почувствовал, что Груша перед ним вся, какая она есть. И он видит и чувствует ее всю. А Людмилу он не видит и чувствует с ней себя, как с противником на войне, несмотря на то, что ее высшее желание — слиться с ним в одну душу.

И, как это ни странно, он мог бы рассказать Груше, как матери, все, что у него есть тяжелого, несмотря на то, что она многого бы не поняла. А та все может понять, и все-таки он ей не рассказывал, несмотря на всю ее безграничную иступленную любовь к нему.

Почему?

В чем же разница любви Груши и Людмилы?

— Поесть, небось, хочешь? — сказал Сергей.

— Нет, я вот яичек с собой захватила. А ты сам-то ел?

— Ел, — сказал Сергей.

— С уборкой-то, пожалуй, не справимся, — сказала Груша, покачивая головой, как бы поглощенная этой мыслью.

— Я приеду, — сказал Сергей.

— Ну, пойду, видно, — проговорила Груша, вздохнув и поднимаясь со стула. Она обняла его за шею рукой и опять так же туго сомкнутыми губами поцеловала его в губы и поклонилась, отойдя на шаг и опустив к полу руку с платком.

— Зачем ехала и сама не знаю, — сказала она, покачивая на себя головой. — Не ходи, не ходи, дорогу найду.

Она вышла, оставив в кабинете запах дегтярных башмаков и ситцевого платка.

XL

С того рокового дня, когда Людмила вернулась откуда-то поздно ночью в состоянии лихорадочного иступления, она резко изменилась.

Она стала совершенно другою.

Она стала все время приподнято нервно весела, в высшей степени тщательно одевалась, часто бывала на каких-то вечеринках у Елены, как она говорила, и, когда приезжала оттуда поздно ночью, от нее всегда пахло вином.

Она странно обращалась в это время с Бехом, как-будто она испытывала над ним свою силу или мстила ему за что-то. У нее было постоянное стремление забыть в каком-то угаре. Если она ехала с Бехом в театр, в ресторан, то она требовала, чтобы была машина, цветы, шампанское. Она гоняла его по всяким мелочам, постоянно капризничала, была с ним резка, а если он пробовал оправдываться, она поворачивалась к нему спиной и замолкала.

И каждую минуту давала ему понять, что его любовь ей совершенно не нужна, часто говорила Елене, чтобы она взяла себе ее верного друга, потому что она устала от него. Иногда начинала серьезно убеждать Бега в том, что Елена хорошая женщина, которая даст ему настоящее счастье. А с ней, Людмилкой, он только измучается, потому что ведь она очень жестокий человек...

— ...Для того, кого вы не любите... — грустно подсказывал Бех.

Но, обращаясь так жестоко с ним, так пренебрежительно, она все-таки не отпускала его от себя, точно ей постоянно был нужен кто-то, на ком она могла бы испытывать свою силу. И, когда после какой-нибудь ее жестокой выходки Бех не показывался иногда целую неделю, она сама звонила к нему и, когда он приходил, была ласкова и даже нежна с ним.

В ее жизни была какая-то постоянная внутренняя лихорадка, нервность, приподнятость. Но иногда на нее находили припадки мрачного отчаяния. Она замыкалась ото всех, усиленно работала на своей службе, носила простое шерстяное платье. И в это время она совершенно не могла видеть Бега. Часто Сергей видел ее с опухшими от

слез глазами, но она тщательно прятала их от него. В ней как-то совмещалась готовность каждую минуту уничтожиться ради любимого человека, принести ему какую угодно жертву, унизиться до последних пределов. И в то же время в ней жила непомерная гордость, нечеловеческая сила воли. Она могла истекать кровью и продолжать улыбаться, если это вело к ее торжеству.

Сергея она в это время совсем не трогала, как бы предоставив ему полную свободу, не спрашивала, где он бывает. Отношения мужа и жены прекратились. Она, возвращаясь откуда-то домой, делала очень усталое лицо и быстро раздевалась и ложилась спать.

Но один раз после ухода Беха она вдруг с искаженным лицом сказала Сергею:

— Отчего я не животное, которому все равно? О, как я завидую в а м, т е п е р е ш н и м! — говорила она с жестоким презрением. — Значит, переделать себя нельзя, хоть бы ты вывернула всю себя наизнанку? хоть бы ты в грязи затоптала то, что считала когда-то в себе недосягаемым и неприкосновенным?..

— Ну, что же, пусть так будет! До конца! — как ты говорил про меня когда-то. — Во всем до конца! До самого последнего.

А один раз она спросила его:

— Неужели тебе все равно, где я бываю, с кем я бываю?..

— Нет, мне не все равно, а лучше, потому что теперь ты меня каждую минуту не спрашиваешь, где я бываю, с кем я бываю, — сказал Сергей.

Людмила стиснула свои руки так, что в них треснули суставы, и замолчала.

После этого отношения к Беху резко изменились. Она стала терпимее и тише с ним. Они подолгу разговаривали, сидя на диване. И Сергей часто заставлял их в таком мирном положении. При чем они всегда обрывали разговор при его появлении и, помолчав с минуту, начинали говорить о каких-нибудь безразличных вещах.

Она стала интересоваться его работами в театре, он советовался с ней о каждой новой роли и говорил, что она очень много ему помогает своими советами.

Он первое время принимал каждое ее слово, как что-то священное. Для него было, очевидно, странно, непривычно, что эта жесткая, твердая, непрístupная женщина говорит теперь с ним мягко, никогда не прерывает его насмешливыми замечаниями.

У Беха со временем появилось спокойствие, уже не стало прежнего робко-заискивающего вида. И часто Сергей видел, как в передней, когда он уходил, Людмила поправляла ему выскочившую сзади вешалку или кашне.

И чем больше у Людмилы появлялся тихий, мягкий тон по отношению к нему, тем становился более свободным тон Беха, которым он говорил с ней. Он теперь даже позволял себе шутить над ней в при-

сутствии Елены. И Людмила покорно и с улыбкой принимала это. У нее прошло настроение бурных порывов.

Но иногда она чувствовала, видимо, что-то оскорбительное в этих шутках, совершенно несоответствующее их отношениям, как она их понимала. Иногда она после таких случаев бывала тревожно-задумчива, нервна.

А один раз она устроила Беху неожиданно-жестокою сцену. Это было при Сергее. Они были у Елены. Там была та дама с мушкой, которая один раз заехала случайно к Людмиле с Еленой. Это было в мае. Дождо сидели с раскрытыми окнами, пили, и, когда уже стала заниматься заря, Бех подсел к этой даме. Она была в белом платье с веткой сирени в волосах. Они очень долго говорили, сидя оба на окне. Бех шутливо ухаживал за ней, а потом они примолкли.

Людмила оживленно весело говорила. При этом обратилась к Беху с каким-то вопросом, тот небрежно ответил и опять занялся разговором в пониженном тоне. Людмила сразу замолчала. Через минуту Бех оглянулся на нее. Она встала и вышла в коридор. Он, чувствуя что-то неладное, вышел вслед за ней.

Минут через пять Сергей, проходя по коридору, почти натолкнулся на них.

Она с искаженным от гнева лицом говорила:

— Если нас считают... тем, чем считают, то я требую, чтобы в моем присутствии вы держали себя прилично.

Бех сконфуженно и растерянно хотел что-то сказать, но, увидев Сергея, замолчал, потом отошел.

— В чем дело? — спросил Сергей.

Людмила смотрела на него с секунду, как бы желая по лицу его узнать, слышал он что-нибудь или нет. В глазах ее был еще не утихший огонь гнева. И, очевидно, решив, что он слышал многое, сказала:

— Этот господин вздумал на моих глазах ухаживать.

— Так тебе-то что?

Она опять взглянула на Сергея таким взглядом, как-будто взвешивая что-то, и сказала:

— То, что нас с ним считают... любовниками. Мне... Мне это совершенно не важно, так как ты знаешь, что этого нет. Но раз они считают, то я требую, чтобы он при них держал себя прилично.

XLI

Весь следующий день она была как-то подавлена. Как-будто она столкнулась с чем-то, чего не могла понять и что боялась понять.

Она сказала Дуне, что если кто-нибудь будет звонить, то сказать, что ее нет дома. А потом, — придя со службы, — спрашивала, не звонил ли кто-нибудь.

Дуня сказала, что никто не звонил. Людмила долго ходила в нервном, напряженном состоянии по комнате. И когда позвонил телефон и Дуня сказала, что ее просят, Людмила вздрогнула. Видно, что она ждала этого звонка, ее бесило, а потом начало волновать, что звонка нет. Но все-таки она сделала вид, что занята, и долго не подходила к телефону.

Наконец, подошла. И, несмотря на бывшее только что у нее волнение и нетерпение, говорила очень сухо, безразлично.

Это был Бех. Он просил позволения зайти. Она разрешила не сразу. Но потом очень долго сидела перед зеркалом и надела шелковые чулки и другие туфли с модными изящными носками и застежками.

Сергей ушел в библиотеку. Когда он вернулся и прошел в свою комнату, он слышал, как Бех говорил пониженным тоном о том, что его совесть совершенно чиста, что он эту даму видит в первый раз, что она ему совершенно не интересна и он ни одной минуты не задумывается над тем, чтобы никогда ее не видеть, если это Людмиле неприятно, потому что ему нужна и дорога дружба ее, Людмилы, а не красивое личико малознакомой женщины.

Но Сергей заметил, что у него был нетерпеливый тон избалованного ребенка, когда вслед за его длинной оправдательной речью Людмила опять сказала что-то такое, что разрушало, очевидно, только что построенное им здание собственной защиты, и ему приходилось все начинать сначала.

— Ну, хорошо, — сказала Людмила, — когда-то вы говорили, что я для вас все, что я даю вам новые силы и достаточно одного моего взгляда, чтобы из бездны отчаяния поднялись на высшую ступень счастья и радости, что я даю вам смысл жизни. Так вот поймите, что это не пустой с моей стороны каприз самолюбивой женщины. Нет! Мне больно было бы разбить в себе представление о том, что я действительно вам даю что-то очень большое. А когда я видела вчера, как вы сидели с этой молодой дамой, мне стало вдруг противно, отвратительно. Мне показалось, что вдруг вы только... из вежливости или... из-за чего-нибудь другого говорили мне, что я для вас нужна и дороже всего в жизни, раз вы можете сидеть с этой женщиной в моем присутствии и почти ни разу не вспомнить обо мне...

Бех, очевидно, несколько раз пытался прервать ее, но она каждый раз останавливала его, пока не договорила свою мысль до конца.

— Вам понятно?

— Ну, конечно! — сказал Бех, целуя ее руку.

— Мне больше всего не хочется, чтобы вы истолковали это, как ревность. Мне дико и гадко даже подумать это. Я слишком горда.

— Ну, конечно! — сказал опять Бех, уже играя голосом, как прощенный шалун.

— Так, значит, мир? — сказала Людмила. — Я с удовольствием поехала бы сегодня куда-нибудь.

Последовало молчание. Бех замялся и сконфуженно заявил, что сегодня он не может, потому что на целый вечер занят в концерте. И что ему давно уже надо идти, но он на все махнул рукой, чтобы прилететь сюда и выяснить это недоразумение.

Сергей тогда не знал, в чем там дело. Но в тоне Беха было что-то такое, что ему хотелось войти в комнату, взять его за воротник его пиджака своей огромной ручищей и, приподняв, вынести в коридор.

У Людмилы было тревожное настроение. Один раз Сергей видел, как она, сидя в своей комнате, тяжело вздохнула, нервно разведя при этом руками, как делает человек, попавший в какой-то заколдованный круг. Потом вдруг вышла из своей комнаты и сказала Сергею:

— Поедем сегодня в Эрмитаж.

XLII

Сергей свою поездку с Эммой к Соне отложил тогда на неделю, и она была перенесена как раз на сегодня.

После того вечера, когда он пришел от Эммы, Сергей почувствовал, что он не может больше лгать и сочинять. Он будет говорить отныне только то, что он делает, что он чувствует. Если она этого не сможет перенести, то это ее дело. На этом они покончат.

И когда Людмила сказала об Эрмитаже, Сергей ответил, что он хотел было сегодня с'ездить за город к Соне с Эммой. Но, если ей хочется, он отложит эту поездку и пойдет с ней.

Людмила, побледневшая при его сообщении, вдруг поборола себя и сказала, чтобы он ехал, куда решил.

— Я не хочу виснуть на тебе, — сказала она, — я только потому попросила тебя, что мы очень давно никуда не ходили вместе. К Елене я не считаю. Мы одни с тобой давно не были нигде.

Но Сергей уже по опыту знал, что ее слова о нежелании виснуть на шее никак нельзя принять с простотой наивной доверчивости. Если он поедет с Эммой, то-есть сделает то, в чем она сама же сейчас убеждает, то по возвращении его она будет сидеть молча и смотреть в одну точку. А когда он спросит ее, в чем дело, она скажет:

— Я предложила тебе ехать, куда ты хотел, потому что ждала и надеялась, что ты хоть раз откажешься от своего удовольствия, чтобы доставить мне удовольствие. А вместо этого ты с первого же слова поспешил воспользоваться моим предложением. (Между прочим, что удивляло Сергея, что у нее точно было какое-то чутье: она всегда просила его пойти с ней тогда, когда он как раз сам собирался с кем-нибудь другим идти.)

Сергей, конечно, не удержался бы и сказал, что ни одному ее слову нельзя никогда довериться, что она, точно провокатор, каждый раз старается поймать...

— Сядь ко мне на минутку, — сказала Людмила Сергею.

Сергей сел.

Она долго смотрела на него, потом судорожно схватила руку Сергея и, прижав ее к своей груди, сказала, почти выкрикнула тоном нестерпимого страдания:

— ...Я гибну!.. Спаси.

— Что с тобой? — сказал Сергей, положив ей на плечо руку.

— Я чувствую, что ты ушел от меня. Тебе неприятно, что я заставила тебя ехать с собой. У тебя совсем нет потребности быть со мной. Я одна. Вечно одна... О, боже мой!

— Как же ты одна, когда я с тобой? с тобой Бех...

— Твоя душа ушла от меня... ты живешь помимо меня! помимо!..

— Милая моя, я только теперь стал изредка чувствовать, что я живу. Я не ушел от тебя, я взял от тебя свою «душу», которой ты не давала итти в том направлении, в каком ей нужно.

— В направлении удаления от меня?.. — сказала с порывом горечи Людмила. — А чем же мне жить? Чем? Скажи!

— Тем, что принадлежит тебе. Чужим жить нельзя.

— Я считала твою душу своей, а не чужой...

— Да, ты с ч и т а л а, но в действительности-то она — моя.

— Она твоя? — машинально повторила Людмила и, засмеявшись горьким истерическим смехом, она развела руками. — Отнял последнее. Она твоя!.. А я, как безработная, как н е н у ж н а я...

Она вдруг повернулась к нему. На глазах ее блстели слезы, но глаза горели огнем сильнеешего возбуждения.

— Знаешь ли ты, что я делала, чтобы сохранить тебя, твою душу около себя? Ту душу, про которую ты сейчас так бесчеловечно сказал, что она — т в о я? Я уродовала себя, я калечила себя, выворачивала свою душу наизнанку! Я давила, топтала в себе ногами то, чем прежде гордилась. Я подавила в себе все, чтобы дать тебе свободу, чтобы не ходить за тобой, как я хотела ходить, быть с тобой, как мать с ребенком, предупреждать каждый твой шаг, каждое твое желание, чтобы только душа твоя была со мной. Чтобы она была моя. Когда ты спокойно спал, я все ночи напролет плакала и грызла руки у себя, оттого, что душа твоя уходила от меня и ничем ее остановить было нельзя. Постой, дай договорить, — сказала она грубо, рванув его за руку, когда Сергей хотел что-то сказать, — ты мне сказал сейчас, что она (душа) — твоя. А ты знаешь, о чем я думала иногда в бессонные ночи, когда ты спал около меня, и я боялась пошевелиться, чтобы не потревожить тебя? Я думала, что если бы был создатель, и я, кончив свое существование, пришла к нему, то пришла бы без души.

— Он спросил бы меня: «Почему ты без души?»

— Я бы ответила ему с радостью и гордостью: «Я всю ее отдала, вон тому человеку, господи, всю! У меня для себя ничего не осталось...

— Я бы тоже без души пришел, — сказал Сергей. — И когда бы меня спросили, куда я ее дел, я указал бы на землю и сказал: «Она вся там осталась, у к а ж д о г о человека есть хоть маленькая ее частич-

ка, и там она лучше сохранится, создатель, чем у тебя. Я прочно поместил свой капитал».

Людмила остолбенело взглянула на Сергея, не понимая, шутит он или серьезно говорит. Потом усмехнулась и развела руками:

— А я-то хотела поверить в чудо, что два человека могут пройти весь путь до могилы, слившись в одну душу, и для этого я отдала тебе свою душу, которую вложила полностью в свою любовь к тебе... а она... она, оказывается, не нужна!— закончила Людмила, истерически рассмеявшись. — Какая же я глупая, какая наивная! Боже мой! И до какого унижения я дошла!.. Я-то думала, что моя любовь такая ценность, за которую мне не только с радостью отдадут всю душу и в этой отдаче будут находить свое высшее счастье, какое только доступно на земле. Оказывается, она нужна только до тех пор, пока ее не даешь. А стоит отдать, и ты станешь ненужной... Если не отдаешь— одиночество. И если отдашь—тоже, в конце концов, одиночество!

Слезы опять брызнули у нее из глаз. Она, взяв сумочку, достала из нее платок.

— И что самое противное, что льются эти слезы! Я сама себе противна, точно я выпрашиваю милостыню. Я готова их высушить, хоть каленым железом, чтобы ты не видел моего унижения.

Она дернула руками маленький платочек, разорвала его на две половины и отбросила на ковер.

— Ты прости меня, — сказал Сергей, — но я думал, что ты не так одинока.

Людмила быстро вскинула на него глаза. Слезы ее сейчас же высохли, и глаза загорелись сухим, тревожным блеском.

— То-есть?..

— Мне казалось, что ты была близка с Бехом.

— Ну, да... — растерянно и не понимая чего-то, сказала Людмила. Потом вдруг все лицо ее вспыхнуло. — Как ты мог... как ты мог это подумать?.. Да ты знаешь, какой мне муки стоило... не прогонять его от себя? Если бы это случилось, я бы... ни одной минуты не могла с тобой... жить. Я, может быть, убила бы себя... после этого, но с тобой не стала бы, не допустила бы ни одной минуты близости, ни одного твоего прикосновения. Как ты мог!.. Как ты мог?!.. — в ужасе твердила она.

— Но ты в то время уходил от меня и я не знаю, куда, я целыми ночами стояла босая у окна и смотрела на ворота и когда я видела, как театры кончаются, народ идет большой толпой по тротуарам, я все надеялась, что вот-вот твое лицо покажется в воротах, потом народ все редел, улица пустела, тебя не было... тебя не было!

— Когда же это было? — сказал Сергей, — я всего раза три-четыре уходил на наши вечеринки.

— Я не знаю, куда... — поспешно сказала Людмила, — может быть, и на вечеринки, — прибавила она так же поспешно, махнув рукой, когда видела, что Сергей хочет ей доказывать что-то. — Может

быть... но я была одна. Не просто одна, о, нет, не в этом дело, а в том, что душа твоя тоже у х о д и л а.

— И вот этот человек был около меня. Он ползал у меня в ногах, он думал только о том, чтобы чем-нибудь меня утешить. Он знал... Он все знал! И это для меня было ужаснее всего. Я была ничем не защищена. Он каждую минуту мог мне сказать: «Ты держисься крепко, ты бережешь себя для него. А ведь ты не нужна ему». Это было попрание моей гордости, которой прежде было у меня много!

Людмила встала, все лицо ее пылало. На груди у нее была длинная нитка бус из черных шариков, которая качалась от ее резких лихорадочных движений. Она рванула ее, рассыпавшиеся бусы посыпались на пол. Не обращая на них внимания, она продолжала:

— Он отдал мне всю свою душу и только за это я дала ему крошечную часть своей души, не тела, о, нет!.. Я перед тобой чиста. И ты понимаешь, почему я так яростно вчера набросилась на него за то, что он только посидел с той красивой женщиной в белом, которая ему, конечно, ни на что не нужна, конечно, не интересна и, конечно, он больше никогда не увидит ее, раз я того захотела... но если я однажды, благодаря своему отчаянию, оторвала для него кусок своей души (он ничтожество в сравнении с тобой), то я требую дорогой платы за это. Пусть он от всего откажется, тогда я поверю в нужность своей жертвы для него. И малейший намек на то, что он мог бы как-нибудь обойтись без этого, хотя бы это было и бесконечно для него тяжело, делает всю мою жертву нулем. Ради чего же я уродовала себя!? — спросила бы я тогда себя.

— И он сегодня это почувствовал.

Она вдруг замолчала. Глаза ее остановились на глазах Сергея, блеснули, как вспыхнувшие искры, и она, положив ему на плечи свои красивые тонкие руки, сказала как-то странно тихо:

— Вот мое мученье... Вот оно!..

Сергей смотрел ей в глаза и ему захотелось сказать ей:

— «Я не люблю тебя так, как тебе хотелось бы этого, так как жизни своей не отдам никому, потому что она нужна мне для дела. Но мне жаль тебя и за твою необычайную, хотя и непонятную для меня любовь, раз она единственно для тебя, я не могу тебя оставить и буду тебе давать то, что могу».

Людмила долго смотрела ему в глаза, все еще держа руки на его плечах, потом сказала:

— Как мало осталось от того, чем я владела вначале и на что я рассчитывала.

— Ну, идем! не будем считать, что и как, — сказала Людмила энергично и весело, как-будто стряхивая с себя все тяжелые мысли и сомнения. У меня сегодня праздник, я иду с моим господином. Если он меня не любит, то у меня есть утешение, что он и никого не любит. Это легче.

XLIII

Она с видимым удовольствием собиралась, долго причесывала перед зеркалом свои роскошные волосы, которые она все берегла и не стригла. Волосы ее свешивались до самого пола, когда она, нагнув голову, перекидывала их наперед и расчесывала редкой гребенкой от затылка.

При этих сборах повторилось то, что бывало обыкновенно всегда: Сергей уже давно был готов, а она еще не готова. Сергей сам оделся, а ей забыл подать пальто.

Но он решил, что раз уж все равно идет не туда, куда собирался, то пусть будет так и лучше взять себя в руки и не портить настроения из мелочей ей и себе. Кроме того, ему хотелось рассказать Людмиле о том, что у него была Груша и что она без всяких сцен расспрашивала про его жизнь с нею. Ему хотелось вызвать у Людмилы хорошее отношение к Груше, которую она считала своим врагом.

Когда они вышли на улицу и пошли к трамваю, Сергей сказал:

— Я пережил несколько очень приятных минут.

Людмила, очевидно, думая, что это относится к ней, молча крепко прижала к себе его руку, за которую она держалась.

— Ты когда-то очень торопилась с разводом, тебе казалось, что моя жена будет оспаривать у тебя «права» на меня. Но она оказалась такую, что даже я этого не ожидал.

Рука Людмилы, прижимавшая минуту назад его руку, вдруг легла неподвижно в его руке.

— Она ведь была у меня, — продолжал Сергей.

— ...Как, была у тебя?.. Где была?

— На службе. И ты знаешь, она с таким участием расспрашивала о моей жизни, как-будто имела в виду только мои интересы, не думая в это время совершенно о себе.

И чем больше Сергей продолжал рассказывать про Грушу, выставляя ее, как человека, который не думает посягать на ее, Людмилино, счастье, тем рука Людмилы становилась неподвижнее. Наконец, она совсем вынула ее из-под руки Сергея.

Сергей опять не заметил этого и сказал:

— И ты знаешь, мне хотелось ее привести к нам и как-то отплатить ей за такое отношение. Но я подумал, что тебе это будет неприятно...

— И у тебя было к ней чувство повышенной любви, как к жертве, а ко мне раздражение за то, что благодаря мне ты не можешь приютить эту жертву?

— Откуда ты взяла это? — сказал Сергей, вдруг почувствовав раздражение, которое, будучи насильственно сдержано раньше, теперь прорвалось с неожиданной силой.

— Из твоих слов.

— Я только все больше и больше убеждаюсь, что с тобой все время нужно быть осторожным, как с врагом, потому что ты из каждого

слова можешь вывести то, чего в нем нет. С тобой все нужно взвешивать и оглядываться.

— А ты думал сделать мне приятное, выражая восторг перед душевными качествами своей первой жены? Но у меня нет христианского смирения ради смирения. И этого восторга, конечно, лучше бы мне не передавать вовсе.

— Я думаю, будет спокойнее, если тебе вовсе ничего не передавать.

— Боже мой, — сказала Людмила, как бы сама с собой, — меня не пожалел ни разу, никогда, ни одним словом, когда у меня сердце сочилось кровью, а тут не только жалеет, тут он умилен...

Сергей ничего не ответил. Шли уже молча. К трамваю опоздали. Он только что ушел, и еще были видны его красные огни под горой, а на остановке была какая-то унылая пустота. Ни он, ни она не сказали друг другу больше ни слова и остановились ждать, глядя при этом в противоположные стороны.

Потом пошли к автобусной остановке. Там стояло человек пять в очереди. И когда автобус подошел, все, толкаясь, полезли, а Людмила осталась позади и сказала, что она не может садиться, когда такая толпа.

— Да где же толпа, когда всего пять человек было?

— Все равно — толпа, — ответила Людмила без раздражения, но с таким упорным видом, который стоил всякого раздражения.

В конце концов, поехали на извозчике, при чем опять смотрели в разные стороны и молчали.

Наконец, Людмила горько усмехнулась и сказала:

— Вот и поехали вместе...

Сергей хотел было зло ответить на это: «С тобой всегда этим кончается». Но он ничего не сказал и сидел молча, глядя в противоположную сторону, не слыша и нарочно не слушая того, что говорила Людмила. Когда она просила его что-нибудь поправить у нее, он молча поправлял и опять садился в прежнее положение.

— Я собиралась, как на праздник, — сказала она, — и вот весь праздник... Очевидно, уже ничто не поможет... Все идет к концу. И я должна теперь быть признательна тому человеку, — над которым так жестоко издевалась, — хоть ему одному я не нужна, тогда как другим...

Пьесу смотрели молча и каждый думал о том, что другие приходят в театр, получают удовольствие от радости быть вместе, а у них даже удовольствие превращается в какое-то нудное отбывание повинности. Потому что, в самом деле, не вставать же посредине действия и не уезжать домой.

Они сидели, как чужие, каждый в своем кресле. Сергей думал о том, какая была в нем прежде крепость и сила, а теперь он стал похож на любого интеллигента, который способен идти туда, куда ему не нужно, а сделать что-нибудь у него не хватает сил. Он только печалится и рассуждает. И вот он теперь тоже рассуждает.

Людмила упорно смотрела на сцену. Иногда глаза ее начинали часто моргать, но она делала усилие и, не опуская глаз, продолжала смотреть, не изменяя своего упорного выражения. И даже когда опустился занавес, она все продолжала смотреть на то место, куда смотрела раньше.

Во втором антракте она встала и пошла в фойе. Так как она ничего не сказала Сергею, то он в первую минуту остался сидеть. Потом встал и пошел за ней.

Но едва только она вышла в коридор, как сейчас же почти вбежала обратно в залу. На ее лице был ужас.

Она держалась рукой за голову и остановившимися глазами смотрела перед собой.

— Что с тобой? Что, скажи, — говорил Сергей.

Людмила ничего не отвечала. Уже начала с беспокойным интересом останавливаться публика.

— Домой... скорей домой!.. — только прошептала Людмила, все продолжая смотреть перед собой в пространство. И только изредка какие-то судороги боли и отвращения искривляли ее лицо.

Сергей торопливо свел ее вниз, одел. Она продолжала быть как в столбняке и только все повторяла, уже тихо, почти беззвучно:

— Домой... домой...

XLIV

Всю дорогу она молчала, глядя расширенными глазами перед собой в одну точку, как в столбняке.

Он привез ее домой, раздел. Она все так же стояла неподвижно, когда он снимал с нее шляпу, пальто.

— Что ты увидела там?.. скажи же, так нельзя, — говорил Сергей.

Людмила, не ответив, отстранила его рукой и, слегка пошатываясь, ушла в свою комнату.

— Оставь меня... — тихо, одними губами, сказала она.

Сергей остался в своей комнате. Иногда он подходил к двери и смотрел на Людмилу.

Она сидела неподвижно около туалетного стола, повернувшись от него боком, как села в первое мгновение.

Сергей терялся в догадках и совершенно не мог понять, что случилось в театре. У нее был такой ужас, когда она вышла в коридор и сейчас же выбежала обратно, какой бывает у человека, которому вдруг стало ясно, что он погиб.

Сергей накапал в рюмку валерьяновых капель и хотел ей отнести. Но вдруг услышал из ее комнаты смех. Это был веселый, звонкий смех, каким она иногда смеялась, когда ей было особенно смешно.

Сергей облегченно вздохнул. Он подумал, что или это была с ее стороны шутка или то, что сначала привело ее в такое состояние, теперь самой показалось вдруг вздором.

Он вошел в комнату и сказал:

— Ну, вот и прошло, а уж я валерьянки несую.

Людмила, не обратив внимания на его слова и глядя куда-то в угол, заразительно весело хохотала. Сергей вдруг с неприятным чувством увидел, что лицо ее совершенно неподвижно и только из горла вырывается этот неестественно веселый смех.

Он подошел и сильно потряс ее за плечо.

— Остановись, слышишь! — крикнул он на нее.

Она, точно проснувшись, удивленно повернула к нему голову и смотрела на него, как на незнакомого. Потом ее сознание стало проясняться. Она увидела его. И, как бы окончательно придя в себя, взялась рукой за голову и глубоко вздохнула. Потом остановила взгляд на рюмке.

— Выпей, это валерьянка...

Людмила вдруг взглянула на Сергея совершенно сознательным, понимающим взглядом и весело засмеялась, как забавной какой-то шутке.

— Не того накапал, милый, не того...

— Чего «не того накапал»?

— Не того надо, — сказала Людмила.

— Какой вздор ты говоришь, — сказал Сергей, поняв ее мысль. — Скажи же, что с тобой случилось?

Людмила усмехнулась.

— Теперь я явлюсь к создателю с душой... — сказала она, — с душой, потому что на земле она никому не нужна.

— С какой душой? — спросил Сергей, ничего не понимая.

— Я-то думала, — продолжала она, не ответив Сергею, — что я этим спасаю человека... что я должна пойти на эту жертву. О, как мерзко! О, как гнусно все!

Она заломила руки и затрясла в иступлении головой, точно хотела вытряхнуть из нее все жегшие ее мозг невозможные мысли.

Потом вдруг повернулась к Сергею, схватила его руку своей лихорадочно горячей рукой и, глядя ему в глаза горящими глазами, начала быстро говорить:

— Ты знаешь, когда он валялся у меня в ногах, когда он в продолжение многих лет просил у меня, как высшего дара, моей любви и говорил, что ему моя... дружба нужна, как смысл жизни, как единственное, что даст ему жизнь, я думала, что я обязана ему дать это! И когда ты ушел от меня, когда ты ушел, я сказала себе, что если я уже сломлена, если душа моя оказалась не нужна тебе, то я отдам ее этому человеку, отдам, потому что так будет справедливо, душа моя не запачкается, если я против желания пожертвую собой и отдам ее тому, кому она так нужна. Она будет чиста. Будет!

— И вот я увидела его... Сейчас, в театре. Он не пошел со мной, я звала его, когда он был у меня. Он сказал, что сегодня не мо-

жет пойти в театр, он занят. Он с о л г а л! Он был с тою женщиной... с черной мушкой. И я почувствовала, что мне плюнули в то место, где у меня душа, и выбросили ее, выбросили это, — как я думала, — высшее мое сокровище... выбросили, как негодную тряпку. И кто же! Боже мой, кто же? Кому я, уродуя себя, чтобы «с п а с т и» его, отдала ее. Он ходил с другой, он смотрел ей в глаза... так же, как мне когда-то смотрел.

— Почему ты так остро принимаешь это, раз ты сама тяготилась его дружбой?

Людмила быстро взглянула на Сергея. Лицо ее стало совершенно бледным, и она тихо, почти не разжимая губ, сказала едва слышно:

— Потому что... потому что я... была с ним в связи.

Сергей почувствовал, как от неожиданности такого ответа кровь отлила у него от сердца.

— Когда это случилось? — спросил он, не глядя на Людмилу.

— Это было... очень давно, а потом возобновилось... когда ты уезжал на завод...

— Значит, это случилось перед тем, как мы только что условились о п о л н о й правде между нами?

Людмила вздрогнула, точно до нее дотронулись раскаленным железом, и сказала едва слышно:

— ...Да.

Сергей отошел от нее и вошел в свою комнату. Подошел к столу и долго стоял около него, в голове не было никаких мыслей. Он только почему-то посмотрел на календарь и обратил внимание на то, что он остался неперевернутым на вчерашнем числе 30 июня.

За его спиной было молчание. Людмила осталась в неподвижно-окаменелом положении, уронив на колени руки. Глаза ее были сухи и только горели неестественно сильным, сухим блеском.

Потом вдруг встала, подошла к двери и, улыбнувшись какой-то странной улыбкой, от которой Сергею стало страшно, сказала:

— Кончилось, милый?..

И вдруг, подбежав к нему, упала на пол перед ним на колени, обняла их и сжала с неестественной силой, как-будто хотела навсегда что-то удержать, потом, оттолкнув, вскочила и, схватив со столика шляпу, выбежала из комнаты.

Сергей часа два сидел неподвижно в кресле, потом достал почтовой бумаги, стал писать.

«Да, теперь уже кончилось... Я ухожу от тебя совсем не потому, что ты мне «изменила». Я давно бы ушел от тебя, но я думал, что твоя любовь живет моей сущностью, как единственной для тебя и неповторяемой. Но теперь я увидел, что тебе нужен просто человек, силой которого бы ты жила, потому что у тебя нет собственной силы жизни. Тебе нужно около кого-то обвиться и питаться его соками.

«Ты, как ужаса, как смерти, боишься одиночества. Потому что в одиночестве и есть для тебя смерть.

«Ведь для тебя жить в мире без близкого человека значит жить в мертвой пустыне. Твое счастье в удалении от мира с одним. Но меня с успехом может заменить другой. Тот, кто пойдет за тобой, должен изменить себе во имя, твоей большой любви.

«И вот я ставлю вопрос: чему я должен отдать предпочтение: твоему счастью или тому вечному началу, которое дает жизнь во мне, требует движения и слияния со всем миром, а не с одним человеком?

«Мы с тобой прошли все возможные этапы: и любви, и лжи, и внутреннего ничтожества,—какое я чувствовал в себе, благодаря этой лжи,—и «полной» правды, и взаимных уступок. Я думал, что, уступая тебе, я смогу (хотя и не полно) все-таки жить тем, чем я должен жить, но скоро убедился, что душа твоя хочет большой добычи. Она хочет всего и не остановится на части, потому что она себя всю отдает и того же хочет от другого.

«Мы люди двух миров. Ты — все-таки лучшая из женщин старого мира. Но самые принципы жизни у нас с тобой не различны, а противоположны. И вместе мы жить не можем.

«Когда-то я записал в своей тетради:

«Кто увидел свой путь, тот должен быть жесток и не уступать ни на один шаг в своем пути. Он должен брать только то, что нужно ему для пути».

Написав письмо, Сергей встал. Было уже совсем утро.

Он заглянул на календарь и машинально перевернул листок с 30-го июня на 2-е июля.

Через три дня Сергей был уже в деревне. Он поехал на одну неделю, чтобы рассеять впечатления последних дней.

Со станции он шел пешком напрямик луговой тропинкой. Было около пяти часов дня, то время, когда начинает спадать жара, солнце уходит из лощин, и луговая трава, поникшая от жары, и цветы понемногу оживают.

Вода в реке перестает ослепительно блестеть и на глубоком месте, около прибрежных кустов, начинает отливать спокойной гладью.

Вдали виднелись знакомые пространства: деревни, лесок на горе и село с белой церковью.

Сергей искупался и, освеженный прохладной предвечерней водой, долго сидел на зеленом берегу, испытывая совершенно новое ощущение полного внутреннего покоя и тишины.

Ему было странно от мысли, что он может сколько угодно сидеть один среди этих луговых просторов, между ними и им никто не стоит.

Когда он подходил к дому со стороны огородов, первую его увидела Груша. Она с подоткнутым сарафаном и с босыми белыми ногами полола на огороде грядки. Увидев его, она радостно всплеснула ру-

ками и побежала ему навстречу, споткнувшись от поспешности на картофельную грядку. И когда добежала до него, запыхавшись, с капельками жаркого пота на белой с веснушками шее, то не знала, что сказать и только схватила его руки и прижала их туго к своей мягкой груди.

Сергей вдруг почувствовал запах чего-то странно-знакомо: пахло высокой коноплей, росшей на огородах, зацветающим уже картофелем, дымом со стороны деревни и ситцевым сарафаном Груши. А потом вдруг из лощины потянуло запахом прудовой воды, и он услышал знакомый с детства стук валька. Это бабы перед вечером споласкивали холсты и колотили по ним вальками на мокрых досках прудовых мостков.

И вся эта спокойная картина вечера с опускающимся за садами солнцем, с блещущим вечерним золотом крестом колокольни, с дорожной пылью, еще теплой от знойного дня, обрадовала его, как неожиданность.

Пробыть здесь неделю, встать вместе с солнцем, когда на лугах еще дымятся утренние пары, потом умыться на крыльце из чугуна с двумя носиками рукомойника, висящего на веревочке, есть теплую картошку с квасом, который пенится от нее. Потом снять в сарае с перемета отбитую с вечера косу и итти вниз к парому и блещущей на утреннем солнце реке, чтобы ехать на ту сторону в луга, — все это было точно неожиданной новостью, неожиданным освежением.

И Груша показалась ему теперь не отдельным существом, а как бы живой частью всего того, что было у него перед глазами.

На заре он пошел с косой на луг. Хорошо было дышать смешанным запахом клевера и ромашки, спускаться к берегу реки и, обкосив крайние кусты размашистыми редкими взмахами, с расстегнутым воротом рубашки припасть горячим, пересохшим ртом к холодной струе родниковой воды. Потом, обтерев косу травой и сполоснувши ее в реке, начинать новый ряд.

А в обед — знойное безмолвие деревни, как бы заснувшей в истоме среди дающих короткую тень раки, водовозок и погребниц... Потом — снова веселый и освобождающий душу труд.

Сергей пошел с луга, когда уже село солнце, прошел по берегу реки, где он когда-то ловил раков, лазая с засученными штанами по камням. Увидел даже знакомые большие камни на берегу, по которым после купанья вылезали из воды, чтобы не пачкать ног.

Придя домой, он вытряхнул засыпавшееся за ворот мелкое сухое сено и долго мыл лицо и шею холодной водой, которую подавала ему Груша из деревянного корытца на траве посередине двора.

Ужинали по-летнему, без огня, на траве у крыльца. Ели щи с куском баранины. Мать сделала себе мурцовку в маленькой глиняной миске, крошив в нее хлеба с луком и постным маслом и налив воды.

Отец, сначала ворчавший на то, что она не ест со всеми; тоже изредка черпал своей ложкой из ее чашки.

Тут же на траве, немного в сторонке, сидела собака Дружок и, наклоня голову то на одну, то на другую сторону, ждала, когда ей бросят кость или корку хлеба, и каждый раз при чьем-нибудь движении слегка приподнимала уши и опять их опускала.

Старики не поднимали разговора о семейной жизни Сергея, как будто ничего не произошло. И он никому ничего не сказал, что случилось у него три дня тому назад.

После ужина отец сидел в валенках и полушубке на заваленке, и долго попыхивала в сумерках его трубочка, в то время, как мать и Груша собирали остатки ужина и бросали корки Дружку, который ловил их на лету и, зажав между лап, ел на траве.

Сергей пошел спать в сарай.

В раскрытых воротах стоял ящик телеги, снятый с колес, в нем было постелено новое душистое сено.

Сергей разделся, лег на спину и, укрывшись, стал смотреть через раскрытые ворота на небо с мерцавшими звездами.

В сарае стоял тот приятный, знакомый с детства, успокаивающий запах сена, прошлогодней соломы, колоса и той особенной пыли, которая бывает в молотильных сараях в щелях переметов и ореховом решетнике под соломенной крышей с длинной паутиной, похожей на веревки.

Сергей лежал, смотрел вверх, принюхивался к запахам и чувствовал незнакомый ему раньше покой и какую-то внутреннюю ясность. Далекие звезды казались ему близкими, он видел их и в детстве на тех же самых местах. Казалось, что они говорили ему своею вечной неизменностью о том, что, куда бы он ни отошел и ни свернул со своей дороги, он может только посмотреть на них и снова найти утраченную ясность души и своего пути. Но он почувствовал, что не мог бы жить стоячей, однообразной деревенской жизнью. Ему нужен был город и люди города с их повышенной жизнью, с их ошибками, страданиями и новыми прозрениями, а сюда можно было только изредка уходить, чтобы в тишине получать ту ясность жизни и своего основного стремления, какая была сейчас в нем.

Послышались шаги босых ног. Это шла Груша.

Она села на грядку тележного ящика около Сергея и, найдя его руку, сидела молча и гладила ее.

— Может, помягче что постелить? — спросила она.

— Нет, ничего, и так хорошо, — ответил Сергей. Он решил пока ничего не говорить Груше о том, что произошло.

— Наморился, небось, за день-то с непривычки?

— Сначала плечи очень болели, а потом ничего.

— Ты что, думаешь, что ли, о чем? — спросила немного погодя Груша.

— Нет, просто так лежу, смотрю на звезды.

— Я тоже иной раз лежу и, когда не спится, все смотрю. Говорят, там тоже люди живут, — сказала она, задумчиво глядя на звезды.

— Неизвестно, — ответил Сергей.

— А то говорят, что это человеческие души. У каждого человека своя звезда есть. И как она упадет, так человек умирает. Вон одна упала. Ничего-то мы не знаем... — сказала она, помолчав и вздохнув.

Лицо ее было обращено в сторону неба, к звездам, и Сергей видел в полумраке сарая только ее профиль в платочке.

Потом она, спросив, не нужно ли чего ему, ушла в избу. Он слышал, как стукнула вертушка в сенцах. Он так помнил этот звук... с того еще времени, когда она, бывало, приходила к нему в сарай, и он лежал и с нетерпением ждал, когда стукнет вертушка в сенцах, значит, она идет. Он знал, что не вернется к ней, как к жене, но у него было к Груше какое-то благодарное и теплое чувство, как к близкому человеку.

Где-то поблескивала зарница. Ночь попрежнему была тиха, пахло сеном, и попрежнему в вышине мерцали звезды.

Сергей смотрел на них, ему было спокойно и хорошо. Необычайно ясной казалась даль своего пути и смысл участия в общей жизни.

Его движение не остановилось за этот год, а продолжалось. Теперь, в состоянии новой свободы, нужно только идти и отмечать каждую свою новую ступень.

Он затронет совпадающими ступенями то, что лежит пока не у дел в других людях, и тогда им (как это было у него) откроется самое большое сокровище, которым владеет, сам того не зная, каждый человек.

Кичкенэ. Малаховка. Сосновка. 1-го окт. 1927 г.

Весной

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ

Густые ветры задували
Скалой оплывшую свечу,
А за окном, в весенней тали,
Мелькали поезда...

Чуть-чуть
Не налетая на поселок,
На повороте зарычав,
Тонул в сугробах низких елок
Короткой молнией состав.

Тонул, но долго и лениво
Дрожала вспугнутая мгла,
И месяц незрелой сливой
Качался в зелени окна.

Клубились теплые туманы,
Листву охватывала дрожь,
И было радостно и странно
Почувствовать, что ты живешь.

Взбухающий отвагой вечер,
В нем каждый миг как час, как год,
И о бессмертии человечьем
Весна за окнами поет...



Мои встречи с Горьким

Влад. Бонч-Бруевич

В 1905 г., когда я, по поручению Центрального Комитета нашей партии, в качестве его агента, совершал большую нелегальную поездку по России с агитацией за III С'езд, еще при от'езде из Женевы мне Владимир Ильич сказал:

— Есть предложение от Горького организовать за границей издание его произведений, а также и других писателей, входящих в группу «Знание», с тем, чтобы доход от этих изданий поступал в кассу нашей партии. Будете в Петербурге, постарайтесь повидаться с Алексеем Максимовичем и переговорить об этом с ним.

Откуда и через кого поступило это предложение — мне было неизвестно. Владимир Ильич мне об этом сказал почти что в последнюю минуту перед самым моим от'ездом. Когда я из Риги приехал в Петербург, то стал думать, между прочим, и о встрече с Горьким, чтобы перетолковать с ним по этому поводу. Но случилось так, что Горького не было в Петербурге, его товарищей по издательству я никого не знал, и мне пришлось отложить эти переговоры до другого времени. Мне стало известно, что Горький уехал в Крым и что он там пробудет несколько месяцев. Тогда я решил, при моей поездке на юг обязательно добраться до Крыма и повидать Алексея Максимовича.

Относились мы к произведениям А. М. Горького крайне сочувственно, и в 1904 г., когда появилась его пьеса «На дне», издали в нашей «Группе содействия партии» в Женеве фотографии отдельных сцен из этой пьесы; их с большой охотой раскупала у нас русская публика на всяких вечеринках, рефератах, и общественных собраниях как в женевской колонии, так и во всех других европейских городах. На вечерах русской колонии того времени произведения Горького охотно читались, вызывая постоянно гром аплодисментов, нередко переходивших в прямую овацию тому писателю, который вышел из глухих низов и который описал жизнь самых угнетенных групп населения, окраин города, поселков и заводов.

Мне пришлось вскоре уехать из Петербурга в Москву, потом двинуться на юг, доехать до Ростова-на-Дону по делам партии, оттуда вернуться обратно в Петербург. Во время этого моего второго приезда в Петербург

мне удалось познакомиться с Евгением Чириковым и подробно с ним разговаривать. Оказалось, что и он знаком с планом Горького, сущность которого сводилась к тому, чтобы за границей организовать издательство для выпуска произведений русских авторов на русском языке и тем самым, в виду отсутствия конвенции, закрепить право этих авторов в различных государствах, чтобы таким образом лишить возможности всех и всяческих переводчиков, беспощадно искажавших произведения наших писателей и вырывавших из них то, что им заблагорассудится, переводить произведения Горького, Чирикова, Скитальца, Бунина, Куприна, Андреева и других писателей группы «Знание», без разрешения на то самих авторов, при чем доход от этих изданий на русском языке за границей предполагалось отдавать в кассу нашей партии.

Ничего не оставалось другого, как специально поехать из Петербурга в Крым, чтобы повидать Алексея Максимовича. Получив адрес от Чирикова, я поехал в Крым. Это было как раз под пасху. Из Симферополя, с каким-то случайным попутчиком, ехавшим в Ялту, я поехал на лошадях, так как мне очень не хотелось появляться в Севастополе, где, по нашим сведениям, свирепствовала охранная полиция, и где проскочить через заставы было весьма затруднительно. В Симферополе стояли холода, и чем выше мы поднимались на Чатыр-даг, тем все более и более мы попадали в снег. Наверху крутила метель, лошади понуро шли вперед, еле-еле таща нашу бричку. Наконец, мы перевалили вершину и стали быстро спускаться, раскатываясь и скользя во все стороны, рискуя перевернуться на каждом крутом повороте. Еще и еще крутые зигзаги дороги,—и вот сразу глянуло на нас южное, уже заходящее солнце, пригрело, пахнуло морским теплом, и перед нами раскрылась бесконечная пелена едва волнующегося моря. Немножко отдохнув в Алуште и получив неожиданный утрек от моего спутника, как это я, в такой великий день, как страстная пятница, потребовал себе шашлыка, в то время, как этот благочестивый торювец за обе щеки уплетал то камбалу, то осетрину, попутив и посмеясь, мы забрались в нашу таратайку и двинулись дальше по берегу моря. Лошади шли бодро, мы скоро катили по прекрасной дороге и не заметили, как вдруг наша повозка застучала и затарахтела по мостовой Ялты. Мы подехали к какому-то пансиону, куда держал путь мой спутник и где ждала его молодая жена, бросившаяся ему навстречу, как только издали еще завидела его то поднимающуюся, то садящуюся волнующуюся растрепанную фигуру. Мы распрошались с ним. Тут же справившись у прислуги о даче, где жил Алексей Максимович, оставив чемодан на сохранение у моего случайного спутника, я в осеннем пальто, так не гармонировавшем с теплым южным ялтинским вечером, в калошах отправился искать дом Алексея Максимовича. Когда я говорил название дачи и спрашивал фамилию его владельца, мне многие отвечали, что они не знают, но когда я вдруг случайно спросил, где здесь живет Горький, то первый же встречный сказал мне:

— Алексей Максимович? Да вон там, на горе...

Я понял, что местные жители здесь менее друг другу известны, чем популярный художник-писатель, гремевший на всю Россию. Так, называя

то его имя, то его фамилию, я быстро дошел до той улицы, где жил Горький. Когда я пришел туда, меня подозрительно осмотрели, и это мне дало понять, что Алексея Максимовича сторожат, что к Алексею Максимовичу заходят люди с затаенной целью его проследить и что здесь мне нужно быть достаточно умелым, чтобы сразу же дать Алексею Максимовичу возможность ориентироваться, кто к нему пришел.

Меня провели в комнату, где сидела стройная, красивая женщина, немного испуганно смотревшая на меня, и Алексей Максимович. Я подошел к Горькому, сказал ему, что приехал из Петербурга, что Чириков шлет ему привет, что я его только что видел у него на квартире, приехал по одному делу и хотел бы переговорить с ним как от себя лично, так и от имени Е. Н. Чирикова.

— Вот и чудесно, — воскликнул Алексей Максимович, — прошу садитесь и расскажите-ка, батенька, нам, что у вас за дело такое?

Так как мне пришлось бы говорить и о делах партии, то я мялся, робко поглядывая на женщину, и говорил то о том, то о другом, а дела не касался. Когда я умолк и когда наступило неловкое молчание, Алексей Максимович, вдруг догадавшийся, в чем тут дело, улыбнулся и сказал мне:

— Это что же вы, стесняетесь? Так я вас прошу, не стесняйтесь. Это моя жена, она свой человек.

Хотя для меня и не было привычно считать жену обязательно «своим человеком», хотя я и был воспитан в партии в строгих правилах суровой конспирации, которая запрещала нам говорить даже о самых маленьких мелочах самым близким людям, раз это их непосредственно не касалось, даже несмотря на то, что они были членами партии, я понял, что здесь мне не удастся провести то конспиративное начало, к которому я привык, и что мне ничего другого не оставалось, как начать разговор в присутствии двоих, тем более, что здесь и конспирация-то была не очень большая. Я сказал, что приехал из-за границы, что у меня имеется поручение от партии переговорить с ним по поводу издания за границей его произведений и произведений некоторых других писателей, что я об этом уже говорил в Петербурге с Чириковым, а теперь приехал в Ялту специально для того, чтобы переговорить с ним лично. Алексей Максимович сразу оживился и стал рассказывать о том плане, который у него имеется по этому поводу, и тут же добавил, что все детали этого плана разработаны у Константина Петровича Пятницкого, который является ответственным заведующим «Знания» и к которому мне придется обратиться. Я невольно рассмеялся, что мне по этому делу пришлось, прежде чем в Петербурге узнать адрес, к кому обратиться, поехать в Ялту к Алексею Максимовичу. Я тотчас же добавил, что я очень был рад этому неожиданному путешествию, чтобы с ним познакомиться и потолковать. Мы разговорились о делах, сейчас же нашли общих знакомых, и через какие-нибудь полчаса оживленно беседовали о всех последних политических новостях и событиях. Алексей Максимович хранит в себе особую тайну привлекательности, какой-то подход к людям, совершенно исключительный и чрезвычайно редко встречающийся. Он ставит и себя и слушателя в такое положение, что ничего другого не остается, как

только уж если беседовать, то беседовать по душам, откровенно и идейно напряженно.

Спускалась южная ялтинская ночь. Мы пошли на балкон, пили чай и так было прекрасно, задушевно, уютно и так не хотелось уходить спать, что только под настойчивым влиянием Марии Федоровны, которая нежно заботилась о здоровье Алексея Максимовича, в то время несколько хворавшего, мы разошлись. Я не заметил, как немедленно заснул в предложенной мне для ночлега комнате.

Я вышел из дачи А. М. Горького, когда все еще спали, так как та линейка, которая ехала на Севастополь, — а мне пришлось теперь ехать именно этим путем, — отходила в половине седьмого утра. Мне хотелось так уйти с дачи Горького, чтобы меня никто не заметил и чтобы я своей ночевкой не навлек на него какого-либо подозрения соседей, или тех агентов, которые, конечно, обязательно должны были следить за Алексеем Максимовичем. Я пошел в сторону, противоположную тому пути, который сделал вчера; виноградниками, переулочками и улицами спустился на набережную Ялты и пошел к почтовой станции, чтобы взять билет. Почтовая станция находилась рядом с небольшим кафе, где суетливый молодой турок с воодушевлением смотрел на каждого проходящего, и я, не успевши переступить порог этой обители, тотчас же был им атакован и засыпан приглашениями выпить прекрасного гурьевского кофе, пряный запах которого так вкусно распространялся повсюду. Я сел за отдельный столик, поручил услужливому турку взять мне билет до Севастополя и узнал от него, что через 45 минут лошади будут поданы. Пришли еще и еще пассажиры и, к моей великой радости, я не заметил ни одного хоть сколько-нибудь подозрительного и не увидел также ни полицейского, ни дворника, ни какого-либо другого агента внутренней охраны. Наконец, подкатила линейка, мы взгромоздились на нее, при чем я сел на последнее место, чтобы не иметь сзади себя никакого наблюдателя и не быть мишенью изучения любопытных взоров. Подошел кондуктор, протрубил в рожок и наш, очень неудобный, экипаж двинулся в путь.

У меня в кармане было письмо к Пятницкому, которое сначала хотел написать Алексей Максимович, но Мария Федоровна Андреева заволновалась и запротестовала, и я благодарно понял ее, когда она предложила свои услуги написать это письмо в иносказательных выражениях, рекомендуя Константину Петровичу обратить внимание на меня, как на агента, распространявшего книги, и сделать решительно все, что возможно для этого дела. При этом она сказала:

— У меня есть условие с ним; я так подпишусь и употреблю такое слово, что он поймет, что вам надо верить и вас выслушать. Мне очень не хочется, чтобы письмо писал Алексей Максимович. Знаете, все бывает, провалитесь, попадетя его письмо, и опять начнется таскание его по жандармам. А если найдут мое письмо, то это не страшно, я всегда сумею отвертеться и сказать, что вот вы заезжали, как агент, и я послала вас к заведующему, и вы себя так и держите, и дело пройдет.

Алексей Максимович ходил тут же и баском гудел, что все это ерунда, излишние опасения, что приходится уступать женскому террору, из-за ко-

того не удастся делать то, что хочешь. Но говорил он это так добродушно и так ласково, что чувствовалось, что он был доволен, что над ним есть такая хорошая предупредительная опека.

К вечеру я был в Севастополе и под первый день пасхи сел в поезд, который отходил в двенадцать часов ночи. В поезде почти никого не было. В целом вагоне третьего класса я ехал один. И так спокойно, без всяких тревог и волнений, я опять доехал до Петербурга, остановился у моих друзей и тотчас же отправился к К. П. Пятницкому, который сразу принял меня очень хорошо, прочел письмо Марии Федоровны, захлопотал, сыт ли я, имею ли я квартиру, да не надо ли мне денег? Проект издания книг за границей был у него разработан самым детальным образом. Я с ним близко ознакомился и, увидев его полную практичность, сказал, что мои женеvские товарищи, я полагаю, согласятся на эту инициативу издательства «Знание». К. П. Пятницкий сообщил мне, что все формальные стороны этого вопроса он поручил осуществить Ивану Павловичу Ладыжникову, который должен скоро приехать за границу, после двухлетней отсидки в тюрьме и ссылки по известному нижегородскому делу.

Действительно, И. П. Ладыжников приехал в Женеву в 1905 г., в июле месяце, и мы организовали с разрешения ЦК нашей партии издательство под названием «Демос», в котором и стали издавать произведения Горького, Чирикова, Скитальца. Печатали их в типографии с.-д. издательства Дица в Штуттгарте. Вскоре появилась в свет драма Горького «Дети солнца», рассказ Скитальца «Полевой суд», небольшая вещь Горького, в то время только что запрещенная царской цензурой, и намеревались начать издавать целый ряд книг, когда грянула революция 1905 г., и мы все уехали в Россию. И. П. Ладыжников, ликвидировав все дело в Женеве, приехал в Берлин, где организовал свое известное издательство, в котором появлялись очень многие произведения наших писателей и которое так и называлось «Издательство И. П. Ладыжникова».

Оставшись после революции 1905 г. жить в Петербурге, я довольно часто встречался с Алексеем Максимовичем у него на квартире, на Знаменской улице, а затем в Финляндии, куда он переехал, до того самого момента, когда так сгустилась политическая обстановка времен реакции 1906—08 г. г. и когда ему и его жене, Марии Федоровне Андреевой, прямым образом стал угрожать процесс, а может быть, и арест за издание газеты «Новая Жизнь», в которой такое деятельное участие принимал Владимир Ильич Ленин и которая была закрыта под давлением царского правительства. Когда все более и более черная волна реакции стала захлестывать и самого Алексея Максимовича, когда его все более и более стали подозревать во всевозможных конспиративных делах, он, по совету своих политических друзей, к тому же чувствуя большое недомогание в силу своего недуга, покинул Россию и уехал за границу, на остров Капри.

В этот период пребывания моего в России, когда мне пришлось, с разрешения партии и с ведома Владимира Ильича, организовать легальное издательство «Жизнь и Знание», которое я целиком и полностью считал принадлежащим партии и которое я в 1917 г. сдал со всем имуществом

нашему Центральному Комитету, я имел большое удовольствие издавать много сочинений Алексея Максимовича отдельными томами, при чем необходимо будет когда-либо особо описать те бесконечные мытарства, которые пришлось претерпеть от цензурного ведомства при выпуске в свет многих из произведений М. Горького. Бывали случаи, когда три четверти книги цензурой уничтожалось. Так было поступлено с повестью «Жизнь ненужного человека», где Алексей Максимович так прекрасно описывает подлинный мир охранного отделения, деятельность и психологию шпионов его величества, и, конечно, эти разоблачения были весьма не по нутру властям того времени. Некоторые книги Алексея Максимовича расходились тогда с изумительной быстротой. Так, например, его книга «Детство» разошлась в нескольких изданиях в течение не более года.

Следующий этап моих сношений с Алексеем Максимовичем был в последний год перед Февральской революцией, когда Алексей Максимович вернулся в Россию и стал центром общественного внимания в Петербурге, издавая журнал «Летопись», а потом газету «Новая Жизнь». Помимо этой литературной деятельности Алексей Максимович приковывал к себе внимание различных общественных деятелей и организаций смело поднятой борьбой против того отчаянного юдофобства, которое охватило громадные слои населения Петербурга и России под действием черносотенной агитации правительства, шовинистической пропаганды большинства наших газет, которые всеми и всяческими намеками хотели свалить неуспех войны на якобы отрицательную деятельность евреев в полосе фронта. Могу сказать, что не было ни одного общественного проявления в то время, в котором Алексей Максимович не принял бы то или другое активное участие, и когда грянула Февральская революция, то его квартира была местом сосредоточения многих и многих политических деятелей, где все желали обменяться мнениями, где все хотели почерпнуть те или иные сведения. Во время июльского восстания юнкера тщательно искали Алексея Максимовича на даче в деревне Нейвола, где он проживал близ станции Мустамяки, Финляндской железной дороги, но Алексей Максимович в то время выехал оттуда, и эти поиски кончились только осмотром квартиры и богатейшей библиотеки Алексея Максимовича, которая помещалась в доме гражданки Ланг, имевшей там пансион для приезжающих. У нас в то время было много разногласий с позицией, занятой газетой Горького «Новая Жизнь». Там приютилось большое количество товарищей, так называемых интернационалистов, многие из которых потом искренне перешли в партию, другие же как тогда, так и по сие время, не могут никак понять величия Октябрьской революции и продолжают, как старые развалившиеся ханжи, причитать и ворчать на пролетарскую революцию. В отличие от этих хныкающих интеллигентов Алексей Максимович быстро понял все движущие силы Октябрьской революции. Несмотря на свои неоднократные уклонения то в ту, то в другую сторону, несмотря на свой индивидуализм, идущий иногда в разрез с коллективной психологией нового класса, ставшего у власти, он все-таки все более и более, все ближе и ближе стал подходить к боевым рядам рабочего класса, который, казалось бы, он должен был знать значительно лучше многих и

многих из деятелей нашей партии, благодаря своему происхождению и наблюдениям художника, дарами которого он так счастливо обладал.

Наступил голод. Положение в Петрограде было отчаянное. Конечно, при создавшихся обстоятельствах положение ученых, литераторов, художников было особенно скверное, и Алексей Максимович делает огромное дело для нашей культуры, напрягая все свои личные силы и средства в помощь ученым, а также приглашая к той же деятельности всех своих друзей. Он дает инициативу местному обществу помощи литераторам и ученым, которое с первых же шагов, организуя столовую, клуб, жилища и пр. и пр., дает большую подмогу этому кругу лиц. Когда академик Павлов написал мне его известное письмо о положении ученых и когда с содержанием его ознакомился Владимир Ильич, то было решено немедленно приступить к организации широкого общества помощи литераторам и ученым. Владимир Ильич остановился на Алексее Максимовиче, которого он пожелал поставить во главе этого дела. Алексей Максимович, приехав из Петрограда в Москву, должен был свидеться в Владимиром Ильичем в Кремле, в его кабинете. Владимир Ильич сосредоточенно сидел за своим столом, что-то соображая и тщательно проглядывая многие документы, лежавшие у него на столе, когда Алексей Максимович был введен мною в кабинет Владимира Ильича.

— Что это вы делаете? — сказал он, обращаясь к Владимиру Ильичу.

Владимир Ильич быстро встал, дружески пожал через стол руку Алексея Максимовича, и, посмотрев ему в упор в глаза, ответил:

— Думаю над тем, как бы получше придушить кулаков, не дающих хлеба народу.

— Вот это оригинальное занятие, — ответил ему Алексей Максимович, садясь в кресло.

— Да, мы подходим вплотную к борьбе за хлеб, за самое простое человеческое существование, — ответил ему Владимир Ильич, — и мы должны все всеми мерами заставить тех, кто на голоде и смерти людей хочет умножить свои капиталы, отдать накопленное богатство, отдать накопленный хлеб для голодающих. Кулаки поднимают восстания, кулаки не хотят добровольно сделать и шаг в сторону народа, мы заставим их силой, отберем у них решительно все и уничтожим их, физически уничтожим, если они будут продолжать противиться распоряжениям правительства и желаниям рабочего класса.

Владимир Ильич говорил это отрывисто, энергично, с величайшей решимостью, и чувствовалось, что, действительно, наступает момент борьбы не на живот, а на смерть.

Разговор быстро перешел от этой политической темы на специальные вопросы устройства жизни, быта литераторов и ученых. Алексей Максимович подробно рассказал Владимиру Ильичу о тех ужасах жизни, которые приходится переживать и без того тонкому, самому культурному слою нашего общества, выдающимся ученым и литераторам, которые решительно не приспособлены к борьбе за кусок хлеба. Он перечислил десятки

имен, фамилий, которых уже нет, которые в этих ужасных условиях, со- здавшихся в Петрограде, погибли, умерли, перечислил всех тех, кто нахо- дится в состоянии острейшей нужды. Говорил о тех, кого еще можно спасти подкормивши, позаботившись о них, и Владимир Ильич выслушивал все это с величайшим вниманием и напряжением. Он сказал Алексею Максимовичу, что надо сделать решительно все, чтобы помочь этим специалистам, лите- раторам и ученым пережить лихолетье нашего времени, и что он надеется, что Алексей Максимович со своими друзьями, став во главе этого дела, сумеет организовать все, как будет нужно, при чем эту помощь, постоян- ную и упорную, он твердо обеспечивает своей поддержкой. И тут же Вла- димир Ильич сделал мне распоряжение сообщить об этом т. т. Зиновьеву, Бадаеву и всем другим петроградским властям, а по Москве—Цюрупе, Брю- ханову, Смирнову, работавшим в то время в Наркомпроде, прося их, от его имени, оказать самое большое и самое внимательное со- действие для оказания помощи литераторам и ученым Петрограда, прежде всего, а потом и Москвы и других городов.

Эта беседа между Владимиром Ильичем и Алексеем Максимовичем затянулась на довольно долгое время. Алексей Максимович ушел оттуда, из кабинета Владимира Ильича, как мне это ясно представлялось тогда, вполне удовлетворенным, полным надежд. Действительно, в скором вре- мени закипела широкая работа на этом поприще, и мы знаем, что ЦЕКУБУ, развившаяся из этой инициативы, обеспечила десятки и сотни деятелей науки и искусства, спасши многих из них от лишений, страданий, холода и голода. И эта деятельность в самые тяжелые годы нашей революции всегда неразрывно будет связана с двумя именами: с именем почившего Владимира Ильича и с именем ныне здравствующего Алексея Максимовича.

Новый поворот материальной культуры

(Эволюция химической промышленности и химификация СССР)

Проф. А. Е. ЧИЧИБАБИН

Лишь та промышленность имеет прочное будущее, которая может развиваться без подражания.

Если — как это принято обычно — вести летоисчисление научной химии от главных работ Лавуазье над горением, установивших основные законы химии¹⁾, то химия является наукой, лишь немного перешедшей за предельный возраст одного только человека или прожившей всего лишь две хороших человеческих жизни. И на этом небольшом участке времени развернулась поразительная эпопея завоевания научной химией судеб человечества.

Человечеству для удовлетворения его материальных нужд требуются две вещи: материя и энергия. Теперь мы знаем теоретически, что это по существу одно и то же, так как материя есть не что иное, как скопление в малых участках пространства почти невообразимо колоссальных количеств энергии. Однако мы пока еще не научились управлять «энергией массы», превращая ее по нашему произволу в другие формы энергии. Более того, мы стоим лишь у преддверия возможности произвольного превращения всех форм вещества друг в друга, так как хотя мы знаем, что все вещества превратимы друг в друга, но по отношению к веществам, называемым простыми веществами или элементами, мы пока научились и, следовательно, можем по своей воле превращать друг в друга лишь немногие элементы и в количестве лишь небольшого числа атомов. Поэтому практически мы пока принуждены ценить материю и отдельные ее разновидности не только как склад или источник энергии, уже подчиненной при помощи науки нашей воле, но и как самодовлеющие ценности, отведенные земному человечеству в определенных, часто весьма ограниченных, количествах.

В энергии практически важна лишь та доля общего ее количества, которую мы можем произвольно превратить в другие виды энергии, а, в конце концов, или в механическую работу (главное потребление энергии), или в теплоту, нужную для поддержания необходимой для жизни температуры, или в энергию физиологических процессов, в свет, нужный нам ночью, и т. д.

Энергия, которой располагает человечество, это — исключительно превращенная энергия солнечных лучей. Еще не утилизируется энергия при-

¹⁾ Гениальный провидец Ломоносов открыл их раньше, но почва для их восприятия тогда не была еще подготовлена даже на наиболее культурных участках человеческой мысли; и Ломоносов являет собой пример того, что не достаточно быть гением, но надо еще уметь родиться во-время и в надлежащем месте.

ликов и отливов (энергия силы тяготения луны и отчасти солнца), а также доходящая до земной поверхности энергия внутренней теплоты земли (энергия вулканов и др.); совершенно ничтожна энергия происходящих на земле радиоактивных процессов. Быть может, в глубинах земных и есть богатые химической энергией вещества, но минеральные породы земной коры состоят из энергетически почти мертвых веществ.

Из того количества энергии солнечных лучей, которое остается на земле, а не излучается обратно в пространство, лишь сравнительно небольшая часть превращается в поддающуюся утилизации механическую энергию, как энергия движения воздуха (сила ветра) или энергия падения воды. Главная часть остающейся на земле доли лучистой энергии солнца превращается зелеными растениями в химическую энергию органических веществ, особенно богатых ею (углеводы, древесина, жиры, белки и проч.).

За счет ежегодного запаса химической энергии зеленых растений идут жизненные процессы животного мира и низших растений, и, кроме того, в течение долгих геологических периодов оставался запас, скопившийся для современного человечества в «складах» горючего: таковы залежи каменных и бурых углей, торфа, нефти, горючих сланцев и проч. Этими запасами человечество долгое время не пользовалось, применяя, как источник тепла, химическую энергию текущего прироста древесных растений.

Странно вспомнить, что каменным углем человечество пользуется в сколько-нибудь заметном количестве лишь немного более 500 лет, и что его более интенсивное использование продолжается не более двух столетий, — что нефтью и ее продуктами — керосином и бензином — стали пользоваться в промышленном масштабе лишь с половины прошлого столетия, что спички изобретены лишь в первой четверти прошлого века, и что великий Гете, умерший только в 1832 г., мог высказать следующее скромное пожелание:

«Не может быть более великого изобретения, нежели изобретение свечи, при горении которой можно бы было обходиться без щипцов».

Перенаселенность большей части западной Европы и некоторых странств других частей света уже к началу XIX столетия была такова, что население их не могло довольствоваться одним лишь годичным приростом запасов энергии и начало широко пользоваться запасами прошлых геологических периодов в виде каменного угля и проч., а относительно ряда необходимых для жизни веществ принуждено было усиленно заботиться об отыскании новых и новых их источников.

С этих пор лишь наука и ее все усиливающееся влияние на технику и вообще на жизнь дают возможность человечеству не только существовать, но и значительно повысить уровень материальных потребностей и накопить значительное количество культурных богатств, украсивших и обогативших жизнь современного человечества. Положение вещей вело неизбежно к тому, что связь науки с техникой и общее влияние науки на жизнь должны были стремительно расти и крепнуть, так как лишь организация такой связи давала государствам и их населению богатство и мощь в борьбе за жизнь.

И почти с самого рождения научной химии начинается поразительное влияние ее научных достижений на производственную жизнь человечества, влияние, усиливающееся из десятилетия в десятилетие со все увеличивающейся скоростью и уже вскоре достигшее такой силы, что знаменитый немецкий химик Габер в 1921 г., оглядываясь назад на практические достижения химии, с полным правом мог назвать последнее столетие жизни культурного человечества веком химии.

В первую половину прошлого века влияние химии носит менее систематический, до некоторой степени эпизодический характер. Однако же и здесь есть ряд успехов химической промышленности под влиянием научной химии, имеющих важное значение для человеческой культуры. Таково пре-

изводство соды из поваренной соли по методу Леблана¹⁾ и связанное с ним получение из соды едкого натра, сильно содействовавшие развитию фабрики мыла, стекла и ряда других производств, применение для целей освещения и горения газов сухой перегонки каменного угля, возникновения производств искусственных минеральных удобрений под влиянием работ Либиха над составом растений и почвы, ряд успехов металлургии и т. д.

И уже за первую половину прошлого столетия мировое потребление каменного угля увеличилось в десятки раз, и ко второй половине столетия годовое его производство превосходит 50 миллионов тонн. Успехи металлургии и до сих пор еще можно измерять количеством произведенного железа, которое за первую половину XIX в. возросло с 800 тыс. тонн в год до 4 милл. 800 тыс. тонн.

Однако лишь во второй половине прошлого века влияние на промышленность и жизнь научной химии делается систематическим, к началу этого периода относятся промышленная организация добычи и утилизации нефти, первые применения хлопчатобумажного пороха^{а)} (пироксилина) и нитроглицерина (динамита), начало производства соды по аммиачному способу Сольве, позднее, благодаря дешевизне, почти вовсе вытеснившего способ Леблана; но в особенности важно возникновение крупного производства синтетических органических («анилиновых») красок из каменноугольного дегтя, являющееся результатом успехов органической химии, позднее приведшее к развитию производств синтетических медикаментов, душистых веществ и бризантных (дробящих силой взрыва) взрывчатых веществ из класса нитросоединений (таковы мелинит, тринитротолуол или тротил и др.). Производство железа с 4 милл. 800 тыс. тонн к концу века дошло до 41,9 милл. тонн в год (в 1923 г. оно уже почти равнялось 130 милл. тонн).

Добыча каменного угля с 50 милл. тонн в 1850 г. возросла в 1870 г. до цифры, превышающей 200 милл. тонн, к концу века доходит до 800 милл. тонн в год, а в 1923 г. оно равнялось уже 1 миллиарду 600 милл. тонн. Если к этому прибавить производство нефти, которое в 1900 г. равнялось 28,5 милл. тонн (в 1925 г. добыто 150 милл. тонн), а также производство торфа и горючих сланцев, которые также стали играть большую роль, как источники энергии, то можно себе составить представление о том, в каких громадных количествах человечество стало пользоваться запасами химической энергии из складов природы, скопленных в течение колоссальных периодов времени прежнего существования земли.

Интересно отметить, что некоторая часть этой энергии превращается в одну из удобнейших для применения форм энергии—в электрическую энергию. Однако немалая часть электрической энергии снова возвращается для химических процессов. Одним из крупнейших минеральных производств является развившееся к концу XIX в. электролитическое производство едкого натра и газообразного хлора из поваренной соли. И в ряде других электрохимических и электротермических процессов, особенно в электрометаллургии, напр., в производстве алюминия и др., электрическая энергия снова идет на приготовление химических веществ. Даже по отношению к единственному громадному запасу энергии, не зависящему от химической энергии,—энергии водяной силы,—один американский инженер сказал: «Хотя заставить работать на человека большие реки и водопады удалось инженеру, и использование их сделалось возможным благодаря успехам механики и электротехники, но использование огромных источников электрической энергии, доставляемой текущей на земле водой, дающее столько реальных выгод, много содействующих прогрессу человечества, было выполнено, главным образом, химиками».

¹⁾ До тех пор сода готовилась, гл. обр., из золы морских водорослей.

Как уже было сказано, грандиозный масштаб химических производств, характеризующий вторую половину XIX века, был бы уже совершенно невозможен без организованной связи науки с промышленностью. По отношению к химической промышленности и научной химии такая организация, достигшая к концу века чрезвычайно высокой степени совершенства, была создана в Германии. Все сколько-нибудь выдающиеся работники высших химических школ Германии уже давно находятся в тесном контакте с крупными химическими заводами, сообщая результаты своих научных исследований заводским научно-техническим руководителям на предмет их возможного использования техникой. Но в особенности поразительна научно-техническая организация самих заводских предприятий.

От молодых химиков, оканчивающих высшую химическую университетскую или техническую школу, германская химическая промышленность требует почти лишь только знания основ научной химии и первых умений лабораторного научного исследования. Химики, поступающие на крупные немецкие химические заводы, обыкновенно первые 1—2 года работают в учебно-научных лабораториях заводских предприятий, пополняя знания и навыки научного исследования в областях химии, составляющих специальность заводов. Обычно лишь после этого часть выдержавших с честью лабораторный стаж химиков уходит в производство, при чем чаще всего начинает заводскую службу с работы в лабораториях соответствующих отделов завода. Другая значительная часть химиков остается занятой научно-техническими изысканиями для усовершенствования заводских процессов и создания новых выгодных для завода производств. Руководителями научно-технических, исследовательских лабораторий являются выдающиеся ученые химики. Исследовательская обстановка соответствует современным требованиям лабораторной техники.

При крупных химических заводах существуют научные химические библиотеки, в основу которых часто положена библиотека одного из умерших корифеев химии, и которые по богатству в среднем превосходят библиотеки высших школ и часто могут соперничать с лучшими из них. Химики крупных заводов обыкновенно распределяют между собой отделы научной химии, беря на себя обязательство осведомлять своих товарищей о наиболее интересных достижениях в текущей научной литературе на периодических (еженедельных или двухнедельных) собраниях заводских химиков, чтобы не упустить в науке ничего, что могло бы быть полезным для заводской организации. Богатая текущая литература имеется в библиотеках заводов, а необходимые книги быстро приобретаются по первому требованию научных работников (и при том не только в области химии, но и в других интересующих его областях). На конференции заводских химиков реферировается вовсе не только то, что может иметь узко прикладное значение, но и чисто теоретические работы, иногда, казалось бы, весьма отдаленные от практической жизни.

Заводы, имеющие дело с синтезом медикаментов, имеют у себя, кроме химических, крупные физиологические лаборатории; заводы, вырабатывающие удобрения, — агрономические лаборатории, опытные станции, опытные поля и пр., заводы фотографических материалов — фотохимические и фотофизические лаборатории и т. д., и т. д.

Из сказанного видно, как совершенна была организация связи между научной химией и химической промышленностью уже к концу XIX века. Однако к этому времени нужды все увеличивающегося численно человечества и его высокой культуры поставили перед научной химией новые задачи кардинальной важности. Речь пошла уже не только о повышении материальной культуры, но и о вопросах, в которых на карту ставилась самая возможность дальнейшего существования человечества с его высокой культурой. Эти

задачи потребовали еще большего напряжения научных сил и организации еще более тесной связи между научной химией и химическими производствами.

В 1898 г. знаменитый В. Крукс в президентской речи Лондонского королевского общества высказал первое грозное предостережение. Он указал, что урожаев пшеницы, этого главного питательного вещества культурных народов, во всех странах, способных к ее культивированию, скоро будет недостаточно для удовлетворения нужд возрастающего населения, так как вскоре должны исчерпаться все возможные источники азотистых удобрений. Таким образом, человечеству угрожает всеобщий голод.

Научная химия и промышленность быстро справились с угрожающей бедой организацией производств искусственных азотистых удобрений из азота воздуха. Первым таким производством было производство норвежской или кальциевой селитры при помощи горения азота при температуре вольтовой дуги. Позднее к нему присоединилось производство цианамиды из карбида кальция и, наконец, совсем недавно сюда присоединилось и наиболее мощное производство аммиака (на основе чисто теоретической работы Габера) из азота воздуха и водорода. Последний пока получается, главным образом, из водяного газа¹⁾, а в небольшой части путем электрического разложения воды, но в ближайшем будущем для этой цели будут пользоваться почти исключительно газами коксовых печей²⁾, пока недостаточно утилизируемыми.

В 1926 г. мировое производство полученных из азота воздуха азотистых веществ, выраженное в тоннах азота, входящего в их состав, равнялось 682.000 тонн (из них 412.000 тонн — в Германии), при 399.000 тонн азота чилийской селитры и 280.000 тонн азота из аммиака, полученного при коксовании каменного угля. Если принять во внимание, что каждый пуд связанного азота, при наличии других необходимых удобрений, дает прирост урожая, в среднем, 20—25 пудов для зерновых хлебов, около 100 пудов для картофеля и 125 пудов для свеклы и других корнеплодов, то можно видеть, какой громадный прирост урожаев обеспечивают синтетические удобрения, производство которых с каждым годом стремительно растет.

Этим самым был разрешен вопрос об источниках соединения азота для получения взрывчатых веществ, а также красок и пр., так как, помимо норвежской селитры, необходимая для этого азотная кислота получается из аммиака каталитическим окислением кислорода воздуха, впервые примененным для этой цели знаменитым немецким физико-химиком Оствальдом. Следует отметить, что, помимо целей самоуничтожения и разрушения культурных богатств во время войны, человечество пользуется взрывчатыми веществами в значительных количествах и в мирное время, особенно в горной промышленности, при проведении тоннелей, каналов и пр.

Уже в текущем столетии был поднят еще более грозный для человечества вопрос о грозящем истощении земных запасов химической энергии, т.-е. каменного угля, нефти, а затем и более бедных энергией — торфа и других ее источников. Выше мы видели, как грандиозно потребление этих продуктов в последние годы. Учет этих запасов значительно более труден, чем учет грядущих урожаев, и предсказания не могут претендовать на большую точность. В 1922 г. знаменитый химик Аррениус пришел к заключению, что если принимать ускорение добычи этих запасов на основании цифр последних десятилетий, то запасов нефти человечеству хватит всего на 60 лет, тогда как запасов угля может хватить на 1.500 лет. Не надо при этом забы-

¹⁾ Газ, получаемый при пропускании паров воды над раскаленным углем и состоящий, главным образом, из водорода (50%) и окиси углерода (40%).

²⁾ Состоят, гл. обр., из водорода (50—55%), металла (20—30%), окиси углерода (до 10%), а также азота, этилена и других углеводородов.

вать, что европейских запасов угля для потребностей его населения может хватить лишь на более короткий срок — 100—200 лет. Эти данные, во всяком случае, настолько грозны, чтобы заставить думать о возможно большей экономии в использовании энергии этих запасов, и первая четверть настоящего столетия проходит под знаком экономии топлива, т.-е. наиболее выгодной его утилизации. Об усовершенствовании его утилизации думает и научная механика (теплотехника) и химия. Химии приходится спешно заниматься вопросами об использовании бедных энергией видов топлива и превращении их в богатые энергией формы.

Особенно грозной явилась уже надвигающаяся нужда в жидком топливе, как энергетически наиболее полноценном и наиболее удобном для применения. Потребление бензина для автомобилей, аэропланов, морских теплоходов и других целей, где требуется высокая утилизация тепловой энергии при помощи двигателей внутреннего сгорания, и как растворителя для целей химической промышленности, в 1925 г. равнялось 50 миллионам тонн при 150 милл. тонн добытой в этом году нефти, т.-е. значительно превысило то количество бензина, которое в готовом виде содержится в нефти. Это сделалось возможным прежде всего потому, что химия научилась готовить бензин действием высоких температур на высоко кипящие погонны нефти (процесс крекирования или пирогазификации нефти). Эти процессы широко используются в С.-А. Соед. Штатах, при чем на основе утилизации побочных продуктов, особенно газообразных, там уже в текущем столетии возникло новое крупное производство органических веществ, особенно приготовление целого ряда новых растворителей. Значительное количество жидкого топлива дают продукты сухой перегонки каменных углей, бурых углей и отчасти торфа, при чем следует особенно отметить возникшее в Германии производство продуктов сухой перегонки угля при возможно более низких температурах (деготь низких температур или «первичный деготь»), а также приготовление жидкого горючего.

В помощь бензину идет и применение для двигателей внутреннего сгорания и для других технических целей винного спирта. В 1911/12 г. для технических целей было употреблено в САСШ всего 200.000 тонн и в Германии 100.000 тонн спирта. Потребление спирта для технических целей и для горения сильно возросло за последние годы в Германии и Франции, особенно в САСШ, где теперь для этого идет почти весь добываемый спирт. Во Франции спирт является главным видом горючего для автомобилей.

Однако для стран, не располагающих сколько-нибудь значительными залежами, какова, напр., Германия, указанными способами еще далеко не решается вопрос о жидком топливе. И здесь химией поставлен и в настоящее время решен вопрос об искусственном синтезе нефти. К решению этого вопроса наука подошла с двух сторон. Способ Бергиуса — это способ непосредственного превращения каменных углей в нефть. Для этой цели уголь подвергается действию водорода в присутствии окиси железа при температуре 420—470°, когда сложные молекулы органических веществ и в частности углеводороды уже отчасти склонны распадаться на молекулы более простых соединений. Второй способ — Франца Фишера — состоит в превращении газообразных углеводородов, а также смеси окиси углерода с водородом (и в частности — водяного газа), под влиянием катализаторов (веществ, ускоряющих реакцию своим присутствием), состоящих из смеси одного из соединений кобальта железа или никеля, с соединением хрома, цинка или меди при 300° при обыкновенном давлении. В настоящее время два громадных объединения германских химических заводов уже приступили к организации производств синтетической нефти и в частности — бензина. Более могущественное из них, известное под инициалами I. G. (Interessen-Gemeinschaft, названное англичанами Industrial-Gigant — Промышленный Гигант), оборудо-

довало небольшой завод по способу Бергиуса в Мерзебурге и уже кончает постройку колоссального завода в Дуисбурге, а объединение рурских коксовых заводов организует производство нефти по способу Ф. Фишера. Интересно, что по сведениям американских газет на предварительные научные и технические изыскания по методу Бергиуса I. G. затратило колоссальную сумму в 26 миллионов марок.

Чрезвычайно неудобным для транспорта, но богатым энергией и крайне удобным в обращении вследствие легкости регулирования пламени видом топлива являются газы сухой перегонки угля, получающиеся при его коксовании. Благодаря применению калильных колпачков, газовое освещение является часто более выгодным, чем электрическое при той же силе света. Как уже упомянуто выше, эти газы пока еще не нашли полноценного применения для всего получаемого количества. И в Германии созданы проекты газификации германских городов газами, получающимися при коксовании угля на месте его происхождения, путем постройки колоссальных газопроводов с протяжением в сотни километров. Хотя проекты встретили много критики, но все же весьма вероятно, что к осуществлению этого проекта, обещающего населению городов много удобств, будет приступлено уже в непродолжительном будущем.

Как мы видели выше, угроза голода, вследствие недостатка в почве азота, в настоящее время устранена, но появляется новая угроза понижения урожаев от недостатка в почве соединений фосфора. Эта угроза делается острой для ряда западно-европейских стран, особенно для Германии, где, напр., за последние годы урожаи понизились, вследствие недостатка фосфорных удобрений, обусловленного их дороговизной.

Научные изыскания новейшего времени в принципе уже разрешили этот вопрос, и практическое его разрешение находится в стадии технической организации. Из содержащих фосфорную кислоту материалов (напр., из фосфоритов, даже бедных фосфором) фосфор может быть выделен в свободном виде углем (коксом) в присутствии кремнезема, при чем это производство может быть организовано в местах, наиболее выгодно расположенных по отношению к месторождениям сырья. Полученный фосфор может перевозиться для дальнейшей переработки в места, наиболее удобные по близости к местам, где потребляются удобрения, при чем соблюдение этих условий должно дать громадную экономию на стоимости транспорта. Дальнейшая переработка фосфора может вестись или путем сжигания фосфора в воздухе, или же (что, повидимому, сулит больше выгод) обработкой его водяным паром в присутствии катализаторов, или также обработкой паром совместно с окисью углерода. Последний способ дает в качестве побочного продукта водород в количестве, достаточном для синтеза аммиака, потребного для соединения с полученной фосфорной кислотой, чтобы дать наиболее выгодное по относительным количествам азота и фосфора азотно-фосфористое удобрение, а именно, фосфорно-двуаммониевую соль.

«Если допустить, что развитие потребления удобрения обратно пропорционально его цене, — говорит по этому поводу один из руководителей французской химической промышленности, — то можно заметить, хотя это и может показаться парадоксальным, что проблема фосфорно-аммониевой соли является, может быть, гораздо более еще проблемой азота, чем даже проблемой фосфорной кислоты».

Нельзя не отметить, что организация этого производства нанесет сильный удар производству серной кислоты, главное количество которой теперь идет на производство суперфосфатов.

Третьим грозным для человечества вопросом является грядущий недостаток железа. В 1923 г. количество выработанного железа равнялось 130 милл. тонн. Общее количество железа, полученного человечеством

с 1500 г. до настоящего времени исчисляется, приблизительно, в 2,500 милл. тонн. По исчислению, произведенному в 1923 г., мировые ресурсы полноценных железных руд (60% и выше) в два раза меньше вышеприведенного количества. Если даже допустить, что будут использованы более бедные руды и будут открыты новые залежи в количестве, равном или даже вдвое большем, чем все известные, то все же угроза грядущего недостатка железа является реальной, если принять во внимание рост его потребления. Еще в 1900 г. мировое потребление железа равнялось 41,9 милл. тонн, а в 1800 г. оно было всего 6,8 милл. тонн и в 1500 г. равнялось ничтожной цифре 0,05 милл. тонн.

Несмотря на то, что железо составляет свыше 4,5% от состава всей земной коры, большая его часть распылена в земных породах и в почве и не может быть предметом выгодной утилизации. А добытое человеком железо подвергается процессу распыления, названному академиком Вальденом процессом «обесценения материи»¹⁾.

И мировая химия в своих исследованиях сплавов, из которых многие оказались ценными для техники, обращается к другим металлам: хрому, никелю, марганцу, вольфраму и пр. и в особенности к легким металлам: магнию, кальцию, даже натрию, но более всего — к особенно ценным для будущего — алюминию (удельный вес 2,66) и кремнию (удельный вес 2,49), которые не только являются главными после кислорода составными частями земной коры (содержание в ней кремния — 25,7%, а алюминия — 7,5%), но для которых имеется громадное количество залежей или пород с высокой концентрацией этих элементов. Я не могу останавливаться на тех многочисленных новых сплавах, которые дала мировой технике научная химия, и из которых многие по своим техническим качествам (твердости, кислотоупорности и т. д.) дают новейшей технике преимущества, о которых человечество недавно еще не могло и мечтать.

Наконец, упомяну о колоссальных успехах химии и промышленности в области замены природных продуктов искусственными или синтетическими. Здесь на первом месте следует поставить производство так называемого искусственного шелка. Еще до недавнего времени здесь речь шла лишь об облагораживании природных волокнистых материалов и только отчасти об использовании их отходов. Но с тех пор, как немецкая, а затем и мировая техника научились использовать для этой цели древесную массу, здесь дело уже идет об отвоевании у природы нового источника для приготвления волокнистых материалов. И в последние годы мы наблюдаем чрезвычайное расширение производств искусственного шелка и чрезвычайное его удешевление, и в связи с этим искусственный шелк из предмета роскоши сделался уже предметом первой необходимости. Уже в 1925 г. мировое производство искусственного шелка достигло цифры около 100.000 тонн в год, но каждый год открывается ряд новых фабрик, и производство ежегодно растет с головокружительной быстротой. На первом месте здесь идут САСШ, затем Англия и Германия, но и богатая шелком Франция имеет уже крупные производства искусственного шелка и строит ряд новых заводов.

К ограничению потребления дерева ведут новые громадные производства синтетического получения продуктов сухой перегонки дерева: уксусной кислоты и метилового (бывшего древесного) спирта.

¹⁾ Английский инженер Гарман вычислил, что на мировых железнодорожных рельсах ежегодно истирается в пыль 270.000 тонн железа, и, следовательно, на всех трущихся частях машин и т. д. вероятная потеря железа исчисляется миллионами тонн в год. Нетрущиеся железные предметы распыляются в виде ржавчины, отходов гвоздей, обрезков листов и т. д.

Первое возникло в Германии и Швейцарии на основе военных нужд Германии и ее изоляции во время войны, а именно производство уксусной кислоты, ее солей и эфиров из ацетилена (т.-е. из кальций-карбида), в основу которого положен метод превращения ацетилена в уксусный альдегид в присутствии солей ртути, открытый много лет назад проф. Кучеровым. В настоящее время синтетическая уксусная кислота с успехом борется и вытесняет древесную уксусную кислоту и уксусную кислоту брожения.

Производство синтетического метилового спирта из водяного газа методом, открытым одновременно французским инженером Потаром и химиками Баденского химического завода, было осуществлено практически в большом масштабе сначала последним, а в настоящее время различные модификации этого метода применены уже во многих западно-европейских странах и даже в стране с наиболее рационально организованной утилизацией громадных запасов дерева, т.-е. в САСШ. Синтез этого вещества обещает повести и уже повел к значительному расширению его потребления, как растворителя, для синтетических целей и даже как одного из удобных видов жидкого топлива.

Синтез искусственного каучука, несмотря на грандиозное расширение плантаций каучуконосных растений и катастрофическое падение цен на природный каучук, все же продолжает деятельно разрабатываться, причем промышленность Германии уже затронула на эти работы суммы, исчисляемые несколькими миллионами марок, а в нынешнем году в печать проникли, повидимому, достоверные сведения об организации производства искусственного каучука в Германии и в САСШ.

Меньшее, но все же значительное экономическое значение имеют производства искусственных смол из фекалов и альдегидов, производство искусственных дубителей из составных частей фракций каменноугольного дегтя, ранее не находивших достаточного применения, и из других материалов, а также производства множества других технических ценных веществ, применением которых человечество облегчает свою зависимость от природных условий и укрепляет свою власть над силами природы.

Из вышесказанного ясно, что человечество стоит в начале нового поворота материальной культуры, ставящего перед ним, и прежде всего перед наукой, ряд задач, по грандиозности и необходимости напряжения творческих сил далеко превосходящих все, что пережило культурное человечество до настоящего времени. «И здесь, — говорит академик Вальден, — в первых рядах стоит химия, как наука и искусство, которая в новой борьбе играет руководящую роль. В эти первые ряды химию выдвинуло все предыдущее развитие материальной культуры. Теперь ее заботой является поддержание этой культуры путем ее преобразования. Чистая и прикладная химия получают вместе с современными задачами еще и вневременные задачи, связанные с будущим».

Германия первая поняла во всем объеме значение химической промышленности и руководящую роль и важность для последней научной химии. Еще до европейской войны германское правительство при мощном содействии германской химической промышленности основывает ряд научных химических институтов, имеющих большую часть названия институтов императора Вильгельма, богато обставленных орудиями научного химического исследования, стоящими на уровне последнего слова науки и техники. Эти институты, в отличие от вышеупомянутых заводских научных институтов, не имеют никаких практических заданий. Во главе их поставлены крупнейшие ученые химики, выбор которых обусловлен их предшествующими научными заслугами и областью их научных работ. Большая материальная помощь промышленности обусловлена надеждой на то, что наука принесет разрешение важнейших для промышленности оче-

редных вопросов. Если Германия после тяжкого материального ущерба, нанесенного ей страшной войной и последствиями поражения в ней, быстро восстановила свои производительные силы и снова накапливает материальные запасы, то этим она в значительной степени обязана выработке материальных богатств ее химической промышленностью на основе научных достижений германских химиков.

Самая война оказала значительное влияние на эволюцию химической промышленности. Германия, окруженная блокадой, своим спасением обязана исключительно той изобретательности, с которой она сумела заменить отсутствующее, ранее ввозившееся, сырье наличными материалами. Кроме синтеза азота из воздуха, давшего Германии недостающую пищу и взрывчатые вещества, здесь громадное значение имела также еще замена производства серной кислоты из колчеданов производством ее из гипса.

Для других западно-европейских стран и САСШ война имела еще большее значение по отношению к интересующим нас задачам. У культурных слоев воюющих стран сразу открылись глаза на значение химии и химической промышленности, прежде всего, вследствие быстро наступившего кризиса, благодаря отсутствию целого ряда продуктов химических производств, до войны поставлявшихся Германией. Не только специальные журналы, но и вся общая пресса Англии, Франции, а затем и других стран в первые годы войны была полна жалоб на то, что в этих странах не было учтено все значение химической промышленности для фронта и тыла, т.-е. для всей хозяйственной жизни страны. Экстренно принимались меры к насаждению химической промышленности и к основанию ряда научных химических институтов как типа германских заводских, так и типа германских институтов императора Вильгельма.

Чтобы охарактеризовать те мысли и настроения, которые обнаружались в воевавших с Германией странах по отношению к этому вопросу, приведу выдержки из книги известного английского физико-химика А. Финдлей, озаглавленной «Химия на службе человеку».

«Кризис, который претерпевают сейчас (1916 г.) все европейские страны, воочию показал нам, англичанам, насколько мы, как нация, недостаточно оценивали тесную и жизненную зависимость нашего общественного и национального благосостояния от знания и умения ценить факты и принципы науки вообще, в том числе далеко не на последнем месте химии, и от приложения науки к промышленности. Все отрасли промышленности, от которых зависит не только благосостояние, но даже самая жизнь нашего народа, крупнейшие фабричные производства, а также важнейшее из производств — земледелие собирают дань с химии. И, несмотря на это, мы, как нация, сделали для поощрения и развития химических знаний много меньше того, чего требует наш долг перед цивилизацией; более того, мы нередко даже пренебрегали той данью, которую наука так охотно готова нам платить. В закладке фундамента чистой науки, на которой, как надстройка, воздвигаются достижения промышленности, английские химики, сравнительно со своей численностью, принимали почетное участие; но народ, как целое, будучи в науке невежественным, смотрел косо и с недоверием на тех, которые одни только могли бы создать для промышленности новые области применения и увеличить продуктивность ее работы. И мы в недавнем прошлом стали поэтому свидетелями ужасного и бесполезного расточения источников наших национальных богатств...

...Впрочем, в настоящий момент имеются благоприятные признаки, свидетельствующие о том, что страна пробуждается и отрешается от прежних заблуждений, и что правительство сделало уже первые, хотя и робкие, шаги по пути поощрения и содействия научным и промышленным изысканиям.

Но если даже национальный подъем окажется достаточным, для того, чтобы произвести соответствующее действие и оказать длительное влияние, то все же потребуются еще нечто, что труднее выполнить, чем получить государственную помощь. Надо изменить привычный взгляд на науку у всего народа в его целом и надо воспитать в нем научный дух и доверие к науке; в ряды научных работников мы должны привлечь в большом количестве людей с широким умственным кругозором».

Слова, поставленные в эпиграфе этой статьи, были произнесены выдающимся английским техником и профессором на одном из заседаний, посвященных вопросу о методах борьбы с кризисом в области химических продуктов.

Прозревшие по отношению к химии и химической промышленности во время войны глаза не сомкнулись вновь после ее окончания. Все западно-европейские страны с САСШ и после войны прилагают все усилия для создания химической промышленности, по характеру и организации приближающейся к германской промышленности, и тратят большие средства на создание научных институтов по чистой и прикладной химии. Впереди всех стран по силе организационного размаха и по количеству затрачиваемых средств здесь идут САСШ, но громадную организационную работу и громадные средства затрачивают на это Англия, Франция, Италия, а за ними и другие западно-европейские страны. При том же эти страны, по мере возможности, постарались оградить свою химическую промышленность от конкуренции Германии путем запретительных пошлин. История послевоенной мировой химической промышленности представляет эпопею грандиозного соперничества духовных и материальных сил культурных стран с германской гегемонией в этой области.

И у всех стран имеются большие достижения, приведшие к созданию национальной химической промышленности. Так, напр., в области красочной и других отраслей крупной органической промышленности, где сырьем служат ароматические соединения каменноугольного дегтя, большая часть стран уже почти не нуждается во ввозных продуктах.

Перед германской химической промышленностью встали серьезные затруднения. Однако, как мы могли видеть, германская промышленность справилась с этими испытаниями: потерявши ряд старых областей, она завоевала ряд новых и, благодаря обилию и грандиозности открывшихся перед человечеством задач в области химической промышленности, сделалась еще более мощной, несмотря на существование в других странах химических производств, несравненно более совершенных и сильных, чем это было перед войной. Тому, что Германия и до сих пор сохранила здесь первенство, она обязана исключительно совершенству организационной связи химической промышленности с научной химией и, если можно так выразиться, вошедшими в ее плоть и кровь инстинктами в процессах применения научных открытий. На съезде немецких химиков в Нюрнберге в 1925 г. в заседаниях, где обсуждался вопрос о затруднениях германской химической промышленности, голоса ее технических руководителей звучали уверенно и бодро. Ни одна из других стран, говорили они, не может создать такой организации для использования научных открытий, какая имеется в Германии, еще, по крайней мере, в течение 40—50 лет.

Такова мировая конъюнктура, при которой Союзу ССР необходимо строить свою новую химическую промышленность, являющуюся, как вы видели, при современных условиях основанием всей материальной культуры человечества. Новая химическая промышленность должна создать прочный фундамент будущего благосостояния народов СССР, их силу и мощь в борьбе за лучшую жизнь.

С выражением глубокого убеждения в том, что человечество переходит и уже в значительной степени перешло от века пара и электричества

к веку химии, и с указанием на крайнюю важность для правильного развития в будущем всего народного хозяйства СССР химической промышленности и научной химии, обратилась 14 марта с. г. к правительству СССР делегация ученых химиков и инженеров. Необходимость химификации будущей производственной жизни СССР мотивирована в поданной делегацией записке, где намечен и ряд назревших уже задач, к разрешению которых необходимо приступить незамедлительно в различных областях промышленности СССР: металлургии, машиностроении, горном деле, транспорте и строительстве, в текстильном, кожевенном и резиновом производствах и, наконец, в сельском хозяйстве, которые разрешаются при помощи научной химии и химической промышленности. В той же записке имеется и ряд указаний на те мероприятия, которые необходимы для создания условий, благоприятствующих наиболее правильному и быстрому развитию химической промышленности.

Не надо закрывать глаза на то, что стоящая перед нами задача есть задача большой сложности и трудности, требующая большого количества и большого напряжения организационных сил. Чтобы иметь успех, надо прежде всего уметь посмотреть прямо в глаза действительности, не боясь видеть имеющихся затруднений, не боясь открыто признать существующие наши слабые стороны, чтобы тем быстрее их устранить, но не упуская из вида ничего из того, что мы имеем положительного и что может быть положено в основу создания будущей химической промышленности.

Стрелкой компаса, определяющей правильность направления, взятого при организации строящейся химической промышленности, могут служить слова, поставленные мною в эпиграфе этой статьи. Строя какую-либо отрасль химической промышленности, мы должны иметь в виду создание в ней такой руководящей организации, которая в более или менее близком будущем могла бы вести ее, в имеющихся в СССР условиях, к прогрессу внутренними силами, а не путем помощи посторонних сил. Пользование иностранными силами в начале созидательного процесса часто неизбежно, но вносимые при участии посторонних сил новые достижения и усовершенствования должны уже вскоре сделаться достоянием внутренних сил в такой мере, чтобы дальнейшие совершенствования могли быть производимы последними.

Той атмосферой, без которой не может жить и развиваться современная химическая промышленность, как не может человек жить без воздуха, является вера в науку и покровительство научным исследованиям как имеющим практические задания, так и не имеющим их. ВСНХ СССР уже организовал ряд научных химических институтов для удовлетворения запросов различных отраслей химической промышленности. Но мы не ошибемся, если признаем сделанное в этом направлении лишь правильным началом того, что нужно для организации совершенной промышленности. Не говоря уже о том, что правильная работа институтов возможна лишь при целесообразном ее распределении между ними и научно-исследовательскими ячейками заводских лабораторий, а последние существуют далеко не на всех заводах, и научные институты часто принуждены вести работу при современной организации промышленности, им вовсе не свойственную, — но, кроме того, материальная обстановка институтов не может идти в сравнение с обстановкой научных институтов крупных заграничных заводских предприятий. Полноценные достижения в исследовательской работе часто возможны лишь при обладании обстановкой, отвечающей последнему слову науки и лабораторной техники.

Еще в меньшей степени могут похвалиться научной обстановкой лаборатории химических кафедр нашей высшей школы. Конечно, следует

признать, что за последние годы положение в этом отношении очень заметно улучшилось, но темп этого улучшения все еще несоизмерим с важностью задач, стоящих перед научным химическим исследованием. Нельзя думать о совершенной химической промышленности без совершенной обстановки лабораторий высшей школы, как нельзя в челне совершать правильные рейсы через океан. При том же надо отметить, что хорошая постановка лабораторий есть условие, привязывающее к школе ученых гораздо больше, чем жалование профессора, даже если бы последнее и не оставляло ничего желать.

Лишь почти в зародышевом состоянии находятся у нас организации — технические лаборатории и опытные заводы, — служащие промежуточным звеном при претворении научных достижений в промышленные достижения. Создание организационных ячеек этого рода с соответствующей обстановкой и — что не менее важно — создание ячеек из человеческого материала, с необходимыми знаниями, навыками и способностями — есть одно из труднейших дел, необходимых для создания научной техники. Особая трудность состоит в том, что здесь речь идет не только об индивидуальных знаниях и способностях, но и о слаженности значительного аппарата, состоящего из людей надлежащих знаний и способностей. Создание такого чрезвычайно нежного аппарата требует особой осторожности, организационного таланта и чрезвычайно дорогого для нас времени. Прежде чем такой аппарат выработается, неизбежно пройти через путь множества ошибок, стоящих времени и денег. Терпение и осторожность должны быть девизом созидателей таких организаций, а этими качествами мы менее всего отличаемся.

Все это потребует от государства и промышленности значительных средств и полного отрешения от того взгляда, согласно которому расходы на исследовательские работы считаются «накладными расходами», сокращаемыми при первом требовании экономии. Не лишне вспомнить те цифры расходов, которые несет германская промышленность на опытную работу, не смущаясь оплатой неудач, ошибок и других «детских болезней».

Чрезвычайно важным делом для создания светлого будущего нашей химической промышленности является подготовка необходимого по числу и надлежащего по качеству контингента молодых работников. В этом отношении общее направление, взятое в последнее время Наркомпросом в смысле учебных планов и программ, можно считать правильным. Однако то обстоятельство, что правильная линия взята лишь недавно, и ряд побочных обстоятельств и препятствий, лишь постепенно переживаемых, в том числе и упомянутая бедность обстановки высших школ, — ведут к тому, что полноценных результатов можно ожидать лишь через некоторый промежуток времени. Наоборот, расчет количества оканчивающих, которым определяется теперь число поступающих в высшую химическую школу, нельзя не признать совершенно неправильным, если думать о создании совершенной промышленности. Он исходит из норм и планов пятилетнего развития существующей отсталой промышленности. Но количество лиц с высшим образованием в нашей химической промышленности ничтожно по сравнению с количеством таковых в странах с совершенной промышленностью.

При том совершенно неправильно желание выпускать специалистов в числе, определяемом предполагаемым числом мест в промышленности. Мне уже приходилось в другом месте говорить о крайнем вреде отсутствия жизненного отбора способнейших при такой системе расчета необходимого числа оканчивающих. Напряженность творческой работы в современной химической промышленности требует строжайшего отбора всех способнейших, которыми располагает страна; и замена более спо-

собного менее способным уже в каждом отдельном случае является более или менее тяжким материальным уроном для промышленности. Сравнительно небольшой расход на образование избытка специалистов, оказавшихся менее пригодными для промышленности, многократно окупится выгодой отбора и культурной работой этих лиц в других областях жизни (напр., педагогическая работа).

Чистым активом нашим является наличие в СССР кадра научных химиков, хотя и немногочисленного по отношению ко всему населению, но в общем все же немалочисленного. Русская химия во второй половине прошлого столетия дала миру двух гениев — Менделеева и Бутлерова — и очень большой ряд ученых, игравших и играющих выдающуюся роль в мировой науке. И теперь мы имеем ряд ученых химиков, научная школа которых не уступает по качеству школам научных исследователей лучших западно-европейских ученых. И за последние десять лет русскими учеными и их учениками проделана большая научно-исследовательская работа. В немецких, французских и английских химических журналах за последние годы напечатано очень большое число работ русских ученых, в том числе — ряд работ весьма высокого качества и научного значения. К сожалению, имеющий славную, более чем полувековую, историю центральный русский научный химический журнал имеет слишком мало средств, чтобы печатать все работы, делаемые русскими учеными, и, — что также очень важно, — чтобы печатать их без значительного запоздания. Во всяком случае, научной химии и научному химическому исследованию есть широкая возможность научиться у наших выдающихся ученых-химиков,

Совершенно неправильны жалобы на то, что русские ученые разрабатывают темы, не имеющие практического значения для СССР. Скорее, наоборот, можно обвинять отсталую русскую промышленность за то, что она часто не умеет использовать работ русских ученых. Но лучше всего — никого не обвинять, а приложить все усилия к тому, чтобы дело изменилось к лучшему. История наук показывает, что те периоды, когда на науку накладывались рамки утилитарности, были особенно бесплодными даже в смысле утилитарности. Наоборот, всякий ученый теоретик испытывает особое чувство радости, когда его научные открытия используются для блага народа и человечества.

Впрочем, в последние годы русскими учеными химиками произведено очень большое количество работ, использование которых чрезвычайно важно для СССР, но которые пока далеко не все и не сполна используются промышленностью и вообще жизнью. Прежняя история русской химии знает множество примеров, когда открытия русских ученых, приведшие к применениям громадной важности, не были использованы в России. Назову хотя бы только открытие получения анилина Зининым, открытие превращения ацетилена в альдегид Кучеровым и работы Ипатьева по каталитическому восстановлению при высоких давлениях. Подобные явления неизбежны, пока мы не имеем совершенного аппарата по использованию научных открытий; к созданию такого мы и должны теперь всемерно стремиться.

За последние десять лет русской наукой проделана громадная работа по изучению природных богатств СССР и методов их возможного использования. Здесь мы подходим еще к одному условию, являющемуся залогом успеха в стремлении создать совершенную химическую промышленность: СССР располагает колоссальными пространствами, на которых он имеет в огромном количестве почти все необходимое для своего населения и, во всяком случае, все необходимое, чтобы создать свою химическую промышленность, удовлетворяющую почти все нужды своего населения, а затем могущую дать ряд предметов для вывоза в другие страны.

Здесь сама предыдущая техническая отсталость является условием, облегчающим ее развитие в будущем. Наши природные богатства еще далеко не использованы в той степени, как это имеет место в западных странах.

Мы имеем громадные пространства для сельского хозяйства, которые могут дать во много раз больше, чем они дают теперь. Мы имеем колоссальные залежи каменного и других ископаемых углей, громадные запасы нефти, неисчерпаемые залежи торфа, колоссальные залежи железной руды, только что открытые богатейшие залежи соединений калия, хотя и не очень богатые, но колоссальные залежи фосфоритов, большие лесные богатства, много водяной энергии, которая лишь теперь начинает использоваться, и т. д., и т. д. Кроме того, у нас есть еще надежда, если не уверенность, что у нас будут открыты еще новые природные богатства, что мало вероятно для западных стран.

При правильной утилизации этих богатств СССР не будет страшна никакая блокада извне.

Наконец, залогом успеха являются: возможность единства плана, указываемое «запиской» ученых отсутствие противоречия интересов при стремлении к совершенствованию промышленности, но в особенности жизненная энергия широких масс населения, вовлеченных социальным переворотом в культурную жизнь страны.

Нам предстоит преодолеть массу затруднений, но мы имеем и большой актив. Быстрота успеха всецело зависит от правильности организации. Надо принять все меры, чтобы темп успеха был стремительным. Это возможно, — следовательно, это должно быть сделано.



Очередной этап „разоружения“

(Впечатления о работе подготовительной комиссии в Женеве)

OUTSIDER

7 марта закрылась вторая сессия комитета безопасности. Время от 7 до 15 марта—дня открытия пятой сессии подготовительной комиссии по разоружению — не явилось отдыхом для многочисленных делегаций, оставшихся после сессии комитета безопасности в Женеве. Прежде всего, в течение этого времени происходил очередной Совет Лиги Наций и, кроме того, ряд делегатов, оставшихся на заседания подготовительной комиссии по разоружению, занимался весьма плодотворным делом: изысканием способов и методов, при помощи которых можно было бы наиболее безболезненно отвергнуть советское предложение о разоружении, стоящее на повестке дня нынешней сессии.

Как известно, советской делегации удалось добиться на четвертой сессии подготовительной комиссии в декабре 1927 г. категорического обещания обсуждать ее предложение о разоружении. Это предложение, разработанное в форме особой конвенции, было передано в комиссию за месяц до начала ее работ — 20 февраля. Это было сделано с таким расчетом, чтобы не дать возможности отговариваться внезапностью представления советского проекта и необходимостью специального времени для его изучения. За этот месяц советский проект мог быть изучен, о нем в течение этого периода времени говорила и продолжает говорить вся мировая печать. Утверждать теперь, что советский проект нуждается в предварительном изучении, уже невозможно. Однако совершенно очевидно, что принятие его абсолютно невозможно для комиссии в целом, ибо такое принятие означало бы собственную расписку на получение «хартии бедности». Приняв советский проект, подготовительная комиссия выдала бы удостоверение в том, что восемь лет работы Лиги Наций в области «разоружения» равняются нулю, что эти восемь лет ушли на пустую и бессодержательную болтовню, и что действительное разоружение начинается только с принятия советского проекта.

В течение времени между окончанием работ комитета безопасности и началом пятой сессии подготовительной комиссии существовало несколько проектов, при помощи которых их авторы хотели добиться отклонения советского предложения. Первый проект, исходивший в качестве первоисточника из недр французской делегации (хотя номинальным его автором была не французская делегация), заключался в том, что советский проект должен был быть отклонен путем заявления кого-либо из делегатов, что нынешнее состояние безопасности Европы недостаточно для каких бы то ни было пла-

нов о всеобщем разоружении. Этот проект, наиболее радикальный и наиболее откровенный, был вскоре оставлен. Повидимому, сами его авторы убедились в том, что он не встречает слишком большого сочувствия. Должно быть, ссылка на современное состояние безопасности, как причину срыва какого бы то ни было разоружения, вызвала справедливые опасения в смысле слишком явного разоблачения истинных намерений и истинного цинизма патентованных миротворцев. Большинство побоялось пустить в ход подобный аргумент, и проект, после нескольких дней усиленного муссирования, был, повидимому, оставлен.

Происходившая в течение этого же промежутка времени очередная сессия Совета Лиги дала основание для другого проекта, исходившего, насколько можно судить, от секретариата Лиги. Этот проект заключался в устройстве специального совещания пяти руководящих министров иностранных дел по вопросу о разоружении. Подобное совещание должно было бы, по мысли авторов этого проекта, дать работам по разоружению новое политическое направление в отличие от чисто технического обсуждения, каковым оно было до сих пор. Министры иностранных дел пяти главных держав, входящих в Лигу Наций, должны были дать свое компетентное заключение по поводу того, можно ли и дальше продолжать испытывать терпение широчайших масс всего мира, жаждающих действительного разоружения, а не игры в бирюльки. Однако это совещание не состоялось. В нашем распоряжении нет строго проверенных данных о том, почему это совещание не состоялось. Потому ли, что ни у кого из указанных министров иностранных дел не было ничего, что бы они могли сказать, потому ли, что каждый из них сам не хотел компрометировать свою собственную линию, потому ли, наконец, что кое-кто из этих министров боялся необходимости пойти на уступки, — так или иначе совещания министров иностранных дел в Женеве по вопросу о разоружении не было. Этот вопрос попрежнему был сдан на попечение делегаций, которые столь «плодотворно» занимаются его разрешением вот уже на пятой сессии.

После того, как был оставлен первый проект грубого отклонения советского предложения, на очередь дня был поставлен второй, более смягченный вариант. Советское предложение должно, по мысли авторов этого второго варианта, быть отклонено не при помощи ссылки на неудовлетворительное состояние европейской безопасности, а при помощи... его тщательного изучения. Таким образом, пацифистски настроенным массам бросается некоторая кость. Советский проект принимается к рассмотрению, его очень внимательно рассматривают, изучают, критикуют и... затем отвергают. Никто после этого не станет упрекать комиссию в пренебрежительном, насмешливом, ироническом отношении к советским предложениям. Наоборот, налицо будет «деловая» и «всамделишная» критика. Правда, тут же авторы варианта предложили некоторое усовершенствование к собственному изобретению. По их мысли, эта критика должна иметь место не в самой комиссии, а в специально образованной подкомиссии, где можно было бы не бояться слишком пристального, слишком напряженного внимания со стороны мировой общественности.

Предложение об отложении прений по советскому проекту было внесено советской и германской делегациями именно с мотивировкой желательности присутствия турецкой делегации.

С приглашением турецкой делегации вышла более чем любопытная история, рисующая в высшей степени рельефно нравы женевского учреждения. Если будущий историк станет просматривать европейскую печать или протоколы заседаний Совета Лиги, он не найдет, вероятно, никаких следов того, что Турция была приглашена участвовать в подготовительной комиссии по разоружению по предложению советской делегации. Наоборот, из этих

документов историк узнал бы, что пригласил Турцию Совет Лиги Наций по инициативе польского министра иностранных дел Залесского и с одобрения докладчика Совета по делам разоружения румынского министра иностранных дел Титулеску. Этого будущего историка, очевидно, поразило бы лишь одно обстоятельство, которое он вряд ли понял бы. Почему решение Совета Лиги о приглашении Турции, решение, вынесенное по предложению Залесского и одобренное Титулеску, было телеграфно сообщено генеральным секретарем Лиги Наций Эриком Друммондом не только министру иностранных дел Турции, но и председателю советской делегации тов. Литвинову в Москву? Вероятно, будущий историк стал бы задавать недоумевающий вопрос: при чем здесь Литвинов?

Известно, что 12 декабря 1925 г., когда рассылались первые приглашения в подготовительную комиссию по разоружению, Турция не была приглашена. Это произошло по прямой инициативе Англии. На первых четырех сессиях Турция не принимала участия. Никто об этом не заботился, и никто не предлагал исправить этой несправедливости. 6 марта тов. Литвинов отправил об этом телеграмму Эрику Друммонду. Когда телеграмма пришла в Женеву (во время заседания Совета Лиги), последний был поставлен в весьма неловкое положение. Не пригласить Турцию, когда СССР об этом просит, означало бы открытый вызов по отношению к Турции, прежде всего, и подчеркивание того обстоятельства, что у Турции есть друзья, которые заботятся о ее приглашении, и враги, которые этого приглашения не хотят. На такой путь Совет встать, естественно, не хотел. Следовательно, нужно было пригласить. По регламенту Лиги вносить предложения в Совет могут только члены Совета. Поэтому кто-то из членов Совета должен был такое формальное предложение внести. Желающие оказались. Это были Германия и Польша. Польша, которая в последнее время стремится всеми силами доказать свои симпатии к Турции, оспаривала в секретном заседании Совета у Германии право внести это предложение. На повестке заседания Совета Лиги вопрос о приглашении Турции не стоял, и, таким образом, мы вправе с максимальной долей вероятности заключить, что, не будь телеграммы тов. Литвинова, Залесский долго, вероятно, вынужден был бы «зондировать почву». Однако аргументация Залесского сразу оказалась понятной для Совета Лиги, и внести предложение о приглашении Турции было поручено именно ему. В своем официальном заявлении от 8 марта он ссылается на свой зондаж, произведенный три месяца назад, но зато ни словом не упоминает о том, что побудительной причиной его письма является советское предложение. Нет об этом ни звука и в заключении румынского министра Титулеску. На открытом заседании Совета, где зачитывалось письмо Залесского, германский министр иностранных дел отплатил своему польскому коллеге за то, что последний лишил его удовольствия внести предложение о приглашении Турции. Когда было зачитано письмо Залесского и заключение Титулеску, и когда Совет одобрил приглашение Турции, Штреземан заявил, что он в своих бумагах находит телеграмму Литвинова, конец которой говорит о желании тов. Литвинова получить ответ по вопросу о судьбе своего предложения. Он, Штреземан, находит желательным такой ответ ему послать. Это предложение было принято. Ответ был послан в Москву. Пусть будущий историк (если он прочтет эти строки) найдет в них разгадку этой странной ответной телеграммы.

Основные дебаты по вопросу о советском проекте разоружения были отложены до понедельника 19 марта, дабы дать возможность принять в них участие турецкой делегации, которая должна была приехать 18 марта.

Характерной чертой пятой сессии являлась полная неуверенность относительно поведения отдельных делегаций и всей комиссии в целом. Эта неопределенность, имевшая место в среде самих делегаций, отражалась и на

степени осведомленности журналистов, которые в другое время обычно полны всевозможными сведениями, слухами, предположениями и т. д.

Кое-кто бежал с поля сражения. Так, отсутствовал на этот раз при- сяжный застрельщик и руководитель антисоветских выступлений—предсе- датель французской делегации Поль Бонкур. На прошлой сессии он, при пол- ной растерянности прочих участников комиссии, храбро взял на себя про- ведение атаки против советского предложения. Можно было наблюдать, с какой благодарностью смотрел на социалиста Поля Бонкура целый ряд бур- жуазных делегатов, не нашедших, очевидно, достаточно мужества и умения для того, чтобы критиковать советские предложения. На пятой сессии Поль Бонкур отсутствовал, «будучи занят проведением избирательной кампании у себя на родине». Это бегство с женеvского поля битвы являлось со сто- роны Бонкура весьма продуманным шагом. Оставаясь здесь, он вынужден был бы выступать против советского предложения, а это могло бы, при те- перешнем настроении его избирателей, сыграть для него весьма недобрую шутку. Уже во время заседаний комитета безопасности Поль Бонкур вел себя с несвойственной ему сдержанностью, выступал очень редко и говорил очень мало. Вместо него французскую делегацию возглавлял граф Клозель. Это — типичный чиновник, заведывавший до последнего времени в министер- стве иностранных дел отделом Лиги Наций, а теперь назначенный француз- ским посланником в Голландию. Совершенно естественно, что ему ни в коем случае не могло быть поручено ответственное выступление по такому ще- котливо-политическому вопросу, как отношение к советскому проекту о разоружении. Правда, дабы не оставлять комиссию без «своего специалиста», французское правительство позаботилось о замещении Поля Бонкура (правда, уже в качестве второго делегата) небезызвестным Жуо, который спешно был снаряжен в Женеву и принимал участие в обсуждении советского предложения. Таким образом, и на этот раз честь антисоветского выступле- ния буржуазия думала поручить социалисту. Это было тем более легко, что Жуо имел уже опыт в подобного рода выступлениях.

Со стороны других делегаций проявлялись та же растерянность и то же топтание на месте. Очень характерно, что председатель английской делега- ции лорд Кэшенден в специальном интервью и ряде разговоров счел необхо- димым подчеркнуть важность и серьезность советских предложений. Более того, он открыто заявлял о необходимости серьезного изучения этих пред- ложений. Заявления лорда Кэшендена преследовали, вне всякого сомнения, цель дипломатической игры. Поскольку французская делегация выявила с первого же момента свое резко отрицательное отношение к советским пред- ложениям, английскому делегату, по соображениям англо-французского со- перничества, оказалось почему-либо нужным подчеркнуть свою противопо- ложную точку зрения. Это отнюдь и ни в какой мере не являлось показа- телем действительного отношения Англии к проекту СССР. С точки зрения этого действительного отношения скорее показательным являлся тот факт, что лорд Кэшенден не являлся вообще на первые два заседания комиссии по разоружению. При этом он даже не позаботился объявить о своей болезни и открыто афишировал свое полное здравие. Своим отсутствием он, таким образом, подчеркивал, что эта стадия комиссии являлась делом, которое можно было поручить второстепенным делегатам.

В весьма беспомощном состоянии находилась германская делегация. Необходимо вспомнить, что на предыдущей сессии подготовительной комис- сии по разоружению, в ноябре—декабре 1927 г., германская делегация сдала свою позицию, получив обещание от председателя, что созыв самой конфе- ренции по разоружению состоится еще в 1928 г. Правда, давая это обеща- ние, председатель комиссии Лаудон сделал оговорку, что этот созыв конфе- ренции в 1928 г. будет возможен, «если все пойдет хорошо». С другой

стороны, на предыдущей сессии немцы согласились, под давлением французской делегации, снять свое требование о втором чтении изготовленного комиссией проекта конвенции о сокращении вооружений. Конвенция, как известно, не содержит в себе ни одной конкретной цифры, а лишь схему; по которой можно было бы производить подобное сокращение. И это было сделано германской делегацией после получения обещания, что второе чтение проекта конвенции (первое чтение обнаружило огромное количество расхождений между четырьмя основными государствами) будет иметь место на пятой сессии комиссии. Создавшееся на пятой сессии положение со всей ясностью показывало германской делегации, что ни второго чтения на этой сессии не будет, ни созыва конференции в 1928 году не состоится. Таким образом, налицо был совершенно определенный провал германской тактики уступок, тактики, при помощи которой Германия не добилась осуществления ни одного из своих предложений. Между тем, именно в вопросе о разоружении Германия имела блестящий повод для зафиксирования того, что постановления версальского мира, содержащие в себе в этой области двухсторонние обязательства (разоружение Германии, как предпосылка всеобщего сокращения вооружений), превратились в односторонние. Германия абсолютно не использовала этого выгодного и показательного политического аргумента, ценность которого она обессилила систематическими уступками локальным державам.

Такова была общая картина накануне открывающихся прений по вопросу о советских предложениях.

Заседание, на котором формально началась дискуссия по советскому предложению, открылось при отсутствии какого бы то ни было плана, касающегося процедуры предстоящего обсуждения. На этом заседании уже принимал участие приехавший ночью министр иностранных дел Турции Тевфик Рушди-бей. Ему и была посвящена первая приветственная речь председателя Лаудона. В этой речи он выразил надежду, что турецкий министр сможет во время пребывания на заседаниях комиссии не только познакомиться с прекрасным городом, где эти заседания происходят, но и с настроениями той залы; где будет происходить работа. Под «залой» Лаудон, несомненно, понимал самое Лигу Наций, делая тем самым намек на желательность сотрудничества Турции с этим учреждением. В своей ответной речи турецкий министр вежливо поблагодарил за приветствие, не затронув ни одним словом вопроса о знакомстве с «помещениями Лиги Наций».

В виду того, что комиссия занялась принятием резолюции (чисто-формальной) по вопросу о работах комитета безопасности, резолюции, принимающей к сведению проделанную работу и утверждающей порядок будущей работы, Рушди-бей произнес небольшую программную речь, касающуюся вопроса о безопасности. В этой речи впервые в стенах Лиги Наций была выдвинута схема гарантийных договоров, хорошо известных и принятых СССР. Турецкий министр говорил о том, что его страна предпочитает договоры, в которых был бы принцип ненападения, с одной стороны, и нейтралитет — с другой. Как известно, Турция заключила такой договор именно с СССР. С другой стороны, СССР заключил подобные договоры о ненападении и нейтралитете, кроме Турции, с целым рядом других стран. Одновременно Рушди-бей говорил о предпочтительности согласительной процедуры перед арбитражем в спорах политического характера. Опять-таки, как известно, система согласительной процедуры есть именно та система, которой придерживается в своих договорах Советский Союз. Таким образом, и в этом вопросе турецкий министр иностранных дел целиком и полностью проповедывал советскую схему гарантийных договоров.

На этом заседании выступал со своей декларацией тов. Литвинов. Можно безошибочно утверждать, что эта декларация произвела впечатление

значительно большее даже, чем первое выступление тов. Литвинова 30 ноября 1927 г., когда он формулировал советские предложения о разоружении. Характерно, что из противников советских предложений немедленно не решился выступить никто, при чем это молчание отнюдь не может быть отнесено за счет желая просаботировать дискуссию. Как раз наоборот, председатель комиссии Лаудон заявил, что у него записалось несколько ораторов, однако все эти ораторы просили разрешения выступить завтра, очевидно, для того, чтобы получше подготовиться к своим возражениям.

После декларации тов. Литвинова выступал от имени германской делегации граф Бернсторф. Речь его выгодно отличалась от его выступления на декабрьской сессии в смысле более отчетливой и недвусмысленной поддержки советских предложений. Особенно энергично граф Бернсторф поддерживал советскую программу разоружения, касающуюся первого года. Равным образом, весьма энергично поддерживал он предложение тов. Литвинова о том, чтобы сессия комиссии зафиксировала срок созыва международной конференции по разоружению. Впечатление, произведенное на комиссию выступлением тов. Литвинова, еще более усилилось после речи графа Бернсторфа.

Третьим оратором выступал Тевфик Рушди-бей, подчеркнувший, что, как бы ни относиться к советскому предложению (некоторые могут считать его очень радикальным), СССР, делая подобное предложение, доказал искренность своей работы на пользу укрепления мира. Он, министр иностранных дел Турции, спешит поздравить соседнюю и дружественную страну с такой работой, служащей наиболее высоким целям мира.

Немудрено, если после такого тройного выступления в комиссии со-здалось настроение, при наличии которого ни один из враждебных советскому предложению ораторов не решился выступить. Председатель заявил, что прения откладываются до следующего заседания.

Женевские журналисты единогласно утверждали, что первый день принес советской делегации значительный и бесспорный успех.

Я забыл упомянуть о том, что в конце своей небольшой речи Тевфик Рушди-бей решительно отверг возможность обсуждения советского предложения в какой-либо особой подкомиссии и настойчиво заявил о желательности общей открытой дискуссии. Предложение о создании подкомиссии абсолютно отпало. Началась дискуссия, которую руководителям комиссии так и не удалось предотвратить. Самый ее факт явился победой советской делегации.

Как я говорил выше, генеральным застрельщиком антисоветского выступления предполагался первоначально Жуо, который должен был заметить в этом амплуа неприехавшего вследствие выборной стратегии Поля Бонкура. Французская буржуазия не могла отказать себе в удовольствии натравить на советского представителя «своего» социалиста. На этот раз надежды французского кабинета не были оправданы. Жуо, подобно одной из гоголевских крыс, пришел, понюхал и ушел. Он оставался в Женеве два дня, не присутствуя на заседаниях комиссии, а затем, сославшись на занятость, уехал в Париж. Там он позволил себе невинное удовольствие и написал несколько статей, направленных против СССР и советского проекта о немедленном и полном разоружении. Парижский кабинет должен был удовлетворяться наличием в Женеве графа Клозеля, о лаврах которого речь будет впереди.

Заседание 20 марта открылось довольно бесцветным выступлением итальянского делегата генерала де-Мариниса. Я затрудняюсь передать его речь. Маринис не сумел выдумать ни одного сколько-нибудь серьезного аргумента, который он мог бы противопоставить советскому предложению и доказать невозможность его осуществления. Основная его мысль заклю-

чалась в том, что советский проект, являясь идеалом в области разоружения, требует одновременно или, вернее, в качестве условия своего осуществления, идеальной безопасности, которая, однако, не имеет места при нынешних экономических и социальных условиях. Полное разоружение, соответствующее советскому проекту, возможно лишь тогда и после того, как будет обеспечен не только нынешний мир, но и справедливый. До наступления этого справедливого мира генерал де-Маринис сомневается в возможности согласиться на осуществление всеобщего разоружения. Совершенно естественно, что выдвинутые де-Маринисом аргументы приводили к неизбежным выводам: во-первых, что нынешний мир, иначе говоря, мир, соответствующий версальской системе, является миром несправедливым и, во-вторых, что нежелание вооружаться говорит за стремление со стороны Италии изменить этот нынешний мир с оружием в руках.

Забегая несколько вперед, я должен сказать, что, когда в своей большой ответной речи тов. Литвинов сделал эти два неизбежных логических вывода, тот же Маринис поспешил уверить, что Италия довольна существующим миром и не собирается изменять его при помощи вооруженных методов. Таким образом, с точки зрения логики генерала Мариниса, обязательными должны быть лишь его аргументы, но никак не логические выводы из этих самых аргументов.

После Мариниса выступал Клозель. Он ограничился несколькими словами, повторяя в значительной степени то, что перед ним сказал де-Маринис.

Напряжение достигло значительных размеров, когда слово было предоставлено лорду Кэшендену. Вне всякого сомнения, речь Кэшендена, продолжавшаяся более полутора часов, была наиболее интересной из всего того, что было противопоставлено советскому проекту. В соответствии с своим интервью, о котором я упоминал выше, интервью, где Кэшенден заявлял о необходимости тщательного рассмотрения советского проекта, представитель консервативного кабинета, в отличие от всех ораторов, выступавших как до, так и после него, действительно прошел почти параграф за параграфом все советское предложение.

Прежде, чем дать анализ речи лорда Кэшендена, мне хотелось бы обратить внимание на политический смысл его выступления. Совершенно очевидно, что это выступление было подготовлено, и подготовлено тщательно. Кэшендену нужно было показать, что он действительно обсуждает, рассматривает и анализирует советский проект. Само собой разумеется, что ни в его голову, ни в голову кого-либо из членов консервативного кабинета не приходила мысль изучать советский проект с целью его принятия. Такое предположение было бы явно абсурдно. Лорду Кэшендену нужно было показать и даже не столько перед Лигой Наций и перед женевскими журналистами, сколько перед общественным мнением своей страны, что консервативный кабинет отнюдь не ведет агрессивной политики, что он способен заниматься вопросами мира, и что он очень «серьезно» относится к самым радикальным предложениям в области разоружения. Весьма вероятно, что подобная тактика нашла в Англии некоторое количество взрослых людей, для которых она явилась аргументом в пользу миролюбия и даже пацифизма консервативного кабинета.

Все аргументы, которые приводил лорд Кэшенден, можно разделить на три части. Одна из них не имела никакого отношения ни к вопросу о разоружении, ни к советскому предложению. Таким вопросом, несомненно, был вопрос о так называемой пропаганде. Второй вид аргументов Кэшендена, имея некоторое отношение к советскому проекту, не имел в то же время никакого отношения к вопросу о том, следует ли принять советское предложение, или нет. К этому разряду принадлежат упреки Кэшендена в том, что советский проект игнорирует Лигу Наций. Наконец, третий вид:

аргументов имел действительное отношение к отдельным параграфам советского предложения, но как раз эти аргументы касались второстепенных параграфов и совершенно не отвечали на вопрос о том, принимает ли почтенный лорд идею о всеобщем разоружении, или же отвергает ее.

Очень важно будет, конечно, установить, после всеобщего разоружения, будет ли полиция, предназначенная для внутренней охранной службы, вооружена револьверами или дубинками, однако решение этого серьезного вопроса отнюдь не предreshает вопроса о том, принимается ли советское предложение о всеобщем разоружении, или нет. А, между тем, подобных придирок в полторачасовой речи лорда Кэшндена можно было насчитать около десятка.

Свою полторачасовую речь лорд Кэшнден закончил, так и не сказавши, за принятие он основного положения советского проекта или нет.

Речь Кэшндена закончилось заседание 20 марта.

Второй день прений по советскому проекту всеобщего и полного разоружения был посвящен выступлениям целого ряда ораторов. Выступали делегаты Бельгии, Болгарии, Юго-Славии, Финляндии, Греции, Кубы и Голландии. Выступал, наконец, молчавший до этого времени делегат Соединенных Штатов. При всем желании отыскать среди потока произнесенных речей хотя бы один аргумент, который был бы обоснован с логической точки зрения или вообще мог бы служить хотя сколько-нибудь достаточным основанием для отклонения советского проекта, — сделать невозможно. Основным лейт-мотивом в речах всех выступавших ораторов было утверждение, что, как бы ни хорош был план всеобщего разоружения, как бы он ни отвечал наиболее прекрасным идеалам человечества, — он не осуществим.

Почему?

Никто из ораторов не только не пытался этого доказать, но даже не выставил ни одного, хотя бы недоказанного, положения о том, почему всеобщее разоружение неосуществимо. Теперь, когда заседания комиссии уже закончились, когда советский проект отвергнут и когда пытаешься возобновить в памяти, что же послужило основанием для его отклонения, память отказывается представить какой-либо достаточный мотив. Это очень характерно, что ни один из мотивов, изложенных ораторами, в памяти не остался, не оставил в ней никакого следа. Для сохранения полного беспристрастия, тщательно просматриваешь подлинные протоколы заседаний. Результат тот же.

Остается отметить одно обстоятельство: почти все из выступавших ораторов (кроме представителей Великобритании и Бельгии) заканчивали свою речь выражением пожелания, чтобы советская делегация не прекратила своего «ценного» сотрудничества с Лигой Наций в деле разоружения. В их речах сквозила боязнь, что, если советский проект будет отвергнут, советская делегация покинет Женеву для того, чтобы туда больше не возвращаться. Впрочем, здесь следует оговориться: не во всех речах звучала боязнь отъезда советской делегации. В некоторых из них на мгновение, весьма искусно замаскированный, звучал другой мотив, мотив явной провокации. «Вот мы отвергаем ваш проект. Ну, что же — уезжайте. Без вас работать будет, пожалуй, куда спокойнее, чем с вами».

Из 19 выступавших ораторов только один (представитель Германии, граф Бернсторф) полностью и безоговорочно высказался за советский проект. 18 высказались против. В Лиге Наций очень редко производится голосование. Да, впрочем, в итоге его, если бы оно и было произведено, вряд ли можно сомневаться. За поздним временем и в виду необходимости подготовиться к ответной речи, председатель отложил выступление тов. Литвинова на следующий день.

Прежде всего, несколько слов о форме речи. Тов. Литвинов придерживался той формы, которая установлена на международных собраниях, созываемых Лигой Наций. Эта форма, как известно, не допускает сколько-нибудь резких выражений, направленных по адресу того или иного представителя. Выдержанная в тонах условной вежливости, принятой на подобных собраниях, и не заключающая в себе ни одного персонального выпада, речь тов. Литвинова произвела тем большее впечатление своим содержанием. Превосходно аргументированная, полная ссылок и непосредственных источников, остроумная и диалектически безукоризненная, она произвела огромное впечатление на слушателей. Достаточно сказать, что целый ряд иностранных корреспондентов газет, весьма враждебно относящихся к СССР (вплоть до «Дейли Телеграф» включительно), послали своим редакциям эту речь почти полностью, и, более того, редакции эту речь в таком виде напечатали.

Выступление тов. Литвинова следует разделить на две части. Первая часть касалась критики советского предложения о полном разоружении. Вторая — была посвящена ответу на выступление лорда Кэшендена, в той его части, в которой оно касалось англо-советских отношений (хронологически порядок частей был обратный).

В первой своей части тов. Литвинов подвергнул тщательному анализу все те доводы, которые выступавшие ораторы приводили для того, чтобы доказать неосуществимость советского проекта. Советскому делегату не стоило большого труда доказать, что все эти доводы являются весьма слабыми аргументами, несерьезными и несущественными. Тов. Литвинов вскрыл, что никто из выступавших делегатов не сумел противопоставить советскому проекту ни одного сколько-нибудь серьезного аргумента, с которым можно было бы считаться. Он показал, что так называемое «изучение» советского проекта со стороны комиссии не пошло дальше мелких придилок, и то по отношению к второстепенным статьям проекта.

Вторая часть речи, посвященная проблеме англо-советских отношений и не имеющая прямого отношения к вопросу о разоружении (как это подчеркнул сам тов. Литвинов, указавший на вынужденность своего выступления в этой части), произвела не меньшее впечатление, нежели первая.

Тот факт, что лорд Кэшенден не посмел выступить с опровержением заявлений тов. Литвинова, свидетельствует сам по себе о силе впечатления, произведенного этой речью. Лишь через два дня после выступления тов. Литвинова лорд Кэшенден собрал английских журналистов и заявил им, что решил не выступать... дабы не затягивать дискуссию. Характерно, что отвращение благородного лорда к дискуссии наступило у него лишь после того, как он получил достойный ответ от председателя советской делегации. Центральным местом этой части речи тов. Литвинова являлось, несомненно, то место, где он отвечал на упреки лорда Кэшендена в так называемом вмешательстве во внутренние дела.

Политическое значение этой части речи тов. Литвинова заключается, несомненно, в том эффекте, который был произведен фактом открытого антианглийского выступления в стенах Лиги Наций.

Как известно, влияние Англии в Лиге Наций чрезвычайно велико. Англию в Женеве не любят, но ее весьма боятся. Доказательством этому служит отсутствие до последнего времени в Лиге какого-либо открытого выступления (да еще в такой форме) против представителя Англии. Ранее я рассказывал о том, как на заседании комитета безопасности тот же лорд Кэшенден выступал с полуторачасовой речью, призывая всех присоединиться к статье 36-й международного трибунала в Гааге. Заканчивая свою речь, посвященную этому призыву, лорд Кэшенден не постеснялся прибавить, что «правительство его величества не может присоединиться к упомянутой статье 36-й» (касающейся обязательного арбитража).

Трудно решить, что было более удивительным в этом выступлении: открытый ли цинизм представителя консервативного кабинета, или то обстоятельство, что в ответ на этот цинизм никто не решился протестовать.

Описанный мною случай характерен для положения Англии в Лиге.

Тем более серьезным было поражение, нанесенное консервативному кабинету фактом открытого антианглийского выступления, — выступления, на которое представитель Англии не в состоянии был отвечать.

Этим выступлением престижу Англии был нанесен очень серьезный удар.

Женевские журналисты, чрезвычайно чутко реагирующие на колебания политического барометра, единогласно и единодушно оценили выступление тов. Литвинова, как безусловный и очень значительный успех советской делегации.

Целый ряд делегатов, не стесняясь, выражал свое удовлетворение по поводу того, что представитель Великобритании получил достойный урок.

Речью тов. Литвинова закончилась 4-дневная дискуссия, посвященная советскому проекту о всеобщем и полном разоружении. В течение 4 дней вся мировая печать была занята этой дискуссией.

Вместо обсуждения в небольшой закрытой подкомиссии, советской делегации удалось добиться обсуждения советского предложения на открытой арене пленума комиссии.

Итоги дискуссии выявили полную невозможность доказать неосуществимость советского предложения и абсолютную неспособность комиссии выдержать открытый бой по этому вопросу.

Непосредственно после выступления тов. Литвинова, отвечавшего всем критикам советского проекта о всеобщем и полном разоружении, комиссия, отложив принятие резолюции по п. 2 порядка дня (советский проект), перешла к обсуждению пункта 3 (состояние работ по разоружению).

Предыдущая, декабрьская, сессия комиссии по разоружению постановила, что второе чтение проекта конвенции по сокращению вооружений, первое чтение которой имело место в апреле прошлого года, должно было состояться на пятой, т.-е. мартовской сессии комитета. Я уже указывал на то, что этот проект конвенции по существу таковым не является, ибо имеется не один, а целых три варианта его (английский, французский и германский). Прения на третьей сессии подготовительной комиссии (апрель 1927 г.) показали наличность этих трех вариантов и существенные принципиальные расхождения между ними. После первого чтения было условлено, что заинтересованные правительства попытаются сговориться между собой (вне комиссии) с тем, чтобы после этого комиссия могла приступить ко второму чтению. Между тем, после апреля 1927 г. прошел ровно год, в течение которого были две сессии комиссии по разоружению, а соответствующие правительства ни на шаг не сблизили разногласия по этому проекту. Перед декабрьской сессией председатель германской делегации граф Бернсторф требовал от председателя комиссии назначения второго чтения проекта еще в декабре. Однако руководителям комиссии удалось уговорить германскую делегацию отказаться от этого требования. При этом графу Бернсторфу было обещано, что второе чтение состоится на мартовской сессии, куда оно и было помещено в порядок дня под пунктом 3-м. Уже на мартовской сессии выяснилось, что ни о каком втором чтении речи быть не может, так как, дескать, правительства до сих пор между собою не сговорились, и, следовательно, второе чтение никакого смысла не имеет.

Германская делегация, осведомленная о настроениях руководителей комиссии, решила перейти в наступление и выяснить положение.

Выше я говорил о том затруднительном положении, в котором очутилась германская делегация уже к началу мартовской сессии. Как только комиссия занялась третьим пунктом своей повестки дня, граф Бернсторф выступил и потребовал ясного ответа на вопрос: состоится ли на

нынешней сессии второе чтение проекта конвенции по сокращению вооружений? Выступившие по этому пункту ораторы не оставили никакого сомнения в том, что о втором чтении на этой сессии речи быть не может. Единственный мотив, который при этом приводился, заключался в том, что, поскольку правительства не сговорились относительно разногласий, выявившихся при первом чтении, нет никаких оснований переходить ко второму, ибо делегаты не смогут прибавить ничего к тому, что они сказали год назад при первом чтении.

Напрасно граф Бернсторф доказывал, что члены комиссии могут сами постараться предложить своим правительствам тот или иной компромисс; или что они могут хотя бы постараться этот компромисс найти. Ничего не помогало. У руководителей комиссии было твердое решение не допускать второго чтения, и это решение они проводили. Во время прений по этому пункту дня были сделаны два интересных заявления. Представитель Великобритании лорд Кэшенден и представитель Франции граф Клозель заявили, что в данный момент (как им известно) их правительства ведут переговоры как раз по вопросу о разногласиях, обнаружившихся при первом чтении проекта конвенции. Оба они выразили надежду, что эти переговоры увенчаются успехом, после чего можно будет беспрепятственно перейти ко второму чтению.

В этом месте разыгралась весьма драматическая сцена.

Итальянский делегат генерал де-Маринис поздравил своих, английского и французского, коллег с оптимистическими заявлениями, но при этом добавил, что ему лично о переговорах ничего неизвестно, а равно, что о них неизвестно и итальянскому правительству. Поскольку это так, он полагает, что итальянское правительство не сможет считаться с результатами этих переговоров и будут себя в дальнейшем вести так, как-будто бы этих переговоров и не было. На следующий день (получив, повидимому, дополнительные директивы из Рима) де-Маринис заявил еще более определенно, что итальянское правительство не намерено считаться с результатами этих переговоров, не будучи их участником.

Это колоритное выступление явилось иллюстрацией нынешних взаимоотношений между Италией и Францией, с одной стороны, и Италией и Англией — с другой.

Граф Бернсторф выступал несколько раз, но ему так и не удалось настоять на втором чтении проекта конвенции.

Тогда германская делегация внесла еще более радикальное предложение. В письменном виде она потребовала, чтобы комиссия зафиксировала срок созыва международной конференции по разоружению. При этом германская делегация заявила, что, поскольку подготовительная комиссия по разоружению исчерпала себя и больше, очевидно, дать не сможет, остается обратиться к самой конференции и на ней искать решения по вопросу о разоружении.

Германское предложение было принято буквально в штыки. Со всех сторон посыпались возражения, основанные на единственном мотиве, что, раз подготовительная комиссия не закончила свою «работу», нет никакого смысла созывать конференцию.

Граф Бернсторф был поддержан лишь одним делегатом, и этим делегатом был тов. Литвинов, заявивший, что он вполне присоединяется к характеристике, данной Бернсторфом, бесплодности работ комиссии, и вместе с ним высказывается за созыв в кратчайший срок полномочной международной конференции по разоружению.

В связи с предложением германской делегации между ее председателем и французским делегатом графом Клозелем произошла словесная дуэль, имеющая огромное значение для понимания всей проблемы нынешней германской политики.

В своем требовании кратчайшего созыва международной конференции по разоружению граф Бернсторф исходил прежде всего из того, что, согласно пятой части версальского договора, разоружение Германии является условием для всеобщего сокращения вооружений. В виду того, что до сих пор в этом вопросе ничего не сделано (кроме разоружения Германии), граф Бернсторф требовал созыва конференции для того, чтобы там получить решительный ответ: намерены ли союзники выполнять по отношению к себе обязательства версальского мира так же, как их выполнила Германия?

Граф Клозель немедленно заявил, что версальские державы, якобы, уже выполнили обязательства, вытекающие из версальского договора по вопросу о разоружении, «добровольно сократить некоторые свои вооружения». Мало того, он добавил, что вообще эти обязательства носят не юридический, а моральный характер, и что на них Германия не может основывать какие бы то ни было свои притязания.

Это заявление прозвучало, как похоронный звон над теми иллюзиями, которые имеются у руководителей внешней политики Германии, и которые касаются веры в то, что при помощи политики жертв и уступок можно заставить державы Антанты выполнять их обязательства по отношению к Германии.

Попытка графа Бернсторфа успехом не увенчалась.

Ему пришлось дать себя переголосовать, заявив, что он не принимает резолюции, внесенной бюро комиссии.

Эта резолюция не только не означала срока созыва конференции, но и отказалась от назначения срока созыва следующей сессии подготовительной комиссии.

Последний день пятой сессии подготовительной комиссии по разоружению был самым бурным, если не считать того дня, когда тов. Литвинов отвечал 17 ораторам и в их числе лорду Кэшендену.

В этот последний день обсуждалось несколько вопросов: 1) резолюция по советскому предложению о всеобщем и полном разоружении, 2) германское предложение о созыве международной конференции, 3) вопрос о сроке созыва следующей сессии подготовительной комиссии и, наконец, 4) вопрос о том, когда и как обсуждать второе советское предложение о сокращении вооружений.

Первоначально все эти вопросы обсуждались одновременно, так что говорившие ораторы чередовались в смысле выбора тем. Именно это чередование вызвало возмущенную реплику со стороны представителя Аргентины Переца, который заявил, что он ничего не понимает в создавшемся сумбуре прений.

Не претендуя на хронологическую точность, постараюсь изложить наиболее существенные моменты, выявившиеся при обсуждении каждого из отмеченных выше вопросов.

После того, как был исчерпан список ораторов, высказывавшихся по поводу советского предложения о полном и всеобщем разоружении, председательствующий резюмировал итоги прений, как отрицательные для советского предложения. Бюро комиссии на следующий день внесло проект резолюции, которая, отклоняя советский проект, объявляла его хотя и отвечающим идеалам человечества, однако противоречащим современным условиям, а равно и характеру тех работ, которыми занималась Лига Наций в вопросе разоружения до настоящего времени. Во время обсуждения этой резолюции выступил польский делегат Сокаль, предложивший вычеркнуть из резолюции фразу, касающуюся «идеалов человечества». Это предложение, антисоветский смысл которого был абсолютно ясен, поддержал ряд делегатов. Некоторые из них, как, например, финляндский делегат Хольсти, не смогли удержаться при этом от торжествующей улыбки, направленной в сторону советской делегации.

Тов. Литвинов, заявивший еще ранее о том, что советская делегация не примет участия в обсуждении резолюции, не мог вследствие этого высту-

пить и заявить о том, что он целиком присоединяется к предложению Сокаля. Ни Сокаль, ни присоединившиеся к нему другие делегаты не поняли, что, вычеркивая из резолюции целый ряд фраз, они тем самым оказывают советской делегации определенную политическую услугу, ибо, чем проще формула отклонения советского проекта, тем понятнее для широких масс человечества будет действительна сущность «работ» Лиги Наций в области разоружения.

Предложение о созыве международной конференции по разоружению было сделано германской делегацией после того, как комиссия отклонила обещанное еще в декабре второе чтение общего проекта о сокращении вооружений. О том, как происходило обсуждение этого предложения, я уже говорил. Резолюция, вынесенная комиссией по всем вопросам, просто не включила упоминания об этом предложении, несмотря на протесты графа Бернсторфа и несмотря на его формальное заявление, что Германия будет апеллировать к общему собранию Лиги Наций в сентябре. Комиссия выслушала это заявление и перешла к следующему вопросу.

Чрезвычайно характерные прения разыгрались по вопросу о сроке созыва будущей шестой сессии подготовительной комиссии. До сих пор существовал обычай, что перед окончанием предыдущей сессии она сама назначала срок созыва следующей сессии. Так происходило, напр., на декабрьской сессии, которая зафиксировала дату созыва пятой сессии на 15 марта. Теперь этот вопрос сразу осложнился. Осложнился он под влиянием двух причин. Прежде всего, на следующей сессии подготовительной комиссии волей-неволей должно было начаться второе чтение проекта конвенции о сокращении вооружений. При таких условиях фиксировать дату следующей сессии комиссии было бы более чем рискованно. Следует отметить, что кроме второго чтения проекта конвенции (а равно обсуждения второго проекта советской делегации, о чем речь будет ниже), комиссии вообще делать нечего.

Поэтому бюро комиссии внесло резолюцию, в которой созыв шестой сессии подготовительной комиссии передавался на усмотрение председателя. При этом, не желая, очевидно, произвести особенно удручающее впечатление на окружающих, бюро все же ставило в конец резолюции фразу о том, что созыв шестой сессии, «однако, должен иметь место до сентябрьской сессии Лиги Наций». Против такого «ограничения доверия к председателю» выступил делегат САСШ Гибсон, который заявил, что, по его мнению, нужно предоставить весь вопрос целиком на усмотрение председателя, не ограничивая его никакими сроками.

Американская точка зрения при этом выявилась полностью. САСШ не хотят продолжать работ подготовительной комиссии, во всяком случае, в ближайшее обозримое время, ибо считают, что при помощи предложения Келлога о формальном запрещении войны они смогут добиться целого ряда пацифистских эффектов (не говоря уже о конкретных политических комбинациях), умалив при этом авторитет и значение Лиги Наций.

Вот почему САСШ всячески стараются отложить какую бы то ни было работу Лиги Наций в этом вопросе (хотя бы то топтание на месте, которым занимается подготовительная комиссия) на неопределенное время.

По этому вопросу о сроке возникла довольно оживленная дискуссия.

Общий смех (звучавший, однако, не очень весело) вызвало заявление голландского делегата Рюдгерса по поводу редактирования этого абзаца резолюции. В нем было сказано: «Предоставить вопрос о созыве следующей сессии комиссии усмотрению председателя с тем, однако, чтобы этот созыв имел место, во всяком случае, не позднее сентябрьского собрания Лиги Наций». Гибсон предложил вычеркнуть последнюю фразу, начиная от слов «с тем, однако»... Рюдгерс обратил внимание комиссии на то обстоятельство, что необходимо оставить конец, который бы звучал так: «чтобы этот созыв имел место во всяком случае». «Иначе, — сказал он, — если мы все вычеркнем, окажется, что комиссия вовсе не соберется».

Это трагикомическое заявление полностью отвечало действительному положению вещей.

С одной стороны, делегаты абсолютно не знали, когда им придется вновь собраться, а, с другой, боялись, что самороспуск комиссии уничтожит возможность разыгрывать дальше перед лицом широких масс эту комедию разоружения.

Положение спас чехо-словацкий делегат Веверка, внесший (после соответствующего согласования) предложение о включении в конец резолюции слов: «...если окажется возможным, до сентябрьской сессии Лиги Наций».

Эти спасительные слова «если окажется возможным» оказались той соломинкой, за которую ухватились все.

Срок созыва комиссии повис в воздухе, но формально все оказались удовлетворенными.

Последним вопросом, вызвавшим особые трудности, был вопрос о том, как быть с советским проектом о сокращении вооружений.

Когда было отклонено предложение СССР о всеобщем и полном разоружении, тов. Литвинов, возложив ответственность за это отклонение на комиссию и заявив о том, что СССР сохраняет за собой право внести предложение о всеобщем разоружении на международную конференцию по разоружению, сообщил, что через 2 часа он, от имени советской делегации, внесет новый проект, построенный на принципе не всеобщего разоружения, а лишь сокращения вооружений.

Сцена, которая последовала непосредственно после этого заявления, весьма напоминала заключительную сцену из гоголевского «Ревизора» после получения сообщения о приезде настоящего ревизора. (Особенно она напоминала эту сцену в постановке театра Мейерхольда, где, как известно, вместо действующих лиц показываются маски.)

Вся комиссия буквально застыла от изумления, ибо этого заявления никто не ожидал и никто не предвидел.

Советской делегации было заявлено, что немедленное обсуждение ее второго предложения абсолютно невозможно, так как членам комиссии необходимо время для «изучения» нового советского предложения. В ответ на это тов. Литвинов процитировал протокол заседания третьей сессии комиссии, на которой лорд Сесиль, от имени Великобритании, и Поль Бонкур, от имени Франции, внесли проекты конвенций. Эти проекты тоже не были заранее известны комиссии. Тем не менее, комиссия постановила обсуждать их через два дня после внесения, а представитель САСШ (тот же Гибсон), не имевший к этому времени инструкций, заявил, что протелеграфирует оба проекта своему правительству и таким же путем получит инструкции. Как можно судить из последующих протоколов, инструкции были Гибсоном получены, и он принимал участие в обсуждении, действуя от имени своего правительства.

Тов. Литвинов спросил, какая разница между методом внесения своих проектов Англией и Францией, с одной стороны, и СССР, — с другой, и снова потребовал немедленного обсуждения советских предложений.

В этом комиссия отказала без объяснения причин.

Своим поведением в этом вопросе комиссия еще раз подчеркнула истинную сущность своих «работ», прибавила лишний штрих к той общей дискредитации Лиги, которая явилась результатом этой сессии.

Было постановлено, что советский проект будет передан на обсуждение правительствам для последующего обсуждения его в комиссии.

На этом работы сессии закончились.

Делегаты могли спокойно раз'ехаться по домам, дав широким массам человечества новое доказательство, что в Женеве слово «мир» служит разменной монетой для соответствующих политических комбинаций.

Георгий Валентинович Плеханов

(К десятилетию со дня его смерти — род. 26 ноября 1856 г., ум. 30 мая 1918 г.)

ВАЛЕРЬЯН ПОЛЯНСКИЙ

I

Плеханов умер меньшевиком, социал-патриотом, сторонником коалиции пролетариата с буржуазией; умер он в белой Финляндии, отстраненный событиями от революции и забытый рабочим классом. Сорок лет напряженной общественной борьбы — и смерть в политическом одиночестве. Умирал Плеханов в большом смятении, трагически. Он не пошел за большевиками, но он не согласился и с меньшевиками в их активном выступлении против диктатуры пролетариата. Он сознавал весь ужас своего положения. Блестящий теоретик марксизма, основоположник русской социал-демократии, яркая фигура в рядах руководителей II Интернационала — и такой трагический, ужасный конец.

«Дней за шесть до кончины, — рассказывает Р. М. Плеханова, — после легкого обеда он заснул, казалось, спокойно, но, открыв глаза, начал говорить что-то страстным шопотом; глаза у него горели гневно и... вдруг, сделав энергичный жест рукой, он громко сказал: «Пусть не признают моей деятельности, — я им задам!»¹⁾).

Плеханова — меньшевика, оппортуниста — мы не признаем; Плеханова — революционера, воинствующего материалиста — мы глубоко чтим, у него мы учимся.

Плеханов — дворянин Тамбовской губернии, сын отставного штаб-ротмистра гусарского полка. С детских лет он поражал окружающих необыкновенной памятью, страстью к книгам, своими большими умственными способностями. Отец, умный и образованный человек, не раз говорил своему сыну: «Не читай так много, Жорж, а то, смотри, мозг высушишь»²⁾. Отец мечтал, что сын пойдет на гражданскую службу. Были первые годы так называемых «великих реформ», — освобождения крестьян. Нужны были образованные люди для различных гражданских профессий. Жорж избрал военное поприще, настоял и поступил в Воронежскую военную гимназию, в ней он был «всеведущим Жоржем», поражая всех своими знаниями, остроумием, выдержанностью и дисциплиной. По окончании гимназии Плеханов поступил в Константиновское военное училище, и уже мечтал об Академии военного штаба. Перед блестящим молодым человеком, даровитым и красивым, открывалась большая военная карьера. Он быстро достиг бы высоких чинов и положения,

¹⁾ Цитирую по книге: В. Ваганян, Г. В. Плеханов. ГИЗ. 1924 г. Стр. 697.

²⁾ Л. Г. Дейч, Г. В. Плеханов. Выпуск I. Изд. «Нов. Москва». 1922 г. Стр. 7.

но в это время в нем происходит решительный перелом, он энергично порывает с военной наукой, и в 1874 году поступает в Горный институт. С конца же 1875 года он становится членом нелегальной революционной организации «Земля и Воля».

II

Тогда было время революционного движения интеллигенции, известного под именем народничества. Народники верили, что капитализм минует Россию, а необъятная Россия, благодаря своему общинному землевладению, может непосредственно превратиться в социалистическую страну. Для этого надо лишь многомиллионному русскому крестьянству раз'яснить положение дел и поднять его против помещиков. На первых порах народники даже не интересовались политической борьбой с самодержавием, полагая, что политические свободы могут открыть путь капитализму. Интеллигенция, в особенности учащаяся молодежь, пошла с пропагандой социализма в народ. К этому движению примкнуло не мало «кающихся дворян», которые совестились своего привилегированного положения и хотели вернуть свой «долг» народу. Хождение в народ, как известно, кончилось жестоким крахом. Крестьяне молодых энтузиастов предавали в руки «начальства». Наступило разочарование в народе и даже в социализме. Именно в эту пору Плеханов стал в ряды революционеров-народников. Известные в то время революционеры — Кравчинский, Клеменц, Рогачев, Ковалик — представлялись Плеханову, как рассказывает Л. Г. Дейч, людьми недосягаемого величия, необыкновенными. Он преклонялся перед ними ¹⁾.

В народничестве боролось два направления: лавристы и бакунисты. Лавров учил: «С о ц и а л ь н ы й вопрос есть для нас вопрос первостепенный. Мы видим в нем самую важную задачу настоящего, единственную возможность лучшего будущего... Вопрос политический для нас подчинен социальному и в особенности экономическому... Для русского социальная почва, на которой может развиваться будущность большинства русского населения в том смысле, который указан общими задачами нашего времени, есть крестьянство с общинным земледелием... Человек, принадлежащий к цивилизованному обществу, может, вооружившись основательным знанием и усвоив народные потребности, итти в народ, отказавшись от всякого участия в государственном строе современной России. Тот, кто желает блага народу, должен стремиться не к тому, чтобы стать властью при пособии уличной революции и вести за собой народ,... а готовить успех народной революции, когда она станет необходимой, когда будет вызвана течениями исторических событий и действиями правительства. Готовьтесь к этой минуте умственным развитием, житейским опытом, выработкою в себе твердого характера. Готовьте к ней народ русский, уясняя ему его истинные потребности, его вечные права, его грозные обязанности, его могучую силу» ²⁾.

К 1875—1876 г.г. среди лавристов, да и у самого П. Л. Лаврова, взгляд на социальный переворот в России меняется. Лавров попрежнему верит, что община — основа социалистического общества, но он не уверен, что русские социалисты-революционеры смогут предупредить развитие капитализма в России, и не исключает возможности, что социализм явится, как исторический фазис, фатально вырабатывающийся из капиталистического строя». Лавристы этих лет постепенно пришли к выводу, что капитализм создаст базу для социальной революции, но они не сделали нужных политических выводов и отошли от революционного дела. Лавристы — народники-пропагандисты.

¹⁾ Л. Г. Дейч, Г. В. Плеханов. Выпуск I. Изд. «Нов. Москва». 1922 г. Стр. 15.

²⁾ Цитирую по книге: О. В. А п т е к м а н, Общество «Земля и Воля» 70-х г.г. Изд. «Колос». 1924 г. Стр. 123—126.

Бакунисты — народники-бунтари. Оставаясь на прежней народнической программе, они признавали один путь — «путь боевой, бунтовской». Бакунин писал: «Надо поднять вдруг все деревни. Что это возможно, доказывают нам громадные движения народные под предводительством Стеньки Разина и Пугачева». Народ убежден, что вся земля принадлежит трудовому народу, как общине, миру, и община враждебна государству. Осуществить свой идеал народ может не иначе, как только организацией «всеобщего народного восстания». Ради этой цели народники-бакунисты вызывали отдельные бунты, используя местные нужды и отношения, вели «пропаганду фактами».

Плеханов был бунтарем-землеволецем, последовательным народником-бакунистом. Об этом он не раз упоминает в своей работе «Русский рабочий в революционном движении». Рассказывая о своих связях с рабочими, он пишет: «Идя к рабочим не то чтобы против воли, а, так сказать, против теории, мы, разумеется, не могли хорошо выяснить им то, что Лассаль находил идеей рабочего сословия. Мы проповедывали им не социализм и даже не либерализм, а именно тот переделанный на русский язык бакунизм, который учил презирать «буржуазные» политические права и «буржуазную» политическую свободу и ставил перед ними, в виде соблазнительного идеала, допотопные крестьянские учреждения»¹⁾.

Оглядываясь на пройденный этап революционного движения, Плеханов не раз отмечал, что лавристы, несмотря на отрицание «политики», умели давать картину европейского рабочего движения в действительном, а не в том искаженном виде, как изображали его бакунисты. В программе Северного Русского Рабочего Союза, образовавшегося зимой 78—79 г.г., «сильно слышалась социал-демократическая нота». Плеханов приписывал это влиянию лавристов; тем не менее, он полагал, что лавристы дальше стояли от рабочего движения, чем бакунисты. В учении Бакунина, хотя и в искаженном виде, ясны были следы материалистического понимания истории, да и действовали бакунисты не столько на почве отвлеченной пропаганды, сколько исходя из материальных отношений. Как народник, Плеханов верил, что русские революционеры еще имеют возможность предотвратить пришествие капитализма, народное восстание разрушит государство, и народ, крестьянство устроит жизнь согласно своим стремлениям, — наступит социализм. В предисловии к русскому изданию книги А. Туна «История революционных движений в России» Плеханов определенно указывал: «От искаженного, если хотите, даже к арикатурного, марксизма Бакунина и его последователей все-таки было ближе до научного социализма, чем от эклектического идеализма Лаврова и лавристов. И мы видим на самом деле, что первыми последовательными русскими социал-демократами явились люди, прошедшие школу бакунизма, а не бывшие ученики Лаврова».

В это время Плеханов, как и другие бакунисты, много занимается историей, читает критиков — Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева, сочинения Лассалья, Бокля, Дренера, Луи-Блана, «Исторические письма» Лаврова, работы Флеровского (Берви) и мн. др. В организации был Ив. Фед. Фесенко. Вместе с проф. Н. Зибером он был одним из первых последователей Маркса. Фесенко привлек Плеханова к пропаганде среди рабочих, заинтересовал его политической экономией и «Капиталом» Маркса.

К 1879 году в «Земле и Воле» намечилось два течения: политики и деревенщики. Политики настаивали на терроре и уже применяли террор, они добивались конституционных свобод, чтобы дезорганизовать правительство. На воронежском съезде особенно резко отстаивал позицию политиков А. Желябов. Деревенщики в лице Плеханова держались взгляда, что полити-

¹⁾ Г. В. Плеханов, Сочинения. Том III. ГИЗ. Стр. 139.

ческий террор может привести к замене отдельных лиц, но не изменит соотношения общественных сил. В противовес политическому террору он выдвинул городской экономической террор. Как известно, воронежский съезд кончился расколом. «Земля и Воля» распалась на две организации: «Народная Воля» и «Черный Передел». «Народная Воля» под руководством А. Желябова, С. Перовской и других вступила в героическую борьбу с царем Александром Вторым. «Черный Передел» не смог развить своей деятельности. Все симпатии были на стороне политиков-террористов. Да и вскоре, в начале 1880 г., Плеханов, Засулич и Дейч, чтобы избежать ареста, должны были уехать за границу.

Перед Плехановым встал основной вопрос теории и практики революционного движения,—что такое социализм, что такое политическая борьба, каковы их взаимоотношения. Работая над этим вопросом, он постепенно отходит от ортодоксального народничества. В январе 1881 года он посылает письмо в редакцию «Черного Передела», высказывая мысли, что «социализм есть теоретическое выражение, с точки зрения интересов трудящихся масс, антагонизма и борьбы классов в существующем обществе. Вытекающая из него практическая задача революционной деятельности заключается в организации рабочего сословия, в указании ему путей и способов его освобождения... Вне организации сил, вне возбуждения сознания и самодеятельности народа, самая геройская революционная борьба принесет пользу только высшим классам, т.-е. именно тому слою современного общества, против которого мы должны вооружать трудящиеся обездоленные массы. Освобождение народа должно быть делом самого народа»¹⁾. Конечно, взятые формулировки не говорят еще о марксизме Плеханова, но они определенно свидетельствуют об отходе от бакунизма и приближении к марксизму. Зимой 1881—82 г. Плеханов приступил к переводу «Коммунистического Манифеста». В это время логика политического развития привела его к мысли о необходимости пролетариату организоваться в самостоятельную классовую политическую партию. Он видел, что «рабочие наших промышленных центров, в свою очередь, начинают мыслить и стремиться к своему освобождению». В 1883 году Плеханов выпускает брошюру «Социализм и политическая борьба». В ней он доказывает, что политическая борьба есть условие экономического укрепления. В этом же году Г. Плеханов, В. Засулич, П. Аксельрод, Л. Дейч, В. Игнатов организуют первую русскую социал-демократическую организацию — «Группу Освобождения Труда». В начале 1885 г. Плеханов выпускает книгу «Наши разногласия», в которой критикует народничество и дает обоснование программы социал-демократии. В последующие ближайшие годы Плеханов пишет ряд предисловий к социал-демократическим изданиям, а в литературно-политическом обозрении «Социал-демократ» дает ряд прекрасных статей о беллетристах-народниках и Чернышевском. В 1895 году Плеханов-Бельтов выпустил нашумевшую книгу «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю».

На первом международном социалистическом конгрессе в Париже в 1889 году Плеханов бросил знаменитую фразу: «Революционное движение в России победит, как движение рабочих, или не победит вовсе». Тогда это заявление было встречено со скептицизмом, но уже на четвертом лондонском конгрессе, после грандиозной стачки текстильщиков в С.-Петербурге, охватившей 19 фабрик, свыше 30.000 рабочих, слова Плеханова звучали уже достаточно веско.

В эти же годы Плеханов участвует и в легальной прессе: в «Отечественных Записках», в «Научном Обозрении», в «Новом Слове», в «Начале», в которых под разными псевдонимами помещает ряд блестящих статей.

¹⁾ Г. В. Плеханов, Сочинения. Том I. ГИЗ. Стр. 134.

В конце 80-х годов Россия начинает покрываться рядом социал-демократических групп, которые в марте 1898 года объединяются в «Российскую Социал-Демократическую Рабочую Партию». Плеханов, естественно, становится одним из виднейших теоретиков партии.

III

Как теоретик марксизма, Плеханов проявил себя в самых различных областях,—в социологии, философии, искусстве, критике, истории общественной мысли.

Вместе со своими учителями, Марксом и Энгельсом, Плеханов был ярким последователем французских материалистов XVIII века. Конечно, их учение он брал в свете диалектики. Он переработал наследие великой французской революции, и учение Дидро, Гольбаха, Гельвеция поставил на службу пролетариата. К концу XIX века буржуазия стала отходить от империализма и повела с ним ожесточенную борьбу. Было сильно увлечение Кантом. Плеханов понимал, какое серьезное значение имеет для успеха борьбы пролетариата материализм, в особенности диалектический материализм. Еще в оценке учений Лаврова и Бакунина он подчеркивал значение материалистического понимания общественного процесса. В своих работах он с глубиной и остротой вскрывает свежесть и революционность материалистической мысли. «Основные вопросы марксизма», «Очерки по истории материализма»,—работы, мимо которых не может пройти ни один сколько-нибудь образованный человек. Плеханов вел философскую борьбу не только с немецкими идеалистами, но и с различными философскими течениями внутри российской социал-демократии, с А. Богдановым, А. Луначарским и другими, вскрывая в их учении влияние Маха и Авенариуса и других представителей идеализма. В. И. Ленин целиком разделял философские взгляды Плеханова и не раз обращался к нему с предложением, чтобы он занялся разоблачением философских шатаний в рядах социал-демократии.

Теперь Плеханова изучают в вузах, знакомятся с ним в средней школе. В самых различных областях знания он проливает свет на неразработанные вопросы.

Основное положение исторического материализма,— бытие определяет сознание, т.-е. в конечном счете все определяется развитием производительных сил,—произвело целую революцию в науках, оно дало возможность объяснить то, что считалось необъяснимым, если не прибегать к воле провидения. Развитию этого положения Плеханов уделил не мало внимания. Он построил пятичленную формулу, в которой зависимость «основания» и «надстройки» установил следующим образом:

1. Состояние производительных сил.
2. Обусловленные им экономические отношения.
3. Социально-политический строй, выросший на данной экономической «основе».
4. Определяемая частью непосредственно экономикой, а частью всем выросшим на ней социально-политическим строем, психика общественного человека.
5. Различные идеологии, отражающие в себе свойства этой психики».

Эту схему Плеханов применяет к объяснению материала в самых различных областях знания, в общественной жизни, философии, искусстве, литературе, живописи, религии, истории, общественной мысли и везде освещает темные неисследованные области.

Все современное искусствоведение и литературоведение строится на работах, которые оставил нам Плеханов. Правда, в этих областях он не дал законченной системы, но в его сочинениях разбросано много методологических указаний, которые сейчас разрабатываются, систематизируются, сводятся в единое целое. Он дал блестящие образцы литературной критики и социологического понимания искусства. Развивая основы научной эстетики, Плеханов показал, что научная эстетика есть в то же время публицистическая эстетика. Отсюда вывод, что искусство имеет серьезное утилитарное, пропагандистское значение. Это он указал, что художественность произведения в конечном счете определяется удельным весом содержания, что форма и содержание неразрывны, органически едины, что при оценке художественного произведения необходимо прежде всего «перевести идею данного художественного произведения с языка искусства на язык социологии, чтобы найти то, что может быть названо социологическим эквивалентом данного литературного явления»¹⁾). Чтобы избежать вульгаризации, Плеханов подчеркнул, что это требование относится к тем произведениям, которые отвечают определенным требованиям художественности.

В статье «Судьбы русской критики» Плеханов указывает, что «общество состоит из разных классов, потребности и вкусы которых непременно должны изменяться в связи с переменами в общественных отношениях... Развитие общества определяется в последнем счете его экономическим развитием, из чего, однако, вовсе не следует, что мы должны интересоваться лишь «экономической струной», как некогда выразился почтенный социолог Н. К. Михайловский». В применении к искусству Плеханов развил эту мысль в работе о Н. Г. Чернышевском следующим образом: «Тот класс, который господствует в данное время в обществе, господствует также в литературе и в искусстве. Он вносит в них свои взгляды и понятия. Но в развивающемся обществе в разное время господствуют разные классы. При том же всякий класс имеет свою историю: он развивается, доходит до процветания и господства и, наконец, клонится к упадку. Сообразно с этим изменяются и его литературные взгляды и его эстетические понятия»²⁾). Все это в свою очередь определяет отношение общества к художнику и к герою произведения. Выдвигая свою пятичленную формулу, Плеханов в статье «Литературные взгляды В. Г. Белинского» подчеркивает, что «непосредственное влияние экономики на искусство и другие идеологии вообще замечается крайне редко. Чаще всего влияют другие «факторы»: политика, философия и т. п.». Но он тут же добавляет, что материалисты-диалектики «не останавливаются на поверхности явлений и не довольствуются ссылкой на взаимодействие разных «факторов». Когда вы говорите: в данном случае влияет политический фактор,—они поясняют: это значит, что взаимные отношения людей в общественном процессе производства заметнее всего выразились через посредство политики». В наше время эти мысли имеют серьезнейшее, основное значение. Если одни пытаются перебросить приводной ремень машины непосредственно на сознание художника, если они всякое литературное явление пытаются объяснить непосредственно производственным процессом, разрывая фактическую связь «основания» с надстройкой», если другие, наоборот, пытаются объяснить все производными «факторами», относя процесс производства к самым отдаленным силам и считаясь с ним лишь словесно, с оговоркой «в конечном счете»,—то следует признать, что и те и другие впадают в вульгаризацию марксизма.

¹⁾ Г. В. Плеханов, Сочинения. Том XIV. ГИЗ. Стр. 183.

²⁾ Г. В. Плеханов, Н. Г. Чернышевский. Изд. «Шиповник». СПб. 1910 г. Стр. 223.

Работы Плеханова о Белинском, Чернышевском, о писателях-народниках, о происхождении и связи искусства с общественной жизнью долго еще будут давать богатейший материал для построения марксистской методологии искусствоведения и литературоведения.

IV

Как основоположник российской социал-демократии, Плеханов неизбежно должен был вести борьбу с народничеством. Эту борьбу он вел с блеском и громадным успехом. Своими работами он завоевал интеллигенцию для марксизма, показав всю несостоятельность народничества, как теории и как революционной тактики. Такие книги, как «Наши разногласия» (1884 г.), «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» (1895 г.), и «Основание народничества в трудах господина Воронцова (В. В.)» (1896 г.) произвели в умах интеллигенции настоящую революцию. Михайловский, Кареев, Воронцов и другие «властители дум» сразу утратили все свое влияние и значение.

С новой силой борьба с народничеством разгорелась, когда начала складываться партия социалистов-революционеров, партия мелкобуржуазного социализма. Плеханов особенно ненавидел и особенно вредной считал мелкую буржуазию, полагая, что она своим влиянием всегда готова повернуть колесо истории назад. В своей полемике Плеханов был беспощаден. Если он щадил несколько народников из «Земли и Воли», то он не стеснялся бить их эпитетом.

Как ортодоксальный марксист, Плеханов вел не менее ожесточенную и блестящую борьбу с оппортунизмом в рядах марксизма. В последние годы столетия в России стал пользоваться влиянием немецкий ревизионист, социал-демократ Э. Бернштейн, который в своих работах и главным образом в книге «Исторический материализм» начал доказывать, что «движение — все, конечная цель — ничто». На страницах немецкого журнала «Neue Zeit» Плеханов вскрыл философское и политическое ничтожество этих взглядов с исчерпывающей полнотой. Та страстность и энергия, с которой он бил ревизионизм, объясняется тем, что Плеханов боялся, как бы молодое социал-демократическое рабочее движение в России, под влиянием эсеров и ревизионизма, не сошло с истинно-революционного пути, усвоив взгляд Э. Бернштейна, что социализм придет постепенно, вырастет из недр самого капитализма, как тогда говорили, путем «врастания» социалистических элементов в капитализм, что социализм может прийти без социальной революции и диктатуры пролетариата.

Опасность ревизионизма, действительно, была велика. За него ухватились М. Туган-Барановский, П. Струве, Е. Кускова, Прокопович и друг. Кускова, как известно, составила особое «Credo», в котором доказывала, что пролетариат должен ограничиться экономической борьбой, борьбу же политическую будет вести интеллигенция. Ревизионистское течение в рядах российской социал-демократии, известное под именем «экономизма», естественно, вызвало энергичный отпор. Ленин и Плеханов выступили со всей силой своего влияния, потому что «экономизм» и всякий оппортунизм были довольно распространены среди марксистской интеллигенции, поскольку она обучалась марксизму по статьям в легальных журналах, в которых, естественно, со всей полнотой и ясностью нельзя было вскрыть революционную сущность учения Маркса. Да и сама социальная природа интеллигенций располагает ее больше к ревизионизму, чем к ортодоксии.

С 1902 года, когда с лета начало выходить «Освобождение», орган русского либерализма, борьба против народничества и ревизионизма усложнилась борьбой против либерализма.

С декабря 1900 года начала выходить газета «Искра», и с 1901 года — журнал «Заря» для разработки теоретических вопросов. На страницах этих органов Плеханов с присущим ему талантом и вел свою полемику против всех тех, которые мешали развитию рабочего движения.

Известный сборник статей «Критика наших критиков» — ответ ревизионизму Э. Бернштейна и П. Струве, «Vademecum» (1900 г.) — резкая критика «экономизма».

Отличительной чертой всех полемических выступлений Плеханова являлось то, что он всегда ставил ту или другую спорную проблему во всем объеме, в системе марксистского мировоззрения. Сокрушая противника, он утверждал свою мысль, всегда давая много положительного фактического материала. Поэтому его работы не утратили своего значения и до сего дня.

Ортодоксальный марксист Плеханов проявил, однако, не мало колебаний и шатаний в области непосредственной политической борьбы, в области тактики рабочего движения.

В своей брошюре «Новый защитник самодержавия, или горе г. Тихомирова» Плеханов подошел к ренегатству видного революционера-народника с научной точкой зрения и доказал, что корни падения его кроются не в личных свойствах г. Тихомирова, а в социальном крахе народнического движения, крахе, который привел деятелей народничества к внутренней пустоте, загнал их в тупик.

Плеханов, как известно, всю свою жизнь колебался между большевиками и меньшевиками, склоняясь на сторону то одних, то других, или оставаясь в блестящем одиночестве. Следует, однако, со всею настойчивостью подчеркнуть, что он, подобно другим меньшевикам, не был ликвидатором нелегальной социал-демократии, что он не отказывался от гегемонии рабочего класса, поэтому на II съезде партии по вопросу ¹ первом пункте устава партии, по вопросу о централизме, он был с В. И. Лениным.

Если Тихомиров пал в результате краха народничества, то колебания Плеханова обуславливались частью его отдельными теоретическими ошибками, частью практикой немецкой социал-демократии, которая с начала XX века все больше и дальше уходила от революционной борьбы, замыкалась в рамки парламентской деятельности.

Плеханов, в силу своих старых корней с народничеством, с бакунизмом, был убежден, что грядущая революция в России будет буржуазной по своим конечным результатам, хотя бы рабочий класс и играл в ней роль вождя. Отсюда — отрицательное отношение к захвату власти, отсюда — стремление идти в блоке с буржуазией во всех тех случаях, когда это ведет к расширению политических свобод и к улучшению экономического положения рабочего класса. Со своим старым убеждением, выработанным еще в период перехода от народничества к марксизму, Плеханов считал буржуазию прогрессивным классом, более прогрессивным, чем крестьянство. Он поэтому не разглядел того факта, что русская буржуазия даже в период борьбы с самодержавием была злейшим врагом пролетариата, а не его союзником. Он не понял, что крестьянство может быть союзником пролетариата не только в борьбе с самодержавием, но и в период социалистического строительства, на «другой день» после социальной революции, как в те годы говорили. Плеханов был глубоко убежден, что социальная революция в России может быть только тогда, когда Россия, строго следуя схеме, пройдет стадию капиталистического развития. Отсюда — борьба в 1905 году против большевистского лозунга «диктатуры пролетариата и крестьянства», отсюда — мещанское осуждение московского восстания, отсюда — известная фраза: «Не надо было братья за оружие». Отсюда — борьба с большевиками вокруг государственной думы. Большевики всякое

соглашательство с кадетами считали политическим обманом, вредным делу революции, Плеханов, наоборот, находил, что большевики мешают делу борьбы с самодержавием и, таким образом, невольно его укрепляют.

Плеханов все время жил за границей, жил традициями II Интернационала, который способствовал развитию социал-демократии в рамках отдельного государства, но не мог подняться до организации международного рабочего движения в истинном смысле этого слова. В период II Интернационала рабочее движение каждой страны жило своей замкнутой борьбой и не умело рассматривать и сочетать свою борьбу с мировым рабочим движением. Отсюда — неумение сочетать задачи российского рабочего движения в рамках самодержавия с задачами социальной революции.

Во всем этом и кроется противоречие жизни Плеханова: ортодокс в теории, оппортунист в тактике.

Здесь будет уместно остановиться на исторических взглядах Плеханова. Они так же проливают свет на противоречие Плеханова. Исторические взгляды Плеханова М. Н. Покровский не без основания подверг довольно суровой критике, заявив, что «за изложение «Русской общественной мысли» основатель русского марксизма принял тогда, когда он переставал уже быть марксистом», превратившись в идеолога технической интеллигенции¹⁾. М. Н. Покровский вскрывает, как основоположник русского марксизма пришел к теории «внеклассового происхождения русского самодержавия», к «неоспоримому относительному своеобразию русского исторического процесса», к заявлению, что «одной из замечательных особенностей русского исторического процесса явился тот факт, что наша борьба классов, чаще всего остававшаяся в скрытом состоянии, в течение очень долгого времени не только не колебала существовавшего у нас политического порядка, но, наоборот, чрезвычайно упрочивала его». Эта теория привела Плеханова к оборончеству, к группе «Единство». Во время русско-японской войны он был пораженцем и позже довольно настойчиво указывал западно-европейской социал-демократии, что пролетариат на самом деле не имеет своего отечества. В годы империалистической войны он ярый оборонец.

Теория «относительного своеобразия русского исторического процесса» и убеждение, что Россия должна пройти непременно через буржуазную революцию со всеми вытекающими отсюда длительными изменениями в социальной жизни, и погубили Плеханова, как тактика социал-демократической борьбы.

Трагедия Плеханова имеет в себе много общего с той трагедией, которая жила в груди многих видных деятелей II Интернационала, не исключая Гэда, Жореса, Вальяна, Кейр-Гарди, Бебеля, В. Адлера и других. Это «трагедия целой плеяды, целого поколения мирных социалистов-просветителей, которые в течение целого периода вели борьбу за революцию с пером в руке, а когда пришлось вести борьбу с оружием в руках, они оказались не на своих местах и тем самым оказались против рабочего класса», как справедливо говорилось на заседании Петроградского Совета 9 июня 1918 г., посвященного памяти Г. В. Плеханова.

V

Умер Плеханов оторванным от рабочего класса. Провожали его Керенский, Алексинский, Милюков, Либер, Дан, Амфитеатров и литераторы из буржуазных и соглашательских газет. Хоронила его группа

¹⁾ М. Н. Покровский, Марксизм и особенности исторического развития России. Ленинград «Прибой». 1925 г. Стр. 6 и 19.

«Единство». На гроб контрреволюционная газета «Речь» послала венок с надписью: «Честному сыну отечества».

Несмотря на все это, мы не забываем, что в последние дни своей жизни, несмотря на ряд настойчивых предложений, Плеханов не пошел активно против Октябрьской революции и признал, несмотря на все свое несогласие, в принципе за пролетариатом право устраивать свою жизнь так, как он считает необходимым.

Мы не можем забыть, что Плеханов первый «открыл» русский рабочий класс, что именно он предсказал еще на первом международном конгрессе II Интернационала, что «революционное движение в России разовьется и победит только под гегемонией рабочего класса», что он вместе с Лениным составил программу российской социал-демократической партии. Мы хорошо помним, как Плеханов выковывал теоретическое оружие пролетариата и что он яростно боролся с его идейными врагами.

Рабочий класс не отличается сентиментальностью. Он прекрасно знает и понимает ошибки Плеханова. Он чтит его за то, что он дал ему ценного своей теоретической работой.

От Аничкова к Матвееву

(Четыре романа)

А. ЛЕЖНЕВ

«...Я в партии был четыре года, на семи фронтах дрался, военкомом дивизии был... вона! Я такую, брат, жизнь прошел, что не в институте мне теперь торчать, а на государственном бы деле сидеть. Только скучно все это, Кирилл, я от скуки этой и себя запустил и партию бросил... вычистили, конечно!.. А я тебе объясню, почему. Таких вот, как я, тысячи, брат, мы на огонь летели, дрались, себя не жалея, в пух по ветру себя пускали... горизонты открылись. А нас с военной работы — прямехонько в бухгалтерию... учитесь, товарищи, на счетах считать да штаны просиживать. Или в уком на работишку... нет, брат, кто вольного духу понюхал, того в канцелярию не засадишь. Тесно. А в канцелярию не желаете — пожалуйста в вычистку... у нас на этот счет просто. Ладно, думаю, братцы, я для вас воевал, а вы меня коленкой под зад, когда желаю иметь свои убеждения... и вычистили. Ну, а наше поколение,—знаешь,—из училища прямо в войну, а из войны в революцию. Что мы знаем? Пока был в кармане билет, была должность—человеком был. Отобрали билет, сместили с должности — и в роде как бы голым остался. Решил себя образовывать, чтобы ни от кого не зависеть... Вот институт —ну, к технике у меня способности есть, от других не отстану,— а в башке как кофейная мельница: ну, а дальше? Перепроизводство или с канарейкой житьишко? Так не для того на фронте я дрался, не для того горизонты мне открылись... я жизни хочу! Жизнь нужна, Кирилл, а если жизнь нужна, то и нужно ее добывать. Ладно. Стал я к жизни присматриваться и увидел, что о справедливости только в трубы трубили, никакой справедливости нет... Попрежнему живет один хорошо, а другой плохо, одному жизнь пригоршней лезет, а другой ее и не зацепит, как ни старается».

Так излагает свою жизненную философию один из героев лидинского романа «Отступник»—Свербеев. А так как этот молодой студент вовсе не теоретик, и философия ему нужна не для упражнения своих диалектических способностей, а как алгебра практики, то он тотчас же переходит к конкретной программе действий:

«А чтобы нам с тобой свою жизнь выправить, нужны деньги... деньги прежде всего, Кирилл, без денег мы — ничто».

И он предлагает своему приятелю Бессонову план, как эти деньги раздобыть: шантаж профессора Челищева. Черновой набросок плана в дальнейшем изменяется — приятелям приходится пойти на более «грубый» и неудобный акт, на ограбление, завершающееся убийством. Но эту уголовную историю оставим пока в стороне и присмотримся к свербеевской «философии».

Свербеев — не лицемер, а скорее циник. Он не скрывает своих истинных побуждений. Он не прячет наготу своей теории под пышность громких фраз. Но он все же любит героические интонации:

«Перепроизводство или с канарейкой житьишко? Так не затем я на фронте дрался, не для того горизонты мне открылись» и т. д.

Но для чего открылись горизонты Свербееву? И почему ненавистно ему житьишко с канарейкой?

У Свербеева нет никаких принципов. Если он ненавидит канареечный быт, то это не потому, что он вообще против мещанства, замыкания в личное и т. д., а только потому, что подобное «домашне-уютное» существование кажется ему скромным по масштабам. Как и всякий мещанин, он хочет прожить для себя, в свое удовольствие, ни о чем другом не думая. Но у него просто гораздо большие аппетиты. «В свое удовольствие» значит для Свербеева — с блеском, звоном, шиком: идеал растратчика или ухаря-купца. Обыватель с канарейкой — это мещанин в хомуте и узде. Свербеев — мещанин, сбросивший узду на время.

Свербееву чужда не только общественность и политика. Он не интересуется ни наукой, ни искусством, он не знает сильных привязанностей. Это — человек с пустой душой, у которого остались лишь живые инстинкты и цепкая жадность к жизни, поддерживаемые упорной волей. Он и «работает» цинично, не пытаясь прибегать к идейной маскировке своих поступков. «Не гадину для справедливости убрать я хочу, я — не Раскольников», — говорит он, обсуждая свой «заговор» против профессора.

Откуда же взялся, как возник такой опустошенный человек? Тайну своего формирования раскрывает отчасти сам Свербеев. Он «свихнулся» при переходе от военного коммунизма к нэпу, к «будням» мирного строительства. Это — довольно типическое явление, не раз освещенное нашей художественной литературой. Но когда свихивается, например, леоновский Митя Векшин, то это происходит потому, что ему кажется, будто революция зашла в тупик, будто кончилась ее героическая пора, и романтику ее покрыла огромная тень расфуфыренной нэпманской дамы. У Свербеева — другое. Правда, и он говорит о том, что стало «скучно» и — по-старому — нет «справедливости», о которой «столько трубили», но в его сетованиях слышится не голос оскорбленной романтики, а совсем другие ноты. Не потому он разочаровался, что революция будто бы зашла в тупик, а потому, что ему стало «тесно», потому, что канцелярская работа для него слишком мелка (ему бы «на государственном деле сидеть»), потому, что на войне он дышал «вольным духом», был «человеком», много значил, мог импонировать, а теперь стал мелким колесиком, незаметным винтиком машины. У Свербеева звучат не идейные, а личные мотивы. Если Митя Векшин — благородный «разбойник», своего рода Карл Моор, опустившийся на дно, потому что справедливость кажется ему поруганной, и он пришел в разлад с самим собой и окружающей средой, то Свербеев — «низменный» Франц Моор, правда, сильно упрощенный и с демонизмом, слинявшим до банальной уголовщины.

Если верить автору и Свербееву, то наш Франц Моор был одним из тех, что во время гражданской войны «на огонь летели, дрались, себя не жалея, в пух по ветру себя пускали», перед кем «горизонты открылись» и т. д. Позволительно, однако, усомниться в безупречности Свербеева даже в эти «романтические» дни. Если начинающаяся революция и увлекла их своим размахом, то, думается, главным образом, потому, что обстановка первых лет, хаос партизанщины, сумятица передвигающихся фронтов позволяла им развертывать «ширь» их анархических натур. Во всяком случае, в период развертывания действия романа Свербеев — характерный представитель той породы прожженных; огонь и воду прошедших, людей, из

которых рекрутируются кадры новой буржуазии. Они свободны от принципов, от привязанности, от культуры. Они свободны от сентиментов. Они выпотрошены от всего, кроме бешеного желания «делать жизнь», урвать побольше. Они относятся с презрением к обывателю с канарейкой, потому что этот обыватель — устарелый, травоядный тип мещанина, а они являют собой тип хищный, зубастый, который может дать американизированного дельца, авантюриста, налетчика,—смотря по обстоятельствам.

Кой-кому образ Свербеева кажется родственным Раскольникову (из «Преступления и наказания»), даже едва ли не повторяющим его. Такого рода упрек как-будто имел в виду и сам автор, заставляя Свербеева говорить: «Я — не Раскольников. Не гадину для справедливости убрать хочу». Это возражение как раз несостоятельно. Раскольников убивает старуху не потому, что хочет «убрать гадину», а потому, что хочет убедиться — «тварь» ли он «дрожащая» или смеет преступить. Но автор прав. Между Раскольниковым, волнуемым большими вопросами — личности, ее свободы, ее права по отношению к целому и т. д., — и жохом Свербеевым сходства не больше, чем между Иваном Карамазовым и Смердяковым.

Свербеев, не занимающий центрального места в «Отступнике», логичной эмоциональных соотношений внутри романа выдвигается вперед и заслоняет настоящего его героя, Бессонова, натуру мягкую и неоформленную. Свербеев — та сила, которая тянет Бессонова на дно. Сам же Бессонов, к моменту его приезда в Москву, еще не выработался в человека с устойчивыми принципами и твердым характером. Из маленького провинциального городка он попадает в среду столичной богемы. Его взгляды и навыки, полученные в том рабочем кругу, где он рос и воспитывался до тех пор, оказались недостаточно крепкими и очень скоро пошатнулись под напором честолюбивых планов и в сумятице веселой, «настоящей» жизни. Его сначала отравляет литературный наркотик: он собирается стать знаменитым поэтом после того, как первые выступления дали ему неожиданно легкий, но оказавшийся таким непрочным, успех. Потом кино. А затем, сбитый с дороги, он безнадежно запутывается — при активном содействии Свербеева: сперва неблагоприятные махинации с мануфактурой, дальше — темп романа убыстряется — налет и убийство.

Если Свербеев у Лидина — отрезанный ломоть, человек, окончательно чуждый и враждебный революции, то к Бессонову автор отнесся иначе. Даже в минуту самого глубокого падения не умолкает в нем (в Бессонове) голос, поющий про «милую страну»¹⁾, голос, напоминающий о связи с классом, с делом, в котором он сам еще недавно участвовал. И этот голос позволяет «отступнику» в последний момент — если и не выпрямиться, то сделать шаг к новой жизни. Он не следует за Свербеевым в его бегстве за границу, а возвращается, чтоб открыть свое преступление, «искупить» его, и после, быть может, долгих лет искупления иметь возможность и право примкнуть к тому делу, к той трудовой жизни, которая выковывается в его родной стране.

В критике раздавались голоса, упрекавшие Лидина в клевете на молодежь, будто бы допущенную им в романе «Отступник». Клевета заключается в том, что автор, по мнению обвинителей, отмечал только теньевые, безотрадные явления, что типы и нравы, изображенные им, не характерны, краски сгущены и т. д. Со многими из этих обвинений можно согласиться: да, краски сгущены, — искусство всегда их сгущает. Свербеевых — таких, какими их изобразил Лидин, — вероятно, единицы. Свербеевы в своей законченной, «идеальной» форме встречаются редко. Но свербеевщина в разных проявлениях не такое уж редкое явление. Такое дело, как дело Альтшуллера, свидетельствует о том, что богемные нравы и настроения далеко не изжиты

¹⁾ Стихи из «Мцыри», взятые Лидиным как эпиграф к «Отступнику».

в среде молодежи. Коллективное изнасилование комсомолки вряд ли многим лучше коллективного ограбления профессора. И если Свербеевы редки, то Бессоновых случалось встречать гораздо чаще. Конечно, Бессоновы, как и Альтшуллеры, не характерны для нашей молодежи в целом, но ведь Лидин этого и не утверждает. Он показывает определенную, количественно небольшую, опустившуюся часть молодежи. Что именно часть — видно из всего контекста романа, из всей развертывающейся ситуации. Бессонов изображен именно, как оторвавшийся от студенческого коллектива одинок. Правда, не дан пресловутый «положительный тип», который будто бы нужен каждый раз для того, чтобы нейтрализовать действие отрицательных явлений и характеров на читательскую психику. Но еще нужно доказать, что такой тип необходим при всяких обстоятельствах, и без его помощи читатель никак не сумеет разобраться в том, что ему показано художником.

Да, в романе Лидина есть недостатки, но они не там, где их хотят видеть люди, кричащие о клевете. Лидин слишком гладко, красиво, зализанно написал о том, о чем надо было рассказать со страстью, горечью, негодованием. Это не значит, что мы требуем от него публицистики и гражданской лирики. Но это значит, что каждый из нас вместо его тщательного округленных контуров предпочел бы видеть жесткие, угловатые линии взволнованного рисунка. Лидин вовсе не «переборщил». Наоборот, роман получился недостаточно острым и резким. И «положительный тип», требуемый школьной прописью, оказал бы здесь писателю плохую услугу, ослабив то, что и так подчеркнуто с недостаточной силой. И если нашему времени — культурной революции и борьбы со всяческой гнилью быта — чего-нибудь и нужно от литературы, так это — максимальной резкости при показе «отрицательных явлений». Нам явно не достает сатиры.

А Лидину не надо было даже вторгаться в область сатиры, чтобы достигнуть необходимой остроты: средства для этого он мог найти в том же арсенале психологически-бытового романа. К сожалению, самая стилистическая манера Лидина не позволяет добиться той энергической резкости, которая бы одна вполне соответствовала выбранной теме. Фраза его округла и мягка. Она мерно падает. Ей свойствен пряный привкус, приподнятый, но холодноватый пафос и несколько театральная торжественность. Ее отличает обилие общих и патетических эпитетов (прекрасный, необыкновенный, удивительный, дивный, безумный) и соответственных глаголов (пронзить, потрясти, возникнуть и т. д.).

«Море внизу меж теснин было, как дивный человеческий глаз, приветствовавший его, Бессонова, на этом нисхождении. И необыкновенная ясность, восторг от этого своего возвращения в мир потрясли и пронзили его. Заново теперь будет он жить, — может быть, через годы, плечо к дорогому плечу, взберутся они на прекрасные эти высоты, чтобы отсюда оглядеть зацветающий, неугасающий мир. Цену жизни, цену человеческой крови, цену труда, цену любви узнает он через страшное свое испытание. Ликуя, в печали и горечи, смотрел он отсюда на прекрасную землю, на море, омывавшее ее берега. Легкий горный ветер осушал и утишал безумный пламень его лица. А там, в заголубевшем дыхании, показался легкий белеющий парус, напоминающий о человеке, плывущем всеми путями, бредущем всеми дорогами, возникший в этом немеркнущем, голубом, примиряющем и принимающем преступника просторе».

Так кончается роман Лидина. Это слишком «красиво», чтоб быть действительно «потрясающим».

Другой недостаток «Отступника» — композиционный. Роман начинается широко, с многосторонним развертыванием быта, а во второй половине

суживается до уголовной истории. Описания, на которые Лидин большой мастер, бытовые «отступления» — не всегда тесно увязаны с общим планом вещи. История Тани Агуровой тоже как-будто «вставлена» в роман и без большого труда может быть оттуда «вынута». Но это все же не лишает произведение Лидина ни художественной, ни общественной ценности...

Что сатира сейчас нужна — сознают, впрочем, и писатели. Одну из попыток ее создания мы находим в романе Д. Четверикова «Любань». Герой его — «нечисть» — значительно помельче, чем у Лидина. Свербеев, при всей своей идейной голизне, все же исходит из каких-то общих обоснований. Он когда-то боролся на стороне революции, потом разочаровался, отошел. Он сам объясняет свою циническую философию и практику, как результат разочарования. Настоящее его не привлекает, а «лечь навозом для будущего» он не хочет. Свербеев, конечно, — не Раскольников, но легкая достоевичка в нем есть. Четвериковский же Аничков никогда и ни за что не боролся. Ему не в чем было разочаровываться. В нем нет и следа того «демонизма», который еще чувствуется в Свербееве, ослабляя социальную заостренность его образа и внося в него черты литературщины. Аничков — «делатель жизни» в самом вульгарном смысле, обыкновенный гад, который заползает во все щели советского механизма. Отличает его только замечательная ловкость, приспособляемость и живучесть, а как сверхштатная особенность — дворянское происхождение (правда захудалое), которое сказывается в каких-то самодурно-нелепых затеях, проводимых с величайшей энергией. Curriculum vitae Аничкова чрезвычайно пестро и богато, соответственно его выдающейся способности к перекрашиванию и мимикрии: тут и спасение родины от большевиков, и организация прославившегося своим зверством белогвардейского отряда в Сибири (Аничков—Анненков?), который, впрочем, предпочитал расправу с мирными жителями пребыванию на фронте, затем очередное переодевание — и советская работа в качестве клубного инструктора, а за этой работой — дальнейшие ступени служебной карьеры, пока все не кончается разоблачением и провалом. Но и тут Аничков ухитряется ускользнуть из рук правосудия и становится во главе бандитской шайки.

Аничков ни белый, ни красный. Ему глубоко безразличны всякие убеждения. Ему, как и Свербееву, хочется только одного: пожить всласть, форсисто, весело — и уж во всяком случае сытно. Главное, что помогает его продвижению вперед, созданию его благополучия, — это тонко развитой талант подражания, подделывания, приспособления. Амплитуда аничковских перевоплощений очень велика: от усердного чиновника до налетчика.

Характер героини романа, Тася, проще, но аналогичного сорта. Если Аничков — авантюрист и при том довольно крупно марки, то Тася много скромнее, но, пожалуй, типичнее. У нее нет «размаха», и она не выходит за рамки советской кацелярии, но в этих рамках она действует умело и вполне подстать Аничкову, с которым любовь и судьба ее и соединяют. Вместе они приспособляются, находят «нужный» тон (тут Тася даже превосходит своего предприимчивого супруга), обкрадывают то, что можно обокрасть (а можно многое), делятся накопленным опытом и награбленным добром. Некоторые приемы, при помощи которых Тася «завоевывает положение», довольно любопытны и типичны: «Карьеру Тася начала на посту заведывающей театральной секцией. На этом посту она проявила себя тем, что в первую же неделю разогнала всю труппу профессионалов, объявив, что только любительскими силами можно передать на сцене пафос революции. В доказательство она приводила случай, когда актер Недрыгин, великолепно читающий монолог Чацкого, сбился два раза, читая стихи Самобытника.

— Словом, профессионалы — размагниченные интеллигенты, — заключила Тася.

Заведующая женотделом, бывшая портниха Френкель, вздохнула:

— Какая жалость, что вы не пролетарского происхождения!..

Ответственным работникам нравилось, что она не лебезила и не со- глашалась с ними, как все. Она их ругала «размагниченными интеллигент- тами», и председатель Чека добродушно слушал, как она посрамляла боль- шевиков за то, что они развели канцелярскую волокиту и перед мужиком трусили».

«Любань» — доказательство роста Четверикова, как писателя, его ра- боты над собой. Манера его совершенно изменилась. Он отошел от вялого бытовизма прежних своих вещей, — и в этом живом, остроумном, веселом романе с трудом можно узнать тяжеловатые и грузные черты «Атавы». Нельзя, правда, сказать, чтобы сатира Четверикова была очень глубока. Образы Аничкова и Таси, при всей своей бытовой несомненности, не отли- чаются особой новизной. Вообще, роман Четверикова больше забавен и боек, чем зол. Но он современен в хорошем смысле и указывает на то, что автор нашел верный — для себя — и правильный — в общественно-лите- ратурном отношении — путь. А от излишней бойкости освободиться будет нетрудно.

Нашей литературе часто бросают упрек, что показ «живого человека» современности сводится в ней к показу человека неполноценного или вовсе негодного. Насильничавший комсомолец, проворовавшийся бухгалтер, опу- стившийся на дно военком, безвольный неврастеник или самовлюбленный «личник» — вот кто, главным образом, является ее героем. «К чему столько преступников?» спрашивают упрекающие. «Просмотрите одни только загла- вия романов, вышедших за последнее время: «Растратчики», «Вор», «Отступ- ник», «Преступление Мартына», «Преступление Кирика Руденко». А где же действительный герой нашей эпохи — не вор, подхалим и растратчик — а строитель?».

Упрек, вообще говоря, вполне осмысленный. Наш бытовой и социально- психический роман чаще отмечает отрицательные явления, чем положи- тельные. Правда, дело обстоит не совсем так мрачно, как кое-кто утвер- ждает. Растратчик и оболъститель не так уж безраздельно царят в лите- ратуре, а преступление Мартына, например, является преступлением в ка- вычках и в очень условном смысле. Но, собственно говоря, нисколько не удивительно, что литература больше склонна к показу отрицательных явле- ний. Это — старая традиция; отрицательное всегда резче выступает, его легче уловить и зафиксировать. И здесь бы не было ничего плохого, на- оборот, литература бы выполнила очень важную общественную функцию, если б она подходила к этому отрицательному много резче и суровее. Она страдает не от чрезмерности, а от недостаточности красок, остроты, резкости.

Дать положительный тип гораздо труднее, — это избитая истина. А раз труднее, то и не всякий возьмется. Но неверно, будто никто не взялся. На- оборот, именно за последнее время вышло несколько книг, авторы которых стараются как раз нарисовать образ активного героя наших дней: «На- талья Тарпова» С. Семенова, «Разгром» Фаддеева, «Зависть» Ю. Олеси, «У фонаря» Г. Никифорова, «По ту сторону» Вик. Кина. На двух послед- них мы остановимся.

Г. Никифорова до последнего времени можно было охарактеризовать, как писателя одной темы. Тема эта — неразрывная связь рабочего со своим классом, с коллективом и с производством. Она варьировалась в различных его вещах, — и, выходя за пределы своей основной темы, за пределы рабочего быта, Никифоров блекнул, как художник, терял свои краски. Представители иных социальных слоев ему не удавались. В особенности это относилось к интеллигентам. И когда я начал новый и об'емистый его роман, где с первых

же страниц ставилась проблема перерождения интеллигенции, во мне (как, вероятно, и во многих привычных читателях Никифорова) шевельнулось недоверие: да полно, сумеет ли автор «Или-или» справиться с этой, такой ответственной и так для него неудачно выбранной, темой?

§! не скажу, чтоб автор справился полностью. В истории внутреннего превращения дворянина Вячеслава Аносова в коммуниста Дениса Рамзаева есть много белых мест, которые заполнять приходится читателю. Не все здесь раскрыто до конца, не все показано. Оттого у иного читателя и остается впечатление, что роман схематичен, «программен», нарочно подогнан к известным тезисам. На деле фальши нет — есть недосказанность. И все-таки, несмотря на это, несомненно, что автор выполнил свой замысел гораздо лучше, чем можно было ожидать.

Хорошо уже одно то, что Никифоров подошел к своему герою-интеллигенту без той художественной предвзятости, которая ему так вредила в аналогичных случаях прежде, позволяя создавать лишь пустые и трафаретные схемы вместо живых людей. Автор ни обидеализировал, ни перечеркнул Рамзаева. Придав ему сильную волю и цельный характер, он внесением ряда «человеческих», эмоциональных черточек (раскрывающихся в отношениях к Анне Голандиной и в письмах к сестре) сумел избежать иконописной сухости в его образе и заставил поверить в его подлинность. Кстати, другой положительный представитель интеллигенции, инженер Колесников, так и остался в романе схемой — и именно потому, что к нему Никифоров применил лишь метод внешнего (и при том достаточно скудного) показа. Нарочитость чувствуется и в том, как автор вынуждает этого инженера во всю проводить идеологию «технической интеллигенции»: «Я по части книжной премудрости слаб — никакой философской системы не изучал. Я вот здесь, в машине. Меня совсем не интересует, что там говорили Заратустра, Будда, Магомет, Христос... Вы о классовой борьбе, но ведь перед нами Европа ежом стоит, ее нужно побить техникой, лучшей машиной. Я за хорошую машину, которая разобьет сопротивление». Раз инженер — так непременно идеология машины. Вот здесь чувствуется дурная преднамеренность.

Рамзаев естественнее — и потому с ним легче. Он естественнее и Цепилова, который, пожалуй, не далеко ушел от пресловутых «кожаных курток». Но замысел Никифорова не ограничивается изображением эволюции интеллигента от отрицания, от ненависти к большевистской революции к сознательному участию в советском строительстве. Историю перерождения Рамзаева автор вставляет в широко-развернутую бытовую оправу. Под светом «фонаря», озаряющего длинный и трудный путь к социализму, проходят фигуры рабочих, «спецов», веселых женщин, растратчиков (имеются здесь и они!), — и в этом свете определяется их внутренняя сущность и общественная ценность. Отрицательные герои Никифорова не очень оригинальны: это советские Молчалины, карьеристы и подхалимы (в роде Инякина), это маленькие и злобствующие люди, держащие на всякий случай камень за пазухой, нечистые на руку, вливающие свой яд всюду, где только могут, остаток рабского прошлого (Чесосов, создатель доморощенной «философии» истории), разложившиеся партийцы (как Чувякин), инженеры и подрядчики, обделяющие темные делишки, помогающие им «шикарные» и обольстительные женщины (Елена Владимировна). Кроме разве Чесосова, все эти образы мало что прибавляют к тому, что создала в этом роде современная литература, а некоторые представляют прямой шаблон (напр., Елена Владимировна). Гораздо удачнее (как и всегда у Никифорова) зарисовки рабочих, и неожиданно ярко дана деревня (страницы о Веве — лучшие в романе).

Мы видим, таким образом, что роман Никифорова обнаруживает большую бытовую и художественную пестроту. Это — не сплав, а скорее агрегат элементов различного характера и достоинства. Стержневая часть — история Дениса Рамзаева — обросла бытовыми наслоениями, внутренне

мало связанными с нею (так, эпизод с Вевеей может быть легко изъят из романа, не нарушив его архитектоники и составив самостоятельное целое). Широкое бытовое окружение нужно было Никифорову, очевидно, для того, чтобы создать правильную перспективу, «уравновесить» значение Рамзаева, нужно для того, чтобы эволюционирующий к коммунизму интеллигент не оказался главным героем эпохи. Рамзаеву противопоставлен Цепилов, Голандин, противопоставлен строитель-пролетарий.

Но художественная целостность романа этими наслоениями нарушена. Бытовой пестроте «У фонаря» соответствует его стилистическая пестрота. От интимного стиля писем он переходит к резким мазкам сказа, от лирики, несколько вычурной и манерной («Благодарю за этот кружевной город из детских сказок, за любовь мою, за мою жизнь»), к бытовому натурализму. Разнородностью составных элементов, так и не слитых автором воедино, объясняется отчасти, вероятно, и пухлость романа. Никифоров хотел сказать слишком много и о слишком многом. Отдельные части отлились удачно (хотя и не все), но все в целом скреплено недостаточно прочно.

«У фонаря» Никифорова взято в разрезе бытовом. Молодой писатель, Виктор Кин, выступающий со своей первой книгой, довел бытовую основу своего романа («По ту сторону») до минимума. Два молодых парня, Матвеев и Безайс, едут на Дальний Восток, где еще не кончилась гражданская война. Быт заменен вагоном, где находятся они только вдвоем, теплушкой, снеговыми полями, по которым они блуждают, разыскивая путь, он сведен к маленькой комнатке в квартире отставного моряка, где лежит раненый Матвеев. Отказ от бытового натурализма (или, по крайней мере, сильное ограничение его) давал возможность сосредоточить художественное внимание на психологии действующих лиц. Так, режиссер, освобождая сцену от декоративного излишества и обстановочных деталей, выдвигает вперед актера и его игру. Но бытовая скудность таит в себе и опасность схематизма, абстрактности и, как следствие, — скуки, В. Кин этого избежал. Во-первых, тем, что, взамен бытового характера, придал своему роману характер полу-приключенческий. Во-вторых, самой своей манерой — слегка насмешливой, добродушно-иронической, бодрой, — той манерой, которую мы так часто встречаем у англичан и которая вносит живость, энергию, жизненную теплоту даже в наиболее схематические положения.

Этот «англизированный» стиль автора, пропитанный юмором и незлой насмешкой, сослужил ему хорошую службу и в другом отношении. Герои его — и Безайс, и Матвеев — относятся к числу тех положительных типов, недостатки которых сведены к невинным чудачествам и прочим мелочам, и которых рисовать очень трудно. Вдобавок, они молоды, вырваны из привычной обстановки и, значит, лишены бытовой характерности и определенности сложившегося человека. Юмор Кина помог ему избежать героического штампа и внести в образы своих героев ту милую простоту и непринужденность, которая делает их близкими, подлинными, реально-существующими. Кин сумел также очень искусно воспользоваться для лепки образа мелкими черточками, показывая, как через каждую мелкую такую черту сквозит важное, основное.

Безайс и Матвеев — люди сходного, почти одинакового склада. Матвеев — взрослее и крупнее. Безайс не имеет своей «истории». Узел конфликта затянут в романе на судьбе Матвеева. Он по натуре человек активный, борец. И с ним происходит то, что всего невыносимее для человека активного характера: он должен отказаться от дела, которому до сих пор отдавал всю страсть и энергию, — от действительного участия в революции. Его ранят в ногу. Ногу приходится ампутировать. Калека Матвеев уже непригоден для подпольной работы. Он мужественно переносит то, что от него, инвалида, отворачивается любимая девушка. Это — сильный удар, но не такой, который может пригнуть к земле. Но перенести бездейственность, быть

грузом, балластом, неполноценным человеком, быть зрителем, когда кругом развертывается последняя и захватывающая борьба, — он не в состоянии. И после того, как подпольный комитет отклоняет всякое его участие в работе, ночью он выходит расклеивать прокламации в занятом белогвардейцами городе. Его схватывают, но он дорого продает свою жизнь.

— «Здоровый... дьявол, — донеслось до него. — Помучились с ним...

Это наполнило его безумной гордостью. Оно немного опоздало, его признание, но все-таки пришло, наконец. Теперь он получил все, что ему причиталось. Снова он стоял в строю и смотрел на людей, как равный, и шел вместе со всеми, напролом, через жизнь и смерть. Клонясь к земле, на снег, под невыносимой тяжестью роняя силы, он улыбнулся разбитыми губами».

Этого нельзя читать равнодушно, как нельзя читать равнодушно и весь — короткий, но насыщенный — роман Вик. Кина. Поступок Матвеева не есть результат желания совершить подвиг, поражающий воображение, не есть красивое выступление гордого одиночки. В этом поступке выразилась потребность в действии, стыд оставаться пассивным, когда товарищи по борьбе заняты важнейшим делом, стремление стать в общие ряды, выполнить свой долг революционера. Можно возразить против странного решения комитета, обрекшего Матвеева на полное бездействие: оно не оправдано, оно вынуждено не столько логикой борьбы, сколько логикой развития сюжета. Но нельзя не видеть в последнем поступке Матвеева естественного следствия его натуры бойца, необходимого звена его судьбы и жизни.

Матвеев и Безайс, быть может, не являются настоящими синтетическими типами, достаточно углубленными и развернутыми. Это — скорее общие контуры типов, которые в дальнейшем, тому же Кину или другим художникам, придется дорисовывать. Но и сейчас это — один из удачей черновых набросков образа героя эпохи, которого наша литература начала искать.

Да, она ищет его, хотя подходит к его изображению с осторожностью и опаской, хотя большую часть своего внимания и уделяет тeneвым людям и тeneвому быту. «Зависть» Олеси, «Разгром» Фаддеева, роман Кина говорят нам о том, что дорога ее все-таки идет — от Аничковых к Матвеевым.



Советское кино на новых путях

К. МАЛЬЦЕВ

О кино заговорили сразу все и одновременно, заговорили громко и решительно. Не только в Москве, Ленинграде и других крупных городах, где дискуссия о кино спускалась до рабочих клубов и даже отдельных предприятий, но и в глубокой провинции.

В том, что вдруг о кино все стали говорить с такой страстностью, на наш взгляд нет ничего удивительного. Напротив, скорее можно удивляться тому, как до сих пор мы проходили мимо такого величайшего фактора нашей действительности, каким является кино, ограничиваясь легкими разговорами и газетными заметками по поводу новых картин или по поводу тех или иных второстепенных недостатков работ кино-организаций.

О советском кино есть что сказать. Подумайте только, за последний год через все кино-театры СССР прошло более 300 миллионов зрителей, каждая картина в среднем просматривалась 2.000.000 зрителей. Какая книга или газета у нас может, в смысле распространения, померяться с кино? Если ко всему этому прибавить специфические качества кино: умение облекать идеи в увлекательную, художественную форму, убедительность кино и его силу воздействия на зрителя, его сравнительную дешевизну и портативность, — то станет еще более понятным, с каким могучим орудием культурной революции мы имеем здесь дело.

Нет поэтому ничего удивительного, что вокруг кино и за кино у нас ведется ожесточенная классовая борьба. Этого не видят только политические младенцы. Теснимая со всех сторон буржуазная идеология старается сохранить свои позиции в таких областях, где еще недостаточно чувствуется тяжелая рука пролетарской диктатуры. Наиболее прочно окопались буржуазные и мелко-буржуазные группировки в области искусства. Об этом достаточно подробно говорилось на партийном совещании по вопросам художественной литературы, о театре и, наконец, на последнем партийном совещании по вопросам кино. По поводу кино, этого «самого важного из искусств», было сказано еще на XIII съезде партии, что оно «должно явиться в руках партии могучим средством коммунистического просвещения и агитации».

С того времени, когда партия впервые заговорила о кино, прошло около четырех лет. За это время советское кино значительно выросло и окрепло. Об этом можно судить по таким цифрам: на 1 августа 1924 года по РСФСР имелось 749 кино-установок, а на 1 апреля 1927 года их было уже 4.739. Имеется соответствующее увеличение оборотов по прокату (в 1923/1924 г. — 5.200 тысяч рублей, в 1926/1927 г. — 15 миллионов рублей), в 1923/1924 году всеми кино-предприятиями СССР была выпущена 41 картина, а в 1926/1927 го-

ду их было выпущено уже 98. На ряду с этим, быстро возрос и удельный вес картин советского производства в общем количестве картин, демонстрируемых на советском экране. В 1926/27 г. советские картины составляли уже 49 процентов общего количества картин, находящихся в обороте. За последнее время построено 13 кинофабрик. Появились национальные производства в Тифлисе, Ташкенте, в Баку. В зачаточном состоянии имеются производства в Белоруссии и в Вотской области. Соответственно с этим, значительно улучшилось и техническое качество картин. По целому ряду картин наша кино-техника не уступает заграничной. Между тем, в советской кинематографии работают преимущественно новички и молодежь.

Все эти общие положения не вызвали разногласий. Споры начинались там, где заходила речь об оценке идейного содержания кино-продукции, где давалась характеристика прокатной политике и намечались перспективы развития советского кино.

Совкиновцы, а вместе с ними и руководители других кино-организаций СССР, утверждали, что в советском кино все обстоит благополучно, что советское кино является надежным орудием в руках партии и советского государства, что оно во-время подхватывает политические лозунги партии и служит рычагом культурного подъема масс.

Зам. председателя Совкино т. Ефремов в своей статье «Как и кого обслуживает советская кинематография» говорит буквально следующее: «Советское кино директивы, данные XIII партийным съездом — сделать кино могущественнейшим средством пропаганды и агитации, — с успехом выполняет».

Совкиновцы милостиво допускали, что в их деятельности, может быть, были только некоторые ошибки.

Иные утверждали критики работы Совкино. Они доказывали, что советское кино, несмотря на целый ряд несомненных достижений как художественного, так и технического характера, в своих идеологических устремлениях в значительной мере направ-

влено было на обслуживание не широких масс трудящихся, а преимущественно мещанских и служилых элементов города. Вот что пишет, например, тов. Мещеряков:

«Совкино взяло курс на обывателя. Заинтересованное, главным образом (если не исключительно), в доходах от сети так называемых коммерческих кино-театров, куда почти совсем не ходит рабочий и куда, «как вобла, прет» обыватель (нэпман и его семья, служащие), Совкино ради кассовых интересов своего дела пошло навстречу, стало приспособляться к вкусам и запросам этого обывателя. Отсюда — вытравление всего, что носит характер идеологии в советском смысле. Отсюда — курс на политический нейтраллизм в создаваемых картинах. Отсюда — пренебрежительное (на практике, по результатам) отношение к пропаганде через кино основных политических лозунгов партии и советской власти. Отсюда — большое количество картин со смакованием двухспальной кровати, так называемого «разложения буржуазии», показы «скользких моментов», вызывающих щекотанье нервов в определенном направлении; «ужасные» приключения, обнаженные женщины и т. д.»¹⁾.

Другой критик, т. Бляхин, еще более красочно описывает эти тенденции Совкино в своей статье «Основные вопросы»:

«Основным зрителем коммерческих театров, особенно в Москве, является городское мещанство, служащие и вообще мелкая буржуазия всех мастей и оттенков. Культурные запросы и художественные вкусы указанной аудитории достаточно известны, — больше всего ей нравятся заграничные фильмы с «клубничкой», глупышкинские комедии и пышные картины, рисующие быт аристократии, царских и королевских дворов, миллионеров и т. п. Именно эта аудитория, принося большую деньгу, сильнее всего давила на кино-организации СССР, заставляя их плыть по течению, по старым проторенным буржуазной кинематогра-

¹⁾ Сборник статей «Сов. кино перед лицом общественности».

фией дорожкам не только в области формы, но и идеологии.

Для примера возьмемте четыре крупнейших кино-организаций, которые вместе выпускают 80 процентов художественной продукции всего СССР (Совкино, ВУФКУ, Госкинопром Грузии и Межрабпом-Русь).

О продукции Совкино, о так называемом «коммерческом уклоне» ответственных руководителей этой организации за истекший год писалось и говорилось более, чем достаточно. Именно они, быть может, неожиданно для самих себя, оказались идеологами мешанской аудитории, отбивая лавры у руководителей коммерческой организации—«Межрабпом-Русь». Почти невзначай, путем отдельных изречений и высказываний, они создали своеобразную и при том чрезвычайно портативную теорию и философию кино-искусства, формулирующую взгляды и вкусы многомиллионной обывательщины.

— Побольше романчиков,—частенько говаривал председатель Совкино, давая директиву по сценарной работе.

— Любовь—вечная тема, —дополнял его заместитель. Очевидно, желая разъяснить сущность вопроса, он же развивал эту мысль дальше.—Кино не терпит грандиозных сюжетов и массовых действий. Сюжет должен быть маленький, а женщины непременно красивые.

Над этой замечательной философией ставит точку восторженное восклицание тов. Ефремова по поводу небывалого успеха картины Гардина—«Поэт и царь»:

— Фонтаны, фонтаны! Давайте фонтаны...

Что означает слово «любовь» и «романчики», всякий понимает, а «фонтаны» в переводе на прозаический язык есть не что иное, как курс на оперную красоту исторических фильм, на шини и помпезность дворцовой жизни, на показ царей с царицами, на «мировых» красавиц и Онегиных, на волшебное воплощение обывательских мечтаний и тайных надежд.

Если ко всему вышесказанному прибавить откровенное заявление т. Шведчикова о том, что, «согласно устава, использование кинематографии на об-

служивание культурно-просветительных потребностей трудящихся есть лишь конечная цель, а не задача текущего дня»,—то картина получится совершенно законченной¹⁾.

Голоса критиков далеко не одиноки. Культотдел ВЦСПС провел специальную работу по выявлению отношения и требований рабочего зрителя к советскому кино. В материалах этого обследования, опубликованных в печати, мы читаем:

«Рабочие хорошо принимают такие фильмы, как «Броненосец Потемкин», «Мать», и в этом же роде картины историко-революционные и бытовые, как «Стачка», «Аня» и т. п. Такие картины, как «Мапинист Ухтомский», сделанные на историческом материале героического участия железнодорожников в восстании 1905 года, с захватывающим интересом воспринимаются всеми рабочими, а особенно железнодорожным пролетариатом, между тем, эта картина далеко не совершенна по своим техническим и художественным качествам. Даже давно сделанные, технически отсталые, но близкие по содержанию картины—«Комбриг Иванов», «В тылу у белых» и т. п., рабочими, которые их до сих пор не видели, принимаются с интересом. Интересуются рабочие и научного содержания фильмами, которые редко попадают в рабочие клубы.

«Вызывают протесты рабочих кинозрителей так называемые салонные картины и адюльтерные фильмы заграничного производства, в роде картин «Юбки Джона», «Только мечты» и т. п., которые демонстрировались в этом году в рабочих клубах. Встречают отрицательное отношение и такие картины советского производства, как «Солистка его величества», «Княжна Мэри» и т. п. «Все амурсы да пошлятина»,—говорят рабочие. При опросе строителей в разных местах, «нравятся ли им кино»?—они выражали недовольство тем, что показывают картины «все про любовь».

«На показе фильма «Юбки Джона» торфяникам в Собинке (кино-сеанс был организован в клубе текстильщиков

¹⁾ Сборник статей «Сов. кино перед лицом общественности».

фабрики «Ком. Авангард»; смотрели 50) торфяников и торфяниц), где присутствовал инструктор ВЦСПС, выяснилось, что присутствовавшие—большой частью малограмотные сезонники—не понимали, что им показывают. Отрицательное отношение со стороны рабочих вызывает большинство трюковых картин: с «Гарри Пилем» и т. п. Хотя такими картинами увлекаются подростки, но преобладающее мнение в рабочей массе таково, что такие картины вредны. «Буза, чепуха, Дурашкины»,—такими эпитетами награждают рабочие героев трюковых картин. Вот характерный отзыв старого рабочего, выступившего на диспуте в клубе текстильщиков в Орехово-Зуеве со своим мнением о картинах с «Гарри Пилем»: «У меня шесть человек детей. Все они убегают сюда смотреть Гарри Пиля—кто такой, я не знаю. Пошел и я... Скажу одно—все это ерунда. По-моему, это драка, сучение кулаков. Таких картин нам не надо. Картина должна учить чему-либо полезному».

То же самое, примерно, говорили иваново-вознесенские рабочие, созванные губкомом партии на совещание по вопросам кино:

«Пока что на экране господствует идеологически малоценная, а зачастую и вредная, рассчитанная на вкусы и идеологию обывательски-мещанских слоев населения, фильма».

То же самое говорили о кино и московские рабочие, собранные на совещание «Рабочей Газеты». Они резко обрушились на Совкино за то, что оно угощает рабочие клубы дрянными картинами, что оно тратит колоссальные деньги на заснятые никому ненужных картин. Особенно восстали рабочие против чрезмерной насыщенности всех картин советского производства «красивыми женщинами».

В последнее время на нашем экране все время фигурируют женщины: «Победа женщины», «Девушка с коробкой», «Княжна Мэри», «Бэла», «Преступление и наказание княжны Ширванской» и т. д.

Если хотя бы наскоро просмотреть перечень картин, выпущенных за последние два года, то легко убедиться

в том, что высказывавшиеся рабочие правы, так как, за очень небольшим исключением, продукция советской кинематографии—это, действительно, какой-то букет из красивых женщин, их любовников и разлагающихся буржуа. Даже рабочий быт, освещаемый некоторыми советскими картинами, подан под сочным мещанским соусом.

Какую позицию в этом споре заняло недавно закончившееся партийное совещание по вопросам кино? Оно сказало, что идейным содержанием советского кино должна быть идеология пролетариата. Общественно-политические задачи советского кино должны сводиться к пропаганде через показ новых социалистических элементов в хозяйстве, в общественных отношениях в быту, в борьбе против пережитков старого, к просвещению масс, к воспитанию и организации их вокруг культурных, экономических и политических задач пролетариата и его партии.

Исключительно велики и ответственные задачи кино в деревне. Здесь кино должно стать сильнейшим средством подъема культурного уровня крестьянства. Оно должно знакомить крестьянина с жизнью города, приближать его к рабочим, должно содействовать усилению политического и культурного влияния пролетариата на крестьянство, а также должно содействовать вовлечению крестьянства в общую работу по социалистической перестройке общества.

Партийное совещание признало, что критика, направленная против Совкино, в значительной мере была права. Партийное совещание также признало, что советское кино далеко не в достаточной мере осуществляет общественно-политические задачи, поставленные перед ним партией. Кино недостаточно выполняет роль пропагандиста и агитатора коммунистических идей, оно недостаточно организует массы вокруг задач партии и в значительной своей части обнаруживает на себе давление мелко-буржуазных обывательских вкусов и настроений. Правда, партийное кино-совещание, наряду с этим, указало также на целый ряд объективных обстоятельств, которые мешали совет-

скому кино избежать указанных недостатков. К этим объективным причинам партсовещание относит незначительный опыт, который имело за своей спиной советское кино (пять лет развития), недостаток квалифицированных работников, зависимость от зарубежного рынка, тяжёлое финансовое положение кинематографии, слабую связь кино-организаций с советской общественностью, недостаточное внимание партии к вопросам кино и проч.

Основным содержанием картин на будущее время по общему мнению совещания должны быть преимущественно темы, связанные с социалистическим строительством, связанные с работой партии и советского государства по разрешению тех политических и хозяйственных задач, которые в данный момент стоят перед страной и которые требуют мобилизации всех средств и сил. Это, конечно, совсем не значит, что нужно создавать грубую фильму-агитку. Это совсем не значит, что нужно делать только производственные фильмы. Агитация за социалистическое строительство, за перестройку всего общества на новых началах может и должна вестись в различных формах, в том числе и в форме художественного показа нового быта, борьбы нового со старым во всех плоскостях жизни.

Попутно с этим во всей остроте встал вопрос о хроникальной и научной фильме, которые должны стать одним из наиболее острых орудий политической агитации и культурного воспитания масс. Как выяснилось на совещании, с производством культурной и хроникальной фильм и с прокатом их дело обстоит до чрезвычайности плохо. В дальнейшем потребуются, по видимому, большие усилия партии и других общественных организаций, чтобы производство и прокат этих фильм поставить на более здоровые, широкие начала. Нужно заставить не только кино-организации производить хроникальные и культурные фильмы в значительно большем количестве, чем делается сейчас, но и обязать рабочие клубы и кино-театры брать эти фильмы и, объединяя их с фильмами художественными, показывать зрителям.

Крупным недостатком в работе наших кино-организаций нужно признать недостаточное обслуживание кинозапросов различных национальностей СССР. Одной из задач в области кинематографии партийное совещание также считало расширение производства картин для различных национальностей, с использованием материала истории освободительной борьбы этих национальностей, социалистического строительства в нац. республиках, а также укрепление тех немногих национальных кино-организаций, которые в настоящее время существуют.

Особо остро чувствуется недостаток картин для деревни. На этом участке критики развернули весьма бурное и небезуспешное наступление на Совкино. Решение партии, состоявшееся года два тому назад, о производстве картин с сельскохозяйственным уклоном, с содержанием, доступным и увлекательным для крестьян, нашими кино-организациями выполнено не было. Не был также создан фонд картин для деревенского проката. В деревню до сих пор посылаются картины, уже полностью использованные в городе. Деревня попрежнему питается негодными технически и неподходящими по содержанию фильмами. Нелепость такого положения очевидна для всех. Поскольку для советских кино-организаций деревня является широчайшим и неисчерпаемым рынком, они должны немедленно же так построить свои производственные планы и программы предполагаемых к выпуску картин, чтобы деревня снова не оказалась вне поля их зрения. Положительная сторона дискуссии о кино заключается в том, что она впервые заставила подумать над отдельными проблемами кино, подумать над их практическим разрешением. На ряду с этим критика, несмотря на случаи перегиба (что неизбежно во всяком споре), совершенно правильно нащупала слабые места в работе наших кинематографических организаций и правильно указала пути, по которым должно в дальнейшем развиваться советское кино.

Руководители кинематографических организаций пугали советскую обще-

ственность тем, что погоня за «чистой» идеологией неизбежно приведет советское кино к хозяйственному краху. Они противопоставляли идеологию коммерции. Критика, с цифрами в руках, доказала всю вздорность этого утверждения совкиновцев. Как показал опыт последних лет, целый ряд фильмов советского производства, идеологически приемлемых, дал блестящие кассовые результаты. Вообще противопоставление коммерции идеологии в этом случае лишено всякого основания.

Большие разногласия между Совкино и критикой были по вопросу об отношении к заграничным фильмам. Совкино, получающее от проката заграничных картин значительную прибыль, превышающую иногда в десятки раз прибыль, даваемую советскими картинами, очень неохотно шло на сокращение импорта фильмов. Критика указывала на вредность такой политики Совкино и требовала решительного курса на сокращение ввоза заграничных картин и на расширение советского производства. Выставляя такое требование, никто, конечно, не предполагал, что возможно в настоящий момент совсем отказаться от ввоза картин заграничного производства. Однако это совсем не значит, что из-за границы следует ввозить все, что там предлагают и на чем можно здесь «заработать». Любая заграничная фильма в большей или меньшей степени пропитана враждебной нам классовой идеологией. За границей можно все же покупать не только художественные фильмы и боевики американского типа, а и картины культурного характера. Таких картин за границей много, и они технически много совершеннее наших.

Партийное совещание и в этом вопросе стало решительно на сторону критики. Оно предложило кино-организациям максимально развивать свое производство, сводя до минимума покупку и прокат заграничных фильмов, при чем покупка и отборка фильмов за границей должны производиться более тщательно, чем это делалось до сих пор, с повышением политических и художественных требований к ним.

Большой спор шел вокруг вопроса о том, кого и как обслуживает советское кино. По РСФСР Совкино имеет 1.491 коммерческих кино-театров, 1.788 клубных установок, 232 сельских стационарки, 1.328 кино-передвижек, из них 1.186—в деревне. По данным, сообщенным в печати Совкино, видно, что из 249.345.000 посещений в год кино, на коммерческие кино-установки падает 187.973.000 посещений, и только остальное — на клубные и деревенские. Если допустить, что коммерческие кино-театры на 25—30 процентов посещаются рабочими, то и тогда мы получим результаты, говорящие далеко не в пользу Совкино. Известно — коммерческие кино-установки обычно в центрах городов. Посетителями этих кино является преимущественно городское мещанство. Вот оно-то и дает 50 процентов всех посещений кино-театров в год. И только 50 процентов падает на громадную массу рабочих и крестьян.

Основой всех прибылей Совкино являются коммерческие театры, дающие до 80 процентов всех прибылей. Это фактически определяет и всю деятельность Совкино. Равняясь по вкусам посетителей коммерческих кино, Совкино соответствующим образом организует и идейное содержание предполагаемых к выпуску картин.

А вот как обслуживается остальная масса зрителя — рабочие и крестьяне? Это лучше всего характеризует культотдел ВЦСПС:

«1. Лучшие фильмы, которые выпускаются на рынок, поступают в клубы с большим запозданием или совсем туда не попадают. К примеру, такие картины, как «Бронепоезд Потемкин», «Мать» и другие, восторженно встречаемые рабочими, поступили в клубы в Ульяновске, Самаре и др. местах через 7 месяцев, через год после появления их в Москве на коммерческих экранах.

2. Худшие по качеству фильмы, которые не берут порядочные коммерческие экраны, посылаются в рабочие клубы. Такие неудовлетворительные фильмы, как «Железом и кровью», «Вчера и сегодня», почти совершенно

не показанные на коммерческих экранах, или такие, как «Крестовик»—неудачная по оформлению и идеологически неприемлемая фильма, и такие, как «Ваша знакомая», «Жизнь, как она есть», «Знак Зеро на селе», «Паук и мухи» и т. п. мало удачные фильмы, показанные на второстепенных коммерческих экранах, являются обязательным ассортиментом для рабочих клубов.

3. Фильмы поступают в клубы большей частью отработанными на коммерческих экранах: низкой технической годности, порванные, истертые, с вырезками, со сбитой эмульсией и т. п., что всякую фильму, какие бы у нее ни были достоинства, делает непригодной.

Еще хуже обстоит дело с обслуживанием деревни. Картины в деревню приходят обычно с громадным запозданием и с 20—30 проц. технической годности. У таких картин обычно не хватает целых кусков, отчего картина в целом теряет всякий смысл. От большого количества склеек картина ежеминутно рвется. Нечего, поэтому, удивляться, когда крестьяне ругательски-ругают за такое кино-удовольствие не только механика и людей, пославших его в деревню с дрянной картиной, но и власть, которая допускает такое безобразие.

Совкино совершенно сознательно ведет такую политику по отношению к клубам и деревенским кино. Прокат картин по этой сети дает Совкино очень небольшие доходы. Совкино полагает, что не может больших результатов дать и дальнейшее развертывание клубного и деревенского проката. По мнению Совкино здоровый и рентабельный прокат может дать только расширение сети коммерческих театров. В данном случае Совкино снова за деревьями не видит леса. Коммерческая политика Совкино напоминает близорукую «коммерцию» маленького Тит Титыча, который живет исключительно интересами сегодняшнего дня и не хочет или не умеет заглянуть в будущее.

Кино—не только искусство, но и индустрия. Оно складывается из двух элементов: 1) художественно-идеологиче-

ского характера и 2) материального характера. В наших условиях эти два элемента должны быть в полной мере согласованы и направлены на разрешение одних и тех же задач. Если кино, как средство коммунистического просвещения, должно помогать партии и государству осуществлять культурную революцию, то кино, как индустрия, имеющая широчайшие перспективы, должно послужить новым и богатым источником доходов для государства.

Для того, чтобы поднять кино, как индустрию, необходимо немедленно поставить вопрос о капитальном строительстве в области кинематографии. Молодая советская кинематография еще в значительной степени зависит от Запада. У нас до сих пор не производится самый нужный для кино материал—пленка. Не налажено также производство необходимой аппаратуры. Удешевление продукции кинематографии требует также перехода от кинофабрик, имеющих полукустарный вид, к фабрикам-гигантам, на которых можно было бы наладить производство картин в более массовом масштабе, что в свою очередь повело бы к их удешевлению.

Однако капитальное строительство требует громадных средств. Совершенно очевидно, что кинематографические организации должны вначале полностью использовать те источники доходов, которые дает им само кино. Прежде всего необходимо добиться такого положения как в центре, так и в особенности на местах, чтобы все доходы от кинематографии шли на кинематографию. Нужно бороться с таким положением, когда кино-театры находятся в руках самых разнообразных учреждений, вплоть до городских боен, которые расходуют деньги, полученные от кино, на все, на что угодно, но только не на разрешение задач, связанных с развитием советской кинематографии.

Перестройка хозяйственной базы кино на основе обслуживания рабочих и крестьян требует решительных мер к расширению кино-театральной сети как в городе (в рабочих районах), так и в особенности в деревне. Ясное дело, что силами кино-организаций эту большую

задачу разрешить в полной мере невозможно. Должны быть привлечены силы и средства местных организаций (губисполкомов, кооперативных и профсоюзных организаций и др.), не устранена также возможность привлечения в кино и частного капитала.

Одним из главных условий, обеспечивающих производство крепкой идеологически и художественно-ценной ленты, является активное участие в работах советского кино широкой советской общественности. До сих пор производственные кино-организации сторонились этой общественности и никогда свою работу не выносили на обсуждение широкой аудитории, не проверяли свою работу на массах.

В данное время в нашем кино всеми делами как идеологического, так и художественного характера заправляет небольшая кучка людей, и в политическом и в художественном отношении не представляющих какой-нибудь ценности. Как наиболее предприимчивые, они первыми сумели войти в это дело, отгородились от всей остальной общественности китайской стеной, превратились в какую-то жреческую касту, крича на всех перекрестках, что кино настолько своеобразное и трудно постигаемое искусство, что там работать могут только люди, особо одаренные. Лучшим примером в этом отношении может служить сценарная работа наших кино-организаций. Как известно, сценарии лучших наших писателей и публицистов обычно бракуются, как материал, мало пригодный для кино. Между тем, всякая халтура, сделанная наспех кино-специалистами, быстро принимается и получает должное оформление.

То же самое нужно сказать и об игнорировании лучших режиссерских и артистических сил при постановках уже готовых сценариев. Здесь также закрепилась небольшая кучка людей, с весьма ограниченными—за некоторым исключением—способностями, которая ревниво оттирает всех, кто хочет проникнуть в эту область.

Работа специальных кино-учебных заведений, лицензия практических

основ, поставлена из рук вон плохо. Молодые люди, кончающие кино-техникумы, несмотря на некоторые теоретические знания, и не лишённые некоторых способностей, неизбежно идут на биржу труда, так как ворота кино-фабрик для них закрыты.

Еще хуже обстоит дело связи производственных кино-организаций с широкими кругами советской общественности. К массовому обществу «Друзей советского кино» производственные кино-организации относятся прямо враждебно. Мы имеем редкие случаи предварительного обсуждения сценариев в рабоче-крестьянской аудитории. А ведь, казалось бы, так просто: прежде чем выбросить деньги на дорогом стоящую постановку той или иной картины, лучше предварительно прочитать сценарий и проверить его качество в соответствующей массовой аудитории. В крайнем случае, можно было бы ввести, как правило, обсуждение уже выпущенных в свет картин—опять-таки с целью проверки и корректировки дальнейшей работы. Это тем более легко осуществляемая вещь, что во всех крупных городах существует организация «Общества друзей советского кино», в задачи которой как раз и входит организация таких коллективных чтоток и просмотра картин.

Критика и здесь была права, когда указывала на отсутствие элементарных начал общественности в работе кино-организаций.

Итак, недостатков у советского кино—уйма. Чтобы добиться их устранения, необходимо значительно усилить высоко-квалифицированными работниками все звенья кинематографии. Это в одинаковой степени относится как к художественной и производственной работе кино-организаций, так и к административно-хозяйственному персоналу. В первую очередь необходимо добиться значительного усиления партийного руководства в области кинематографии, чтобы обеспечить проведение в жизнь постановлений совещания; нужно теперь же дать в кино новых людей, которые бы могли по-новому подойти к работе, которые стали бы работать не за страх, а за совесть.

Книжное обозрение

1. Р. ШОР. — О „порче“ русского языка. 2. Ю. Соболев. — Литературный быт в записях прошлого. 3. НИК. СМИРНОВ, — А. Чапыгин „По звериной тропе“. 4. М. ЗЕНКЕВИЧ. — Э. Багрицкий „Югозапад“. 5. Г. ПОСПЕЛОВ. — „Искусство“. кн. II — III. 6. М. О. — Бор. Пильняк „Расплеснутое время“; Его же „Очередные повести“. 7. А. Р. ПАЛЕЙ. — Ал. Дроздов „Лохмотья“. 8. БОРИС ГРОССМАН. — А. Бирик „Новая Бавария“. 9. ВАЛ. ДЫННИК. — Д. Крептюков „Мамзер“.

О „ПОРЧЕ“ РУССКОГО ЯЗЫКА

(Размышления в связи с одной книгой¹⁾)

Р. ШОР

«Бросая камешки в воду, наблюдай за кругами, от оных расходящимися, дабы не без пользы проводить время...»

Козьма Прутков.

Негодуют общественные деятели: «Мы разучились говорить на хорошем ядре русском языке. Мы до сих пор еще злоупотребляем советским птичьим языком» (Д. Рязанов).

Брюзжит интеллигенция: «Если вам в трамвае говорят — «извиняюсь», то это значит только, что, толкнув вас однажды, вас толкнут дважды и трижды... Слово произнесено, но смысл в него не вложен. Как же не протестовать против него?» (Горнфельд)... «Неприятно это слово, оказывается, потому, что свидетельствует о невежливости говорящего» (Винокур).

Иронизируют газетчики: «Обезьяний язык»...

А он все портится и портится.

* * *

Конечно, кто не помнит еще со школьной скамьи?

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора,

о, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»¹⁾.

Резкий, непримиримый контраст.. Так ли?

А что, если припомнить, как оценивался современниками тот мощный монолит — «великий русский язык», который так легко противопоставляется «советскому птичьему языку»?

* * *

«Возьмешь книгу или газету — и не знаешь, русскую или иностранную грамоту читаешь! Об'ективный, субъективный, эксплуатация, инспирация, конкуренция, интеллигенция — так и погоняют одно другое! Вместо швейцара пишут тебе портье, вместо хозяйка или покровительница — патронесса! Еще выдумали слово — «игнорировать»!

Да и по-русски-то стали писать, боже упаси, как! Например, выдумали — «немыслимо», а чем было худо слово «невообразимо»? Нет, оно, видите, старое, так прочь его! Или все говорили и писали: «такой-то или такие-то обращаются к тому, другому или друг с другом так-то»; не попра-

¹⁾ Материалы по современному русскому языку заимствованы из книги проф. А. М. Селищева: «Язык революционной эпохи». М. 1928 г.

¹⁾ Тургенев, Стихотворения в прозе.

вилось им, давай менять: «такой-то относится-де так-то». Лучше ли это, я вас спрашиваю?»¹⁾...

Это — конец семидесятых годов XIX века: рост молодой русской буржуазии.

...«Чувство презрения возбуждали во мне их ноги, и грязные руки, и розовые рубашки, и нагрудники... и, в особенности, их манера говорить, употреблять и интонировать некоторые слова. Например, они употребляли слова «глупец» вместо дурак, «словно» вместо «точно», «великолепно» вместо «прекрасно», «движучи» и т. п., что мне казалось книжно и отвратительно непорядочно. Но еще более возбуждали во мне эту комическую ненависть интонации, которые они делали на некоторые русские и в особенности иностранные слова: они говорили машина вместо машина, деятельность вместо деятельность, нарочно вместо нарочно, в камине вместо в камине, Шекспир вместо Шекспир и т. д., и т. д.»²⁾...

«Помилуйте-с, как же это можно-с, ваши статьи читал, понимать нельзя-с, птичий язык-с»³⁾...

Это — сороковые годы: «разночинец пришел».

«Возможно ли просвещенному, или хоть немного сведущему человеку терпеть, когда ему предлагают новую поэму, писанную в подражание «Еруслану Лазаревичу?»... Для большей точности... поэт и в выражениях уподобился Ерусланову рассказчику, например:

... Шутите вы со мною.
Всех удавлю вас бороною!.

Каково?

... Обехал голову кругом
И стал пред носом молчаливо,
Щекотит презри колимем...

Картина, — достойная Кириши Данилова! Далее чихнула голова, за нею и эх чи х а е т... Потом рыцарь ударяет голову в щеку тяжелой рукавицей... Но увольте меня от подробного описания, и позвольте спросить: если бы в Московское Благородное Собрание как-нибудь втерся (предполагаю невоз-

можное возможным) гость с бороною, в армяке, в лаптях и закричал бы зычным голосом: здорово, ребята! Неужели бы стали таким проказником любоваться!»¹⁾...

Это — двадцатые годы: мощный расцвет дворянской культуры.

* * *

Непрерывно сменяется и обновляется состав языка — то незаметно и безболезненно, не переходя за порог сознания говорящих, то бурно и остро.

Недаром старая лингвистика, склонная к метафизическому мышлению, готова была видеть в «жизни слов» — слов, рождающихся, добывающихся всеобщего признания, торжествующих победу над своими соперниками и в свою очередь оттесняемых другими — что-то в роде дарвиновской «борьбы за существование»²⁾.

Современная социология языка, отказываясь от подобных метафор, ищет реальных объяснений явления в реальном его бытии. Продукт и оружие общества, язык в совершенстве отражает все процессы, в обществе протекающие. Отражает борьбу классов и смены их в руководстве культурным творчеством нации, отражает экономические сдвиги, лежащие в основе этих смен, отражает политические перевороты, в которых осуществляются эти смены. Чем сильнее ломка экономической и социальной, тем сильнее и ломка языка. Но элементы того же процесса нетрудно отметить па всем бытии любого из известных нам культурных языков, ибо абсолютное единство и устойчивость языка могли бы осуществиться лишь при одном условии: при отсутствии каких бы то ни было противоречий в том обществе, продуктом которого этот язык является.

* * *

Два основных момента отмечают суровые критики «советского птичьего языка», бросая нашей современности упрек в неумелом пользовании

¹⁾ «Житель Бутырской слободы». Критика на «Еруслана и Людмилу» (Цит. по Белинскому). Статьи о Пушкине).

²⁾ Ср. работы по семасиологии Цитнея и Дармстетера.

¹⁾ Гончаров, Литературный вечер.

²⁾ Л. Толстой, Юность.

³⁾ Герцен, Былое и Думы.

русским литературным языком: массовое засорение русского словаря неологизмами, варваризмами, архаизмами, чуждыми в общем строю русского языка и недоступными пониманию самих говорящих; и дублирование уже существующих в языке выражений ненужными провинциализмами, варваризмами, неологизмами.

... «Нерусские слова, непонятные. Перевод нужен. Эх, эти слова разные. Этим мы болеем душой. Словарь нужен. Жуешь, жуешь и ничего не поймешь», — жалуется современный крестьянин.

Две параллели из истории русской культуры.

«Проходя святая писания Ветх. и Нов. Завета, обретох в них многи речи иностранных глаголами положены и того ради нам славяном неудобь разумеваемы, ины же от них и конечне нам не ведомы, их же древнии переводницы ли неудоволишася на русский преложити язык, или и могуще, оставиша их в неких местех тако быти. Сия же аз грубый обретая в писаниях, помыслих в себе, еже како что не навък Сирску или Еврейску или Еллинску языку возможет тех язык речи разумевати непогрешне.

«То я ради вины понудихся от многих разных книг, сия едину во единый некако изобрести на русский язык преложены, и елика тех с Божию помощью изобретох, умыслих тыя по буквам зде писати»¹⁾...

Монах-книжник XVI века трудится над усвоением еллинских премудростей — над созданием церковной древне-русской культуры.

... «Страждут в недоумении приезжающие сюда из отдаленных Губернии дворяне, которые не знав все ломанья и перековерканья переносным смыслом, обыкновением введенных слова, не привыкнув вероподобныя делать сравнения, часто из разговоров в здешних беседах употребляемых ничего в толк взять не могут»...

... «Наставьте нас незнающих, напечатав в вашей книге род словаря, кото-

¹⁾ «Предисловие лексикона, сиречь собранного речем по азбуце». (Цит. по Буличу. Очерк истории языкознания в России).

рый бы изъяснит модою введенной принятой новой смысл словам, или склоните к жалости ваших сограждан, чтобы они говоря с Россиянами, настоящим Российским языком говорили»...¹⁾

Служилое дворянство XVIII века усваивать формы западноевропейской техники и общественности, полагая начало своему культурному творчеству.

* * *

Трудно, тяжело усваивается говорящим коллективом слово — знак прежде чуждой культуры. Трудно потому, что степень усвоения его значения находится в прямой зависимости от степени усвоения соответствующего факта новой культуры. Нет понятных новых слов, и это только кажется, что уже вошедшие в русский язык новые слова — заимствования и неологизмы — были всегда понятны без особых разъяснений.

Ведь еще Толстой считает нужным переводить: «Балка на кавказском наречии значит овраг, ущелье», «Джигит — по-кумыцки значит храбрый»²⁾, «Чувяки — обувь»³⁾.

Гончаров снабжает разъяснением слово «доха»⁴⁾, Пушкин подчеркивает непереводимость слова «vulgar» (позднейшего «вульгарный»⁵⁾. А в Петровскую эпоху нуждаются в разъяснениях — «а п (о) те ка — дом лечебный», «багаж — что с собою можно на дороге взять», «бомба — чиненое ядро великое», «гавань — пристань», и «сториа — повесть», «канцелярия — приказ», «матрос — карабельный салдат», «монета — деньги всякия», «металл — руда земная», «мода — обычай, образец», «фантан — водоваж-да»⁶⁾ и так далее, и так далее.

* * *

Массовая непонятность современных неологизмов имеет еще одну при-

¹⁾ «Письмо к издателям «Ежемесячных Сочинений» о злоупотреблениях российского языка». (Цит. по Буличу. Очерк истории языкознания в России).

²⁾ Л. Толстой, Набег.

³⁾ Л. Толстой, Казаки.

⁴⁾ Гончаров, Фрегат Паллада.

⁵⁾ Пушкин, Евгений Онегин.

⁶⁾ «Лексикон вокабулам новым по алфавиту». (Цит. по Смирнову. Западное влияние на русский язык в Петровскую эпоху).

чину. Она объясняется кругом их значений.

Действительно: одно дело — обозначение *realia* предметов материальной культуры, доступных непосредственному воззрению; другое — обозначение отвлеченных понятий, создание новых юридических и политических терминов, которыми как раз и характеризуется современный русский язык.

Достаточно просмотреть историю гуманитарных наук в России, достаточно перелистать старинные переводы философских и юридических трактатов, чтобы понять, с какими муками вводилось в русский литературный язык каждое отвлеченное слово. Кажется, что проще грамматической терминологии, — а сколько колебаний в переводах XVI — XVII веков: «глагол» или «речь», «местоимение» или «вместо имя», «падеж» или «падение», «именительный» или «правый», «гласные», «гласовые» или «звательные» звуки?

* * *

«Слушали: реформа, реорганизация, обнуление школы и воспитание юношества. Товарищ Шеронов пояснил, регулярно выяснил об инициативе молодежи во всех видах, и выяснена следующая резолюция и принципиально го исполнения»...

(Протокол собрания граждан Веденской слободы, Свяжской волости, в Татреспублике.)

А спросить их, что значат эти новые слова:

«Товарищ — это по-нынешнему зовут теперь».

«Регулярно — срочно, окончательно».

И все же это — показатель культурного сдвига огромной важности.

Опять — две параллели из глубокой старины.

«Во святых книгах словенского языка многи речи неудобь разумеваемы обретаются, якоже се есть в канон Покрову Пр. Богородицы: светящеса, Владычице, омофор твой паче електра, а неведущии силы слова речь ту пишут сице: паче алектора, и не хотят разумети, яко ино есть електр, и ино алектор: алектор бо есть петел,

и кая суть похвала Богородице, емо прилагати и уподобляти светлость омофора ея ко блистаню петуха?»¹⁾

Смешно? Разумеется. «Обезьяний язык»? Конечно. Но в то же время — свидетельство об усвоении русским духовенством форм византийской церковности.

«Амнистия — беспамятство» (поправка редактора «забытие погрешений»); арест — стража, караул» (поправка ред. «кого возмут за караул или кому дома приставят караул»);

«вексель — и обмена денег» (поправка ред. «через писма»);

«диспут — разговор»²⁾;

«аристократия — 10 правителей»;

«амнистия — забвение»;

«комерция — купечество»;

«характир — чин»³⁾.

Смешно? Разумеется. «Обезьяний язык»? Конечно. Но в то же время — свидетельство об усвоении русским дворянством форм западно-европейской цивилизации.

Еще раз — слово всегда есть знак известной культуры, оно свидетельствует об известном знакомстве говорящего с тем культурным кругом, к которому оно принадлежит. Но знание слова еще не предполагает ясного знания предмета; чтобы определить точно предметы, обозначенные словами «республика», «федерация», «революция», — надо быть юристом, политиком, историком. В обычном же разговорном «обывательском» употреблении (не в терминированной юридической или научной речи) граница значения слов представляет собой нечто расплывчатое и неопределенное, — немецкий лингвист Эрдман удачно сравнивает ее с широкой, постепенно бледнеющей границей растекшегося красочного пятна.

Надо ли удивляться тому, что полуграмотный крестьянин затрудняется разъяснить любознательному журналисту значение таких слов, как «Совнарком» или «РСФСР»? И не удивитель-

¹⁾ «Предисловие лексикона, сиречь собраньям речем по азбуке» (Цит. по Буличу. Очерк истории языкознания в России).

²⁾ «Лексикон вокабулам новым по алфавиту».

³⁾ «Различная Речения Иностранная противу Славяно Российских 1780» (по Смирнову, I. с.).

но ли то, что он все же усвоил что-то из значения этих слов, что «РСФСР» для него «Россия Республика», что «Коммуна» для него «тогда вместе работают», что «леволуция» для него «новое право»?

«Детский дом — это детям дают вспомоганье, их кормят».

«Дом Крестьянина — где обращаемся за делом, и трактор, тут же и ночевать можно».

«Трактор — это большой плуг, падут паром». И так далее!

Разве не важен здесь самый факт обогащения лексики новыми словами, разве не служит он показателем новых, прежде несвойственных классу форм культуры?

* * *

Известно, что слово «комиссар» появилось после Октябрьской революции в виду абсолютной неадекватности применения старого термина «министр» к новым политическим формам.

Этот анекдот, живо рассказанный в мемуарах одного из участников переворота, дает ключ к объяснению того, казалось бы, ненужного дублирования неологизмами уже существующих в языке слов, которым характеризуется современный «советский птичий язык».

Действительно: язык, как уже указывалось выше, есть прежде всего продукт и орудие общества, отражающий в своем дроблении экономическую и социальную его дифференциацию. И воспринятое, как достояние того или иного социального диалекта, другими словами, как достояние того или иного класса, слово приобретает для говорящего известную экспрессивную окраску, в которой преломляется так или иначе его классовое самосознание.

«При слове «парень» является моим мыслям дебелый мужик, который чешется неблагопристойным образом или утирает руком мокрые усы свои, говоря: ай, парень! что за квас!»¹⁾

¹⁾ Письмо Карамзина к Дмитриеву 1793 г. (Цит. по сборнику «Русская проза» под ред. Эйхенбаума и Тынянова).

Удивляться ли, что при таком обратном восприятии слово это «отвратительно» для русского дворянина XVIII в.?

Удивляться ли, что самые названия тех общественных групп, которые могли употреблять подобные слова, становятся бранными в устах господствующего класса, и что господствующий класс ревниво очищает свой «благородный» язык от «подлых» простонародных выражений?

Но те же явления — отражение классового самосознания — повторяются в любом социальном диалекте. И не в этом ли стремлении освободиться от слов, приобретенных одиозную для говорящего экспрессивную окраску, — причина того резкого разрыва с прежней терминологией, а отчасти даже и с лексикой, который ведет к дублированию неологизмами старых слов?

* * *

Новеллу, — утверждает Виктор Шкловский, — надо завязывать узелком. Не попытаться ли завязать узелком и эти размышления?

О чем свидетельствуют те клочки и обрывки истории русского языка, которыми размышления эти усеяны? О том, что «порча» языка в отмеченных выше формах не есть явление случайное и аномальное, но неразрывно связанное с развитием языка и непрерывно осуществляющееся на всем протяжении его существования; о том, что известные эпохи, приводящие к более энергичной «ломке» языка, — обычно эпохи усвоения новых культурных форм, эпохи больших культурных сдвигов; о том, что по мере усвоения новых форм культуры, «ломка» языка теряет свой уродливый характер и вливается в общие процессы развития языковых форм; о том, что массовое «засорение» языка неологизмами в эти эпохи сводится в конечном счете лишь к обогащению его лексики; о том, что чрезмерный пуризм...

Впрочем, не достаточно ли уже крепкий завязался узелок?

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БЫТ В ЗАПИСЯХ ПРОШЛОГО 1)

Юр. Соболев

Книги воспоминаний, заглавия которых выписаны нами, слагают интереснейшую картину литературного быта, хронологически охватывающую почти столетие. Огромное количество персонажей является действующими лицами в этой, памятью бывшего оживленной, причудливой «человеческой комедии». Если мы и решаемся цикл этих мемуаров включить в рамки именно «человеческой комедии», одновременно и возвышенной и низменной, печальной и трогательной, волнующей и занимательной, если мы не хотим подойти к ним, к этим, казалось бы, запыленным страницам только лишь как к медлительному повествованию, перебирающему, подобно четкам, куски и кусочки минувшего, то только потому, что авторы их, забывая об обязательствах объективного летописца, сами охотно переключают форму воспоминаний в план почти беллетристический. Никак не назовешь, например, книгу Панаевой — книгой только воспоминаний. Перед нами роман, несколько старомодный и наивный, кое-где чувствительный и насмешливый. Мы не ищем в нем беспристрастия, в нем нет и намека на объективное изложение событий и фактов большой и интересно прожитой жизни. События, факты и лица проходят по этим прихотливым, отнюдь неточным и часто фантазирующим строкам не то чтобы воспоминаний, а скорее придирчивых и очень страстных личных, — всегда окрашенных в тона очень «женской» субъективности, — суждений, оценок, восхищений, негодований, суровых при-

говоров и почти патетических восклицаний.

А книга И. И. Панаева — неудачливого супруга Авдотьи Яковлевны Головачевой, оставившей его для того, чтобы, живя с ним под одной кровлей, стать подругой Н. А. Некрасова? «Воспоминания» И. И. Панаева — этого, прежде всего, фельетониста по натуре, скользкого по поверхности наблюдателя жизни салонной, редакционной, великосветской, словом петербургской, во всех ее оттенках — от Невского до фешенебельного Павловска, — как требовать от его острых, иногда злых, но чаще всего добродушных зарисовок строгой выверенности и безупречной правдивости? Сознательно, впрочем, он нигде не лжет; он умеет даже быть более великодушным к маленьким человеческим слабостям, чем его жена, капризная, взбалмошная и такая, в каждой строчке ею написанной, даровитая и кипучая натура!

И оба они отнюдь не случайное явление в литературе: они не со стороны, откуда-то сбоку, глядят на нее и удивляются, как наивные провинциалы столичным литературным «львам», — пользуясь здесь пущенным в оборот Панаевым словечком. Нет, они из самой гущи литературного быта; оба, едва соскочив с ученической скамьи, — она из театрального училища, он из «благородного» пансиона, — с жадностью припали к живительному источнику литературы. И не как дилетанты-любители, а как профессионалы-мастера. Оба они много и многих видели, и многое хорошо оценили и чутко поняли. Впрочем, мы еще остановимся на том, что составляет подлинную сущность и непререкаемую ценность их наблюдений, оправленных в форму увлекательнейших записок — воспоминаний. А говоря сейчас о том, что весь этот цикл мемуаров выходит из ограниченных пределов летописных записей прошлого и становится материалом, дающим нам как бы осязание исчезнувшего быта, мы это имеем в виду и в отношении «Записок» Сушковой, в которых привлекает нас эпизод

1) 1) И. И. Панаев. — Литературные воспоминания. Первое полное издание под ред. и с примеч. Иванова-Разумника. «Academia». Лнг. 1928 г. Стр. 568. 2) Авдотья Панаева. — Воспоминания. Испр. издание под ред. и с примеч. К. Чуковского. «Academia». Лнг. 1927 г. Стр. 508. 3) Екатерина Сушкова. — Записки. Первое полное изд. Ред., введение и примеч. Ю. Г. Оксмана. «Academia». Лнг. 1928 г. Стр. 446. 4) Валерий Брюсов. — Из моей жизни. — Моя юность. — Памяти. Предисловие и примеч. Н. С. Ашукина. Изд. М. и С. Сабашниковых. 1927 г. Стр. 130. 5) Валерий Брюсов. — Дневники. 1891—1910. Приготовила к печати И. М. Брюсова. Примеч. Н. С. Ашукина. Изд. М. и С. Сабашниковых. 1927 г. Стр. 203. 6) А. И. Менделеева. — Менделеев в жизни. Вступит. статья и примеч. М. Павловского. Изд. М. и С. Сабашниковых. 1927 г. Стр. 183.

с Лермонтовым (история увлечения Сушковой — ее короткий и трагический роман с «Мишелем») и, конечно, в отношении книг В. Брюсова, одну из которых, по существу являющуюся не чем иным, как настоящей автобиографией, он сознательно называет повестью, и не потому, что в ней есть некоторый, очень, впрочем, трудно обнаруживаемый домысел. «Моя юность», будучи автобиографией, в то же время повесть, поскольку вскрывается в ней художественный темперамент Брюсова.

Что же, помимо общего для всего цикла переключения его из плана мемуарного в план живой художественной повествовательности, найдем мы связующего в этих страницах, погружающих нас в литературное прошлое, почти столетием измеряемое? Ведь слишком далеки персонажи, скажем, Ав. и Ив. Панаевых (от Кукольника до Льва Толстого) от тех первых русских декадентов, облики которых запечатлены в брюсовских «Дневниках». Разные, конечно, люди и разные эпохи. Подумать только! Авдотья Панаева рассказывает о том, как за ее обедами собирались Гончаров, Тургенев, Толстой, «сам» Александр Дюма восхищался ее простоквашей, а Иван Панаев живописует страстные споры аксаковского дома, летние дни на даче в Соколове, Герцена, Огарева, Щепкина, Кетчера, Бакунина... Или Сушкова, которая получает первые юношеские, почти детские, стихи Лермонтова — еще в ученической курточке, а потом танцует с «Мишелем» — уже офицером, о поэтической славе которого никто и не думает. «Да что там — стихи писать, научился бы хорошо взводом командовать, и то дело!» — как говорит командир эскадрона, в котором нерадиво служил гусар Лермонтов, по сродству своему с классическим злым уродом прозванный «Майшкой». И все это в промежутке нескольких десятилетий, — от конца двадцатых годов до шестидесятых минувшего века. А потом наш цикл мемуаров как бы теряет свою хронологическую последовательность и, прервавшись на 1870 г., возобновляется в 1891 г.

Перед нами Москва — последние годы царствования Александра III. Эпоха первых русских декадентов, первых символистов. Уже не классические образы барственного Тургенева, не по летам солидного Гончарова, пламенно-го Белинского, застенчивого Кольцова, резкого и прямодушного Чернышевского, кипучего Герцена. Перед нами уже не споры славянофилов с западниками, литературных дворян с литературными разночинцами. Это уже не страницы борьбы за «Современник» — история каторжного труда Некрасова. Нет, — здесь гимназисты — воспитанники замечательной Поливановской гимназии — Валерий Брюсов и Борис Бугаев, а из Петербурга — петербургские юнцы — Ореус-Коневской и странный, болезненно-экзальтированный, быть может, религиозно помешанный Добролюбов. И старшее поколение символистов — Случевский, Фофанов, Мережковский, Сологуб, Минский. Как этот новый литературный быт, слагавшийся в собраниях религиозно-философского общества, в редакциях «Путти» и «Весов», на рефератах Литературно-Художественного кружка в Москве, на приемах у Мережковских и на вечерах у Брюсова, как отличен он от того литературного быта, который протекал в «Современнике», в квартире Некрасова — Панаева, в старомодном аксаковском доме!

Но в том-то и великая притягательность, в том-то и глубокий интерес цикла, взятого в целом, что он, рисуя своими десятилетиями ряд этапов, через которые проходила русская литература, и изображая в живых и убедительных образах тех, кто литературу эту делал, — от Кукольника до Льва Толстого и от Белинского до Брюсова, — вместе с тем вскрывает смену разных течений, борющихся в русской литературе.

В этом цикле не только увлекательный рассказ о таких людях, как Достоевский, Гоголь, Гончаров, Бакунин, Тургенев, Решетников, Чернышевский, Писарев, Лермонтов, Валерий Брюсов, Добролюбов и т. д., и т. д., но и глубоко-поучительная повесть о борьбе направлений, о многих сменах не-

скольких поколений, приносящих в литературу тот «социальный заказ», который каждое из этих поколений от своего класса и от своего времени получало.

Вот—годы, изображенные в «Воспоминаниях» И. И. Панаева. Они поучительны именно тем, что дают замечательно яркое представление о смене литературных поколений. Панаев юношей застаёт борьбу ложно-романтики, ходульной и искусственной, с подлинным большим реализмом. Кукольник с его ура-патриотической драматургией, с его шовинистической трагедией «Рука всевышнего отечество спасла», и Пушкин в окружении его плеяды. Пушкин, который в последние годы своей жизни в глазах современников лишается обаятельности. «Даже имя Пушкина уже не так электризовало меня, как прежде,—записывает И. И. Панаев.—Его русские сказки и «Анжело» неприятно подействовали на всех его многочисленных и восторженных поклонников. Его «Современник» был довольно холодно принят и в литературе и в публике. Большинство говорило, что поэту не следовало пускаться в журналистику, что это не его дело. Начинали поговаривать, но еще робко, что Пушкин стареет, останавливается, что его принципы и воззрения обнаруживают недоброжелательство к новому движению»...

Это очень знаменательная запись в панаевских «Воспоминаниях»: она отражает общее мнение его эпохи. В чем смысл этого «общего мнения» тех, кто «поговаривает» о снижении былой пушкинской обаятельности? Не в том только, что еще пыжится и лопается надутый ходульной лже-романтикой Кукольник, что еще продолжает кое-кого умилать чувствительный Жуковский и приводит в неумеренное восхищение пошлейший Бенедиктов. Не Бенедиктов опасен Пушкину в понятиях его современников. Тот же Панаев многозначительно отметил, что Пушкин, прочтя Бенедиктова, только и сказал, что хорошо у него одно сравнение—неба с опрокинутой чашей. Даже не Булгарин, «Северной пчелой» пытающийся делать литературную погоду в ее благонамеренных оттенках. Булгарина

презирают все—от Пушкина до Воейкова, автора злейшего и остроумнейшего памфлета «Сумасшедший дом». Нет, говоря о принципах Пушкина, «недоброжелательных» к новому движению, Панаев верно отмечает приход новой литературной традиции. На смену пушкинской литературе идет литература Гоголя. А гоголевскому реализму еще будет суждено как бы, неключаться в ту «физиологию», натурализм, сказали бы мы теперь,—которую принесет молодой Некрасов с его очерками о петербургской нищете. А вслед Гоголю—грандиозное явление Достоевского.

Но не в этом только смена. «Новые идеи, которые проникали к нам из Европы, медленно, но все-таки проникали, возбуждали горячее сочувствие в молодом поколении»,—поясняет свою—и общую—мысль Панаев, когда говорит о пушкинском «недоброжелательстве» к новому движению. Эти «новые идеи»—идеи, конечно, политические. Николаевская Россия задыхается, ее надежды обращены на Запад. Могучий приток интеллигентского свободомыслия идет на смену консерватизму эпохи. Пушкинский «Современник», усилиями Панаева и Некрасова возобновленный, становится органом неблагонадежным, делается штабом радикальных идей. Панаев умеет если не дать оценку, то, во всяком случае, правильно отметить просачивание во все поры литературной жизни новых идей. Восхищенный аксаковским преклонением перед Москвой и не надолго переходящий в славянофильствующий кружок; Панаев быстро сбрасывает с себя, образно выражаясь, тот русский кафтан и ту полутатарскую мурмолку, которыми соблазнял его Аксаков, и искренно становится сочувственным западников. Мягкотелый Грановский, и еще больше кипучий Герцен, а больше всех и ближе всех «пламенный Виссарион»—Белинский—во! кто друзья Панаева. Вот о ком, говоря с такой искренностью, говорит Панаев об общем для его времени явлении—смене одних идей идеями другими, новыми, идущими с Запада. Он не вскрыл этого трудного процесса, да это и не

входило в его задачу мемуариста-повествователя: Достаточно с Панаева и того, что, набрасывая широкую картину быта, он дал нам не только ощутить его, так сказать, ежедневность, будничность, анекдотическую сторону, но и то проникновение в его недра потока могучих идей, которые несли с собой речи Искандера—Герцена, статьи Белинского, энергичная борьба за «Современник» Некрасова. И еще одно любопытное явление из круга тех же новых понятий, которые внедрялись с новыми идеями, отметил тот же Панаев. Занятия литературой, еще недавно любительские, отнюдь не вызываемые необходимостью заработка, а потому и занятия диллетантские, становятся занятиями профессиональными. Уже Пушкин определяет свою журнальную деятельность, как деятельность совершенно профессиональную. Основанный им «Современник»—пример притягательный именно в силу того, что хозяйство «Современника» уже было в зародыше коммерческим хозяйством. Такой «литературный промышленник», как называет Краевского Панаев, это великолепно учитывает, создавая целое, небольшое, правда, «акционерное общество» для приобретения «Отечественных Записок». А еще дальше по этому же пути идет И. И. Панаев, в лице Некрасова получивший такого замечательного хозяйственника, как сказали бы мы теперь.

Авдотья Панаева-Головачева, в еще более ярких штрихах обрисовывавшая разнообразнейшую пестрядь больших и маленьких литературных людей, так же, как и И. И. Панаев, не ограничилась одной зарисовкой персонажей и одной, пусть и очень увлекательной, анекдотической стороной. Очень образно, очень, сказали бы мы, осязаемо дан ею быт, главным образом, петербургской литературы и, прежде всего, быт некрасовского дома—от столовой до кабинета—и некрасовского «Современника». Но, раздвигая бытовые очертания, мы вскрываем содержание огромной ценности в этих ее записях о вражде, скажем, Тургенева с поколением «семинаристов», в лице Чернышевского и Добролюбова, стремительно идущих

к овладению командными литературными высотами. Авдотья Панаева здесь очень чутко подметила чисто историческое значение этой литературной вражды. Демократка по происхождению—ее родители актеры Александринского театра—далеко не барского круга, она всей бурной своей натурой на стороне новых людей. Ведь до известной степени новым человеком был и страстно ею любимый Некрасов, этот в юности «чернорабочий литературы», который и положение свое, как писателя и как собственника виднейшего в России журнала, буквально вырвал у жизни, завоевал своими не холеными, не барскими руками, хотя и был по происхождению дворянин и помещик. А она знала Некрасова еще с дней его нищей юности. И, конечно, это он, великий народолюбец, друг Белинского, чутко угадавший значение Чернышевского, и первый обласкавший Добролюбова,—конечно, он внушил своей подруге величайшее уважение к «разночинцам». Борьба в недрах «Современника», вскоре перебросившаяся на всю тогдашнюю литературу,—борьба бар с разночинцами обрисована Панаевой исторически совершенно точно. Нет в ее воспоминаниях страниц более волнующих, художественно более сильных, и лирически более трогательных, чем те, которые посвящены Добролюбову—его болезни и смерти. Но это потому так художественно убедительно, и так человечески глубоко вышло у Панаевой, что за Добролюбовым она увидела целое поколение, пришедшее в литературу и принесшее с собою радикализм, резкости, свежести и убежденности которого не мог быть противопоставлен мягкотелый либерализм Тургенева и даже голос герценовского изгнания. В процессе формирования политического сознания русской передовой интеллигенции роль «семинаристов», «запах» которых был столь неприятен Григоровичу, о чем язвительно заметила Панаева,—роль разночинцев вообще во многих случаях была значительнее той, которую сыграл «зовущий живых» «Колокол» Герцена.

В «Записках» Е. Сушковой мы не найдем наблюдений, подобных тем, что

сделали А. Панаева и И. И. Панаев. И если ее рассказ о Лермонтове и сохраняет всю свою значительность, то только потому, что, страстно переживая трагедию обманутого чувства, Сушкова самый образ Лермонтова, старательно отделив его от того социального фона, на котором он предстал ей, сумела наполнить действительно живым и волнующим содержанием. Конечно, она не понимала Лермонтова, и, разумеется, в известной мере был прав некогда отвергнутый злой кокеткой «Мишель», отомстив ей, правда, жестоко, за те юношеские страдания, которые доставила ему ее любовная с ним игра. Эпизод этот, впрочем, достаточно известен. Кратко восстанавливая его подробности, напомним, что Лермонтов, не замеченный Сушковой в его ученические годы, разыграл с нею своеобразный роман впоследствии. Именно разыграл, потому что, вскружив окончательно голову своей жертве, называя ее невестой, он чисто провокационным приемом поселил в ней сперва подозрение в искренности его чувства, а потом и уверенность во лжи, сам заявив, что он ее не любит и никогда не любил. Сушкова, кстати здесь указать, очень занимательно рассказавшая о днях своей юности и о дворянском быте пензенских и псковских помещиков, на всю жизнь сохранила жгучее воспоминание об этом печальном эпизоде, а, сохранив воспоминание о странном герое ее девического романа, она сохранила для потомства и его стихи. Сушкова первая опубликовала 12 юношеских стихотворений Лермонтова, в числе которых было: «У врат обители святой».

Для Лермонтова этот эпизод имел значение в его писательской биографии. «Теперь я не пишу романов. Я их делаю»,—эта фраза из лермонтовского письма к кузине Лопухиной, в котором рассказывается о перипетиях романа с Сушковой, раскрывает нам тот литературный прием, которому следовал автор «Княгини Лиговской» и «Двух братьев»—произведений, где в совпадающих деталях отображена сушковская история.

Лермонтов в «Записках» Сушковой раскрыт как Печорин. Печорин, в образе которого сказался перенесенный на русскую почву в условиях николаевской России байронизм, конечно, в огромной мере есть отображение Лермонтова. Но ведь и «печоринство» есть явление, свидетельствующее о смене одного литературного направления другим. Печальная галерея «лишних людей», с таким изобилием русской литературой до Чехова включительно представленная, открывается, конечно, именно лермонтовским Печориным.

Но если «печоринское было», как принято думать, одной из «масок» Лермонтова, если в сложном образе Лермонтова есть и несомненная черта актерства,—то в известной мере маской и в очень большой степени актерством были и многие свойства тех, которые, много десятилетий спустя лермонтовско-печоринской гибели, были названы первыми русскими декадентами. И среди них—основоположник направления, сыгравшего огромное значение в истории новой русской литературы,—Брюсов, зачинатель декадентства, руководитель символизма («Дневники» В. Я. Брюсова, вскрывающие, конечно, не объективизм мемуариста, а уже совершенно законный на этот раз субъективизм личных вкусов, личных симпатий автора,—страницы, прежде всего, очень большого человеческого одиночества. Это—глубоко драматическая повесть. Ее герой—актер, всегда появляющийся в разных личинах, но никогда и никому не открывающий подлинной своей сущности. Брюсов, сын родителей, насквозь пропитанных идеями шестидесятых годов, в раннем детстве получавший уже уроки материализма, отверг фантастичность сказок в дни первоначальной учебы, а затем возлюбил фантастический вымысел и предпочел книжный вымысел живой действительности («Над вымыслом слезами обольюсь»). Это стало для него привычностью: так плакал он, юношей, над «Тремя мушкетерами» Дюма. В годы своего «декадентства» став мистиком, проникшись «магией»,—этот же Брюсов в годы Октябрьской революции вернулся, как он выражался, в

«свой отчий дом»: отвергнув идеализм, осудив мистику, он стал материалистом, стал коммунистом. Таким сложным был тот внутренний процесс, который переживал этот исключительный человек. «Дневники» и в меньшей степени «Моя юность» дают ключ к раскрытию этой сложности. В «Дневниках» дано изображение эпохи, и она — тот фон, на котором еще отчетливее и резче выступает Брюсов таким, каким изобразил его Врубель: в черном, наглухо застегнутом сюртуке, со скрещенными на груди руками — суровый водитель, как бы прозревающий иные дали. Так, интуитивно, в счастливой догадке раскрыл гениальный художник в портрете этом того Брюсова, который, вырстая из своего времени, ощущает чутко его ритмы, лихорадочно пульсирующие, уже слышал железную поступь героической, новой, грядущей эпохи, навстречу которой пошел он с таким мужеством. И для такого Брюсова, Брюсова «этих дней» — «Дневники» его юности и первых лет творческой его зрелости — документы высокой биографической и общественной ценности.

Его эпоха литературно была эпохой новых веяний в искусстве. Сперва плененный классикой, — к переводам с латинского возвращался Брюсов в течение всей жизни, — он вскоре нашел новую притягательную силу влечения: французские поэты-символисты. Знакомство с ними оказалось решающее и предопределяющее влияние. В первое десятилетие 90-х годов нарождалась новая русская поэтическая школа; гимназист Брюсов оказался под ее непосредственным воздействием. Два имени стали ему особенно дороги — Фофанов и Мережковский. Затем пришло новое откровение: статьи Нордау и Венгеровой о Римбо и Метерлинке. Так начинался декадентский период Брюсова — пора издания его сборников «Русские символисты». Эпоха особого жаргона, на котором говорила зарождавшаяся школа. «Ужас дня» и «сладость ожидания», электрические фонари — «прекраснее луны» — полоса газовых фонарей вдоль улицы — это «ожерелье улицы» и т. д., и т. д. Дека-

денты щеголяли словесными изысками так же, как щеголял много позже своей «желтой кофтой» Маяковский в дни буйственного цветения футуризма. Это было своего рода детской болезнью левизны, это было признаком «школы». А декадентов было не мало. Один любознательный журналист произвел обследование: оказалось, что среди «новых» поэтов особенно много студентов и дам; есть даже один надзиратель Кадетского корпуса!

«Моей мечтой всегда был Пантеон, храм всех богов. Будем молиться и дню и ночи, и Митре и Адонису, Христу и Дьяволу». «Я» — это такое средоточие, где все различия гаснут, все пределы примиряются. Первая, хотя и низшая, заповедь — «любовь к себе и поклонение себе» — вот кредо Брюсова — декадента, Брюсова — основоположника символизма. Поклонение себе — культ эгоистической личности, заявляющей отказ от всякой общественности и политики, проповедь искусства для искусства и мистика во всех оттенках и направлениях, — вот из каких элементов слагался российский модернизм. О его путях и перепутьях Брюсов дал яркий рассказ, нередко иронический в отношении самого себя и где-то беспощадно саркастический по адресу тех, кто являлись его тогдашними сочувственниками. Он рассказывает о своей дружбе-вражде с Бальмонтом, о приливах симпатий и антипатий к Мережковским (зло изображена фигура Д. С. Мережковского — в зимней шубе и в женином вязаном платке проповедующего реальность физических мук в загробной жизни), о мистически странном явлении Добролюбова с его проповедью опрошенства, о «самом интересном из современных людей в России» — Борисе Бугаеве — Андрее Белом, о несчастном Фофанове, мудро-задумчивом Сологубе. Рассказ о них — рассказ, прежде всего, о борьбе за новое литературное направление. Яростным атакам не только на позиции бульварных газет, но и на крепко защищенные крепости таких очагов интеллигентского либерализма, как «Русская Мысль», посвящены страницы «Дневников», относящиеся к первым

годам борьбы за символизм. Первая русская революция встречает в Брюсове только внимательного наблюдателя. Он не выражает симпатий восставшим, но несколько не умиляется и на усмирителей. Он равнодушен и к тем и к другим. Его помыслы заняты только литературной борьбой. Его «Дневники» — рассказ, прежде всего, о смене литературного поколения.

Брюсов бегло, но зарисовал почти всех, кто так или иначе примыкал к символическому движению. Только один А. А. Блок не отображен в «Дневниках». О нем есть только упоминание: страницы, посвященные истории личных отношений с Блоком, еще не изданы. Блок, о котором вскользь упоминает в «Дневниках» Брюсов, — в это время страстный его поклонник. Это—

Блок первого сборника стихов, Блок эпохи Шахматова и поездок в Воблово—имение Менделеевых, к невесте Л. Д. Менделеевой — дочери знаменитого русского ученого. Об этом эпизоде биографии поэта — яркая страница в книге «Воспоминаний» А. И. Менделеевой о ее великом муже. Страница эта дает живое изображение одного из тех русских символистов, школу которых возглавлял Валерий Брюсов. И поэтому эта страница мемуаров, целиком посвященных другим явлениям и другим людям, — не кажется лишней для цикла записей, рисующих быт литературный, вскрывающий ряд этапов борьбы и изображающий смену ряда поколений и ряда литературных течений.

А. Чапыгин. — Собрание сочинений, том третий. «По звериной тропе», Москва—Ленинград. 1928 г. Стр. 414.

Эта талантливая книга — далекое и запоздалое эхо наивной и дикой лесной старины.

Она, подобно безымянной дороге в первобытных олонечских лесах, уводит в дремучую глушь сказаний, наговоров и поверий.

«Там, на неведомых дорожках, следы невиданных зверей...»

Рассказы, собранные в книге, однообразны, но их исключительное тематическое однообразие не утомляет. Писатель не только варьирует свою центральную тему, но постоянно обостряет и углубляет ее. В книге непрерывно чувствуется подлинная и оригинальная писательская самобытность.

Действие всех входящих в книгу рассказов развивается в лесных чащах, — книга пропитана запахом засушенной хвои и медуницы, — а ее героями выступают охотники, звероловы, опытные и зоркие следопыты.

Однако быт служит для чапыгинских рассказов только фоном и оправдой. Чапыгин — не бытовик, если даже принимать это понятие в его наиболее широком смысле, и если рассматривать книгу, как определенный этап

на его творческом пути (большинство рассказов написаны в 1910—1915 г.г.).

На книге лежит явный отпечаток символизма:

Писатель показывает древнего человека, сохранившего в своей психике тяжелое наследие дедов: покорность силам земли, огромную веру в его могущество, а, на ряду с этим, величайшую самостоятельность природы — холодную и вечную синеву небес, тяжкую мрачность леса и — непреодолимую «власть судьбы».

Природа пугает человека. Человек страшится ее огромности, ее якобы неразгадываемых тайн. Ее ледяное дыхание несет несомненную гибель, — не случайно Чапыгин с особенной силой воспроизводит зимний пейзаж: розовый иней на соснах, мертвый морозный месяц, сияющие синие льды на озерах.

Ощущение гибели беспомощных и безвольных перед лицом природы людей — один из главнейших философских мотивов этой книги.

Умирает, в поисках чародейного чертополоха, старуха Маланья — добрая и ласковая «божья няня», «богородица бедных» («Мирская няня»).

Замерзает, в погоне за лосем, злобный Михейка («Лесной пестун») и разгульный, храбрый Гришка («По следу»).

Гибнут,—или в поисках за золотым кладом, когда-то зарытым колдуном в трясине,—подросток Миронко («Послуга»), или в томлениях об озерной царевне с цыганскими монистами,—безыменный охотник из рассказа «Морока».

Пропадают и другие,—старик-следопыт («Последняя лешня») и пастух Кучупатый («Бегун»),—гибнут все, кто решается бороться с природой, брать ее дары: убивать ее зверя и разгадывать ее великие тайны.

Человеческая гибель не тревожит природу: она попрежнему пребывает в своем тайном, отчужденном безмолвии.

Ночная птица филин, присутствующая в каждом рассказе Чапыгина, наделена всеми свойствами сказочной, вещей птицы. Она уводит человека в трясину, пророчит ему гибель своим протяжным и тонким свистом, невредимо улетает от пуль. У ней человек — Адамова — голова и длинные белые крылья. Это мистическая птица Алконост, вестница скорби...

На ряду с филином (и совой) в рассказах Чапыгина встречаются ожившие мертвецы («Последняя лешня»), двойники, русалки,—«в зеньчугах вся, в кокошнике»..., златорогие лоси,—«от рогов зверя разбегаются по ледяным стволам деревьев светлые зайчики»,—лоси, опять-таки, символизирующие призрак или образ смерти.

В чапыгинских рассказах много первозданно-языческого, но, вместе с тем, есть отзвуки и более поздних религиозных верований,—в сосновых лесах таятся бревенчатые часовни, в часовнях горят голубые лампы,—от многих его рассказов веет смутным и давним христианством, старообрядческим отшельничеством.

Чапыгина условно можно характеризовать, как писателя переломной эпохи. Он, отчасти, идеализируя сказочную вековую старину, сознает и видит непрерывное движение жизни и постепенную смену ее форм. Сильно и ярко изображая старую деревню, любовно украшая потускневший ее образ цветами, травами и самоцветными жемчугами,—писатель чувствует

(может быть, и неясно) деревню настоящего дня.

Об этом наглядно свидетельствуют рассказы, написанные в послереволюционный период,—эти рассказы более реальны, хотя художественно и менее выразительны.

Чапыгин, будучи писателем старой деревни (любимые его герои, по преимуществу, старики), в позднейших рассказах более внимательно присматривается к молодежи. В этих рассказах он и более ярко раскрывает собственное творческое лицо.

Смутные жалобы прежних его героев о грешности человека и об оскудении малородящей, малоплодородной земли приобретают характер конкретности.

Охотник-Елифаныхт из рассказа «Белая равнина» жутко напуган появлением в лесах чугунного зверя, раздавившего его собаку,—он ничего не ждет от этого зверя, кроме зла:

«Снилось старику в пути одно и то же: взрывает железный зверь болота,—осушает их. И видит Елифаныхт, вознесшись на колокольню, как обсохли болота—зыбучие пустыри, и с ними вместе высохли родники и лесные реки. Видит старик: мечутся люди—воды ищут, мычат и ревет скотина—пить просит, а новые люди пришли, стоят на высохшей равнине, махают руками и велют распахивать обсохшие места плугом...»

Герои позднейших рассказов Чапыгина в большинстве своем попрежнему гибнут, как гибнет,—опять-таки в погоне за символическим лосем,—старик Елифаныхт, но в их психике уже заметна двойственность, как заметна огромная трещина в окружающей их природе, давно уже потерявшей свою, мудрую от века, неразгаданность.

Новый человек разгадает все тайны природы, смело возьмет все ее дары, овладеет ее силами и заставит ее служить своему творческому гению.

В позднейших рассказах писателя новый человек обозначается очень неясными и бледными чертами, но, все же, эти рассказы—крепкий прорыв в современность.

Из них особенно следует выделить рассказ «У границы», дающий широкую и смелую картину красноармейского быта, т. е. быта тех людей, которые являются не только бойцами, но и строителями будущего.

Рассказы же Чапыгина о прошлом, вся эта узорчатая, кружевная вязь, пахнущая лесом и воском, представляют для нового читателя только сухую музейную ценность.

Этнографический, краевой характер чапыгинского творчества, — мы, разумеется, не придаем этнографии первенствующего значения в чапыгинском творчестве, — подтверждается избытком местных оборотов в его речи.

«Маленькая лампочка на жаратке, около заслонки» (стр. 200).

«Работники стали окарзывать бревна» (стр. 219).

«Ключи шульткают» (стр. 236).

«Шавишь, боишься, навражилось тебе» (стр. 247).

«На улице вьюга шумит да шаротит» (стр. 282).

«Откроет великан глаза и зырнет по белым кустам» (стр. 290).

Вообще же язык Чапыгина очень богат, красочен и ритмичен.

Ник. Смирнов.

Э. Багрицкий. — «Югозапад». Изд. «Земля и Фабрика». М. 1928 г. Цена 1 р. 50 коп.

«Югозапад» — первая книга стихов Э. Багрицкого, но книга эта мало подходит на обычные дебютные выступления молодых поэтов. Мы имеем дело не с новичком-дебютантом, а со зрелым, вполне сложившимся поэтом, проделавшим большой поэтический путь и имеющим «лица не общее выражение».

Сборник составлен с большим отбором, в него вошли лучшие последние стихи Багрицкого. Только в начале помещено несколько ранних его стихотворений, и среди них романтическая, выдержанная в стиле Жуковского, баллада «Разбойник» из В. Скотта:

О, счастье—прах, и гибель—прах,
Но мой закон—любить,
И я хочу в лесах, в лесах
Вдвоем с Эдвином жить...

Эту же «старую романтику, черное перо» вспоминает Багрицкий в конце книги в «Разговоре с комсомольцем Н. Дементьевым», заставляя своего собеседника прервать романтическое описание революционных боев упреком:

Багрицкий, довольно!
Что за бред!
Романтика уволена
За выслугой лет.

Веянье романтизма, действительно, чувствуется в стихах Багрицкого, но это не старый, наивный, «уволенный за выслугой лет», романтизм, а новый, молодой неоромантизм, порожденный бурями гражданской войны и революции. Багрицкий не уходит, подобно прежним романтикам, «в века загадочно-былые». Он умеет найти романтику не только в революционных бурях («Думы про Опанаса», «Разговор с комсомольцем Дементьевым» и др.), но и в самой будничной обстановке. Даже такие прозаические вещи, как вывеска МСПО, загораются у него романтическим пафосом:

Четыре буквы: «МСПО»,
Четыре куска огня:
Это — Мир Страстей, Польшай Огнем!
Это — Музыка Сфер, Пари
Откровенней новым!
Это — Мечта, Сладострастье, Покой, Обман!

Романтикой Черного моря, как «Челкаш» Горького, насыщена превосходная лирическая баллада Багрицкого «Контрабандисты». Однако, несмотря на свой романтизм, Багрицкий не теряет острого реалистического взгляда на вещи. Его описания и образы не только красочно-живописны, но и очень четки и точны.

Багрицкий — лирик, по преимуществу, но лирика его насыщена социальным, революционным содержанием. Даже в своей поэме «Дума про Опанаса» он не стремится к холодному эпическому беспристрастию и лирически описывает гибель и темного, сбитого с толку махновцами, Опанаса, и коммуниста Когана, поправляющего с улыбкой перед расстрелом свои окуляры:

Опанасе, наша доля
Туманом повита...
Опанасе, твоя дорога
Не дальше порога...
Так пуская и я погибну
У Попова Лога
Той же славною кончиной,
Как Иосиф Коган...

Этот лиризм придает большую теплоту и человечность поэме, и читатель с волнением следит за судьбой ее героев. Ярко и выпукло очерчены Багрицким не только обе главные фигуры, Коган и Опанас, но и вся обстановка гражданской войны на Украине, Махно со своими таборами, готовящийся к бою, и выезд Котовского с эскадронами. Эта небольшая лирическая поэма — одна из лучших поэм, написанных за годы революции.

Волнующим, свежим, бьющим через край строф, лиризмом заряжены и остальные стихи Багрицкого, очень разнообразные по темам, напр.: «Стихи о соловье и поэте» или «Папиросный коробок», оканчивающий книгу бодрой нотой обращения к сыну:

Я знаю: ты с чистою кровью рожден,
Ты встал на пороге веселых времен!
Прими ж завещанье: когда я уйду
От песен, от ветра, от родины, —
Ты начисто вырубил сосны в саду,
Ты выкорчуй куст смородины!!

Остро и сильно ощущает Багрицкий жизнь природы: лес и воду, птиц, рыб, зверей («Весна», «Осень»). Таких ярких стихов об охоте, как «Трясина» Багрицкого, где описывается охота на кабана, немного наберется в нашей поэзии.

Стих у Багрицкого обычно балладный, порывистый и бурный, простой, но гибкий и выразительный.

«Югозапад» Багрицкого, — несомненно, одна из наиболее ярких книг стихов, вышедших за последнее время.

М. Зенкевич.

«Искусство», — журнал Гос. Академии Художественных Наук. 1927 г. Кн. II—III. Изд. ГАХН. Москва. Стр. 211. Цена 3 р. 50 коп.

Двойной номер академического журнала, выходящего теперь более систематически, содержит в себе несколько отделов, посвященных: научным исследованиям, обзорам современной художественной жизни, обзорам иностранной научной литературы, наконец, новым литературным материалам.

В отделе исследований особое внимание обращают на себя статьи А. А. Сидорова — «Портрет, как проблема социологии искусств» и А. Габричев-

ского — «К вопросу о строении художественного образа в архитектуре». Автор первой статьи, присоединяясь к утверждению В. М. Фриче, что портрет, как художественный жанр, выдвигается на первый план в эпохи расцвета буржуазной культуры, справедливо не считает возможным на этом остановиться. Важно не только, кто создает портрет, — говорит он, — важно, зачем он создается, какова функция портрета. Обозревая различные виды изображения наружности человека, автор указывает, что не все они — портрет, что портрет есть натуралистическое изображение «персоны», «лица», нужное для представления, для знакомства, в противоположность изображению «лица», выражающему незыблемость и традиционность. Здесь две разные социальные функции изображения, разные жанры. — Тонкая и глубокомысленная статья Габричевского, вся пронизанная принципами не вербальной, а подлинной диалектики, содержит теорию внутренней структуры архитектурного произведения, соотношения и функции его аспектов, и отсюда намечает пути действительного искусствоведческого анализа. Обе статьи стоят на верном, к сожалению, пока еще не торном, пути создания научно-исследовательской методики искусствознания. Далее следует окончание работы Л. Сабанеева — «Этюды Шопена в освещении закона золотого деления», начатой еще во II томе «Искусства». Отдел замыкается статьей И. Кубикова — «Роман «Разбойник Чуркин» и его читатели», где сообщается история печатания этого лубочного романа Н. И. Пастухова в газете «Московский Листок» 80-х годов, пересказывается его содержание и выясняется отношение к нему со стороны его читателей — социальных низов, и со стороны правительственной цензуры. Статья выглядит скорее случайной информацией, чем обоснованным исследованием; в ней не видно, почему пришел автор к этому материалу, какие проблемы он здесь решает, к чему ведут результаты его работы. Дается «любопытная картина» и только.

Второй отдел книги содержит статьи А. Бакушинского — «Современная русская скульптура», А. И. Греча — «Русская живопись XVIII века на выставках 1926—1927 г.г.» и М. Иванова-Борецкого — «Бетховенские торжества в Вене». А. Бакушинский дает обзор 1-й государственной выставки скульптуры и выставки ОРС в свете истории русской скульптуры и отмечает у современных русских скульпторов повышение мастерства, крепкую традицию и тяготение к реалистическим и монументальным формам. Во второй статье, отправляющейся от выставочного материала, содержится характеристика художественных школ русской живописи XVIII века и тех влияний, которые она испытывала со стороны живописи западной.

В литературных обзорах — на первом месте статья М. А. Петровского — «Поэтика и искусствоведение». Автор сообщает основные положения работы О. Вальцеля — «Wechselseitige Erhellung der Künste», посвященной вопросу методологического обмена между отдельными областями искусствознания, а затем специально ту часть этой работы, где трактуется «взаимоосвещение» поэзии и музыки, привлекая работы Шмидта и Ляха, посвященные этому вопросу. Излагая немецкие работы, автор относится к ним критически и сопровождает свое изложение рядом собственных соображений и замечаний, часто интересных и ценных. В статье «Испановедение в Соединенных Штатах» С. Игнатов информирует о большой работе по испановедению, происходящей в Штатах, к сожалению, отмечая лишь кафедры, имена испанистов и заглавия некоторых их работ, а не результаты и методы этих последних. Краткая статья П. Эттингера отмечает некоторые переводы и статьи о Пушкине на иностранных языках. В отделе материалов Н. Гудзий сообщает о письмах Шевченко к С. Т. Аксакову, Г. Чулков — о вариантах тютчевских переводов Фауста, и Ф. Шипулинский — о поэте Мещовском и его стихах. Номер заключается кратким отчетом о диспуте по докладу Л. Дюртена — «Техника романа» и

некрологами на смерть А. И. Южина и В. В. Згуры.

Таков материал номера. Отдел исследований занимает в нем по объему только одну треть, обзоры художественной жизни и литературы случайны по своим темам. А между тем журнал чисто-научного учреждения, выходящий всего двумя-тремя книгами в год, должен скорее тяготеть к жанру «ученых записок», а не месячника. В нем хочется видеть больше капитальных научных исследований, обзоры полные и систематические. Некоторое смещение функций в «Искусстве», таким образом, еще налицо.

Г. Поспелов.

Борис Пильняк. — «Расплеснутое время». ГИЗ, 1927 г. Стр. 228. Ц. 1 р. 60 к.

Он же. — «Очередные повести». Изд. «Круг». Стр. 286. Ц. 2 р.

«Я понял... что не так уже страшно, что растут полки моих лет и книг...» — Так говорит Пильняк в рассказе «Расплеснутое время», которым начинается книжка того же названия. Рассказ — о том, как живет в уединении и пустоте, как пишет далекий от жизни старый писатель, которого уже давно не печатают, и как рождает свои вещи писатель Пильняк, от шпал, теплушек, мытарств гражданской войны пришедший к отображению новой сложной жизни, новых людей.

Очень хорошо, что писатель настроен бодро в отношении «полков лет и книг». Необходимо, однако, внимательно рассмотреть, что же нового дали нам «полки лет и книг» Пильняка. В этом отношении особый интерес представляют рецензируемые книжки, включающие в себя и некоторые его старые вещи, но, главным образом, то, что было написано в последние 2—3 года.

Период 1925—1927 г.г. — время скитаний Пильняка, когда, влекомый писательским любопытством, а может быть, и каким-то внутренним беспокойством, он колесит по земному шару, оставаясь сравнительно долго в Китае и Японии, а оттуда отправляясь почти в кругосветное путешествие, интере-

суясь, главным образом, Востоком, Ближним и Дальним. Жизнь этих стран нашла отражение в целом ряде произведений Пильняка, из которых многие вошли в эти книжки. Можно сказать, что в данных книжках мы имеем всестороннего Пильняка: старое, новое и иностранное, экзотическое. Книжки, таким образом, дают возможность читателю делать сравнения и оценки, искать и понять то новое, что принесли последние годы в его творчество.

В рассказе «Год их жизни» перед нами Пильняк «физиологический». В тайге после зимней смерти творилось первое звериное дело—рождение. И все лесные жители—медведи, волки, лоси, лисы, совы, филины—все уходило в звериную радость рождения. Марина и Демид—дети тайги и звериной жизни. Вместе с ними живет и растет медвежонок, и все трое в своей жизни страшно схожи, так что трудно их отличить. У них у всех звериная радость и любовь. Девушки поют старинные песни о Ладе. Жизнь вся первобытная, физиологическая. Это «кусочек» старого Пильняка. И хорошо, что рассказ включен в книжку. Но нам гораздо важнее знать, что думает автор о новой жизни в СССР и как изображает ее Пильняк.

Будучи в Китае, у синих вершин Великого Хингана, Пильняк говорит об СССР, как «об огромной земле многих народов, ушедших в справедливость». Это очень хорошо сказано, но нас интересует не отвлеченная лирика, как бы искренна она ни была. От писателя мы ждем, главным образом, отображения реальной жизни в живых образах, которые одни только и могут быть убедительны.

Другой небольшой рассказ—«Сторона ненашенская». Он заканчивается так: «Годы идут. Город, камень, дерево, палисады, скука, народный сад, сельтерская местного завода «Люлин и К°», мухи; вот-вот сорвется пожарная каланча и побежит благим матом—от тоски, от одури, от горя, от смердяковщины, заплашет в народном саду и по всему разведет такую матерщину, что небу станет жарко...».

Вот оно «уездное», тяжелое и страшное, что так привычно и мастерски всегда показывает нам Пильняк. Здесь, разумеется, очень трудно увидеть «страну народов, ушедших в справедливость».

Другой характерный рассказ—«Старый дом», которым заканчивается книжка «Расплеснутое время». В «Старом доме»—прошлое купеческой Руси, умершее прошлое. Перед нами три поколения. Часть обитателей дома (старшее поколение) вымерла уже во время революции, другие (второе поколение) рассеялись по свету, бежали за границу. Некоторые приспособились. Некоторые даже переродились: молодо, бодро и уверенно живут по-новому (девушка Нонна—третье поколение). Но старый дом остался и довлеет над всем. Новое, что пришло в этот дом, только внешнее, нового почти нет. «И казалось иной раз, что Пугачев, Имельян Иванович, был вот совсем недавно, ну, в позапрошлом году, вот там, за Соколовой горой...». Кончается рассказ так: «Под террасой, как и при бабке, буйничала сирень... И к запаху сирени едва-едва примешивался запах тления, потому что за террасу выливали помой». Рассказ помечен 1924 годом.

В рассказах «Жулики», «Человеческий ветер», и др. Пильняк каким-то краешком показывает нам современность. Но это только смутная бледная тень настоящего, нового, что есть в нашей жизни. Никакой попытки показать быт в синтезированном образе у Пильняка нет. Каждый рассказ решает какую-то проблему, часто лишь в плане философском и лирическом. «Жизнь каждого человека связана так, что не все ли равно будет, если его, человека, взять с поправкой на испорченную машину, испорченную жульничеством, безграмотностью, ложью, любовью, связанную государством, куском хлеба, тою же любовью» («Жулики»).

Вот где автор делает акцент. Но это и есть «общечеловеческое» и вместе с тем неопределенное и расплывчатое, что характеризует Пильняка в обеих книжках.

Весьма характерна для Пильняка последних лет большая повесть «Иван

Москва», написанная весной 1927 г. Гражданская война и мирное строительство. Дикая зырянская Русь, Коми, Подкамье, где пермяки и коми на Фролов день бьют быка богу, где имеется свой леший Иван Иванович Иванов, где у рыбаков, охотников, звероловов старинные заклинания и заговоры, где есть места, в которых не знают, что такое телега; отсюда вышел зырянин Иван Москва, прошедший школу заводской жизни и суровую гражданскую войну, чтобы стать потом ученым, отдать свою жизнь постройке нового завода по добыче радия. Но ученый строитель Иван Москва носит в крови своей наследство от вырождающегося своего народа—сифилис. Тут автором с утонченным мастерством дана коллизия между всепобеждающей силой духа, человеческой воли и фатальной и слепой непобедимой физиологией. Тема развернута так, что уходит корнями в полумистический фатализм.

Сцены встреч на заводе Ивана Москвы с его родственником-охотником, шаманом, зырянином-Следопытом написаны с большой художественной силой, как и вся повесть, и несут характер символики.

Тема о новых победах человеческого знания (добыча радия на новом заводе), о неограниченных перспективах для человечества, которые сулят эти новые победы, затрагивается не раз и в других последних произведениях Пильняка. Но эта тема слишком обща и отвлеченна. Нас же интересует, повторим, как показывает нам Пильняк новую жизнь СССР.

Повесть «Иван Москва» в известном смысле может быть принята, как символическое изображение СССР, идущего от первобытной дикости, через заводской котел и победы гражданской войны к новейшей культуре. Трудно, однако, сказать, что сильнее: зырянское прошлое, данное так реально и убедительно, или выросший островком среди гор и лесов полуфантастический завод по добыче радия.

В тихий зырянский вечер, когда, побежденный слепой силой, с неутоленной любовью умирал Иван Москва, зырянские юноши и девушки ехали

в Москву учиться в высшей школе, чтобы продолжать жизнь и борьбу. На этом повесть кончается.

«Иван Москва» — своеобразная поэма об СССР. Фатализм, фантастика, символика — средства оформления этой большой темы. Именно поэтому страдает ясность основной установки, и постоянную живую жизнь страны трудно разглядеть на этих больших, хотя и мастерски сделанных, полотнах.

Большое место в обеих книжках занимают вещи, изображающие жизнь других стран («Ключи и глина», «Город Нара», «Рассказ о том, как создаются рассказы», «Китайская повесть» и др.). В этих вещах снега, волки, звериное и уездное исчезают. Вместо них — салон-вагон, шикарные пароходы, гостиницы, — экзотическая природа, новый быт и люди. В большинстве эти вещи лишены той глубины захвата, какая имеется в вещах, написанных на темы из русской жизни. Стиль снижается и очень часто мысль преобладает над образом, изображение жизни — больше на плоскости, чем в глубину. В отдельных случаях мы имеем смесь колониального с китайским, но есть вещи сильные и прекрасные. Рассказ «Большое сердце» дает внутреннее и внешнее освещение взаимоотношений колониальных народов и завоевателей-англичан в обстановке непримиримости, героической современной борьбы. Тут Пильняк достигает предельной для него глубины внутреннего проникновения в тему и чрезвычайной убедительности.

* * *

«Расплеснутое время», «Очередные повести», «Очередные рассказы» — даже самые эти названия показывают, как трудно было автору подобрать объединяющее название для этой галереи лиц, образов, сюжетов и тем, развернутых на плацдарме от Шпицбергена до Средиземного моря, от Оки до Китая. Сюжеты, тематика, характер их разрешения (часто в плане философском и лирическом) показывают большую неопределенность, расплывчатость, отдаление от конкретной реалистической действительности. По этим вещам

очень трудно сказать, что несет нам завтрашний день этого несомненно большого художника. Может быть, здесь сказывается его скитальческая жизнь последних лет, но определенно чувствуется какое-то переходное время для писателя.

Большие темы напряженной и богатой разнообразием жизни нашей страны ждут художника, и не отвлекать нас в сторону от этой жизни нужно, а показывать ее лицо таким, как оно есть сегодня, в освещенном изнутри синтетическом образе. К этому должен вернуться и притти Пильняк, чтобы показать нам по-своему действительную «Россию народов, ушедших в справедливость».

М. О.

Ал. Дроздов. — «Лохмотья». Роман. Изд. «Пролетарий». Стр. 288. Ц. 1 р. 55 к.

В этой книге рассказано о человеческих лохмотьях—русских эмигрантах. Дроздов—сам бывший эмигрант, он хорошо знает эту жизнь и сурово осудил ее. Книга Дроздова нужна советскому читателю. Но автор ее—далеко несовершенный романист.

Эту книгу даже трудно назвать романом. Она не пронизана единым сюжетным стержнем. Это скорее—ряд эпизодов, связанных лишь единством действующих лиц. Сюжет романа должен течь, как река, не останавливаясь,—от истока к устью. А у Дроздова он подобен луже на почти ровной плоскости. Вытекающие из лужи ручейки лениво ползут в разные стороны, нигде не смыкаясь.

Тем не менее, Дроздов—интересный писатель. У него есть свой стиль, хотя и не очень оригинальный, больше всего напоминающий Гоголя, а кое-где и Достоевского. Дроздов рассказывает выразительно и четко, но несколько жеманничая. Тем же жеманным языком говорят его действующие лица. В сущности, у них нет своего языка, они все выражаются речью автора. Только один из героев—Кривуша—обладает ярко индивидуальным языком. Но это оттого, что именно ему автор придал все

наиболее характерные особенности своей собственной речи.

Формальных недочетов у Дроздова немало. Его неумелость в сюжетном отношении выражается еще и в том, что он охотно идет по линии наименьшего сопротивления, вводя воспоминания героев, их переписку, пользуясь частыми отступлениями. В этих отступлениях автор уж слишком охотно, надоедливо напоминает о себе. В их синтаксисе гоголевская интонация нередко заглушает дроздовскую. Вот послушайте-ка: «Как завернете от кузницы к городье, увидите свежеструганный забор и за ним пышные кудри цветущих яблонь,—вот это и будет телегинский сад; за ним одноэтажный длинный дом с радушным крыльцом, с радушными окнами, в которых нет-нет да и мелькнет белое платье Зоськи, а дальше—службы, птичий двор, скотный двор и конюшни».

Все это и многое другое можно простить Дроздову за галерею фигур человеческих лохмотьев, за паноптикум живых мертвецов, показ которых—дело социальной важности, потому что мы должны же знать, что представляет собою эмиграция, а рассказать о ней может лишь тот, кто провел внутри ее горькие годы злобы и отчаяния и нашел в себе силы отряхнуть ее прах и проклясть ее убивающим проклятием.

Не все фигуры художественно равноценны: Апостолов, министр предполагаемого окраинного правительства, только эскизно намечен, равно как и будущий монарх, князь Караим. Но зато «Евгений Петрович Кривуша, секретарь князя Караима, более известный под именем Езунтушки»,—цельный, законченный в своей отталкивающей мерзости, скульптурно четкий образ. Он стилизован до шаржа, как почти все лица романа. Это не беда: шаржировка Дроздова прозрачна, сквозь нее человек виден достаточно ясно. Женские фигуры почти все удались автору лучше мужских. Центральный женский образ—Зоя, с душой богатой и до дна опустошенной—нарисован с потрясающей правдивостью.

Из мужских лучше удались отрицательные типы, быть может, потому,

что почва эмиграции не благоприятствует развитию положительных. После Езуитушки самое яркое лицо—благоденствующий негодяй Михеев. Менее убедительны—генерал Горевалов, Лебедев-Овесный, Донсков, смутно чувствующие необходимость выхода из проклятого круга, но слепые, слепо мечущиеся и бесплодно погибающие.

Изображением нескольких типических лиц, характеризующих эмиграцию, исчерпывается ценность книги Дроздова. Этим определяется ее общественное значение. Оно, во всяком случае, превосходит ее художественную сторону.

А. Р. Палей.

А. Бирик.—«Новая Бавария». Рассказы. Изд. «Недра». М. 1928 г. Стр. 223. Ц. 1 р. 80 к.

Прежде всего—рассказов в этой книге А. Бирика нет: «По третьему гудку»—драма, «В озерном краю»—путевые очерки; лишь «Новую Баварию» условно можно назвать рассказом (скорее—повестью).

«Новая Бавария» интересна по замыслу. Автор показывает советский аппарат в период его реорганизации (начало нэпа), выводит члена партии—горлодера, кричащего о буржуазии и пролетариате, но берущего взятки и вредящего производству («потомственный пролетарий»),—предзавкома Гарпинский. С другой стороны, немец Шольде, потерявший свои капиталы, разумно налаживает советское производство, но дает взятки. Наконец,—колеблющиеся люди, и честные, выдержанные работники.

Если автор нашел достаточно четкие слова для общей обрисовки фигур Гарпинского и Шольде, то некоторые частности—в плане этой повести—фальшивы (например, эпизод со взяткой). Действия директора противоречивы, при чем противоречивость эта психологически никак не оправдана.

В начале Бирик умело разворачивает повествовательный клубок, но потом сбивается. Сентиментальный конец «Новой Баварии»—плач секретаря райкома на заседании и слова честного

партийца Тимченко: «Теперь... я имею право смеяться... Да, но... видишь ли... не могу»,—и скоропалительное предложение о чистке расхолаживают, развязка несколько наивна, она не подготовлена, и ее, в сущности, нет.

Вообще с концовками А. Бирик не справляется. Так, в драме «По третьему гудку» («время после 1905 г.») действие, показанное в начале убедительно, срывается и идет вяло. Брак по любви стойкого рабочего-революционера Ильи с буржуазной барышней Галей и разрыв между ними на почве классовой несхожести интересов—центральное в драме. Социально интересная тема эта в произведении Бирика потеряла свою остроту, ибо уход Гали от Ильи не оправдан психологически: характеры Гали и Ильи мало развернуты. А дать в вещи—социально-психологической по теме—схему человека или немногим более того, разумеется, недостаточно. В пьесе есть и законченные персонажи (тетка Глашка, ткачиха Наташа, сестра Ильи Ольга, мать—Захарьевна) и ряд удачных сцен. Следует заметить, что автор, ясно очерчивая тот или иной тип, не умеет вводить его в драматическое действие, которое вообще мало динамично. Второстепенные лица более законченны.

Лучшая в книге вещь—«живая зарисовка» («В озерном краю»). Она дает представление о советской деревне, через кочки и пни идущей к новой жизни. Уснащенные фольклором, «зарисовки» объединены единой повествовательной нитью. Дед Гаврилыч (его рассказ о старичке, после прихода которого в озеро перевелась рыба), крепкая девушка Варя, коммунист Павел (честно делающий «отметины» на пнях срубленных им деревьев)—живые, не выдуманнные люди; они сохранили свою жизненность и на страницах книги. Необходимо указать на однообразие лирических отступлений, на некоторый «космизм» в описаниях природы и слияния с ней автора («Иллюзия так сильна, что длинную (?) минуту смотрю на грандиозную картину, холодея от страдания и, в то же время, замирая в восторге. И только потом соображаю, что это вовсе не пожар, а прощальная

шутка био-механика Солнца»). И здесь, в очерках, неудачная концовка: говоря о своих встречах с учительницей, рассказчик восклицает: «Я гашу огонь страсти и сурово кричу себе:—Так не будь же хоть ты подлецом».—Этим заканчивается предпоследний очерк («С крыльца сельсовета»).

На ряду со свежими эпитетами и образами, сборник «Новая Бавария» вмещает в себе неправильные обороты речи и языковые штампы. Материал, однако, довлеет над автором далеко не всегда. За двадцатипятилетний период творчества писатель, видимо, не мало поработал над собой. Но к подлинному законченному мастерству автор «Новой Баварии» все же еще не пришел.

Борис Гроссман.

Д. Крептюков. — «Мамзер». Повесть. Изд. «Молодая Гвардия». 1928 г. Ц. 1 р. 50 к.

Задание автора не ново — столкнуть старый, веками складывавшийся еврейский быт с новой революционной жизнью. По одну сторону — цирюльник, цирюльничиха в традиционном парике старых евреек, портной Цука и его молодая дочь; по другую — рабочие щетинной фабрики, красноармейцы и комсомолец Митька Сверчков. Конечно, автор не устоял перед искушением, он заставил еврейскую девушку полюбить русского комсомольца и родить от него ребенка. Но бедность сюжетной изобретательности еще не беда. У автора все же была полная возможность укрепить вокруг этого незамысловатого сюжета интересный социальный и бытовой материал: ведь время действия — гражданская война первых лет революции, место действия — старинный северный город Великий Устюг и страшный Северный фронт. Автор и пытается расширить «личный» сюжет до пределов социального. Но чуть он выходит за порог тесной еврейской квартиры, как делается беспомощным и неубедительным. Так и не можешь узнать, какая работа производится в комсомоле, в чем его неодолимая притягательность для героини. Автор ограничивается

общим и кратким описанием одного-двух комсомольских собраний, но из этих описаний не так уж много узнаешь об идейной жизни революционной молодежи: «Виделись они почти каждый вечер все в том же красном доме. Сидели бок-о-бок на собраниях, когда решались сообща трудные и важные вопросы. Тепло касались концами пальцев, и оттого близость казалась еще действительней». Правда, Рива Гершельман говорит о новой жизни, даже носит на груди «Бухарина и Преображенского», но как она в этой новой жизни участвует — остается невыясненным. Родить ребенка от русского комсомольца — не так уж много даже в плане борьбы с национальными предрассудками. Революционная деятельность Митьки Сверчкова дана в повести более наглядно: он участвует в военных выступлениях против белогвардейцев, производит смелые разведки, героически выносит пытку в плену... Однако и тут автор черпает материал из давнего фонда военно-приключенческих рассказов. Зато неизмеримо конкретной картины домашней жизни старых евреев. Автор со вкусом повествует о фаршированной щуке, пасхальной «пейсаховке» и проч. Получается такое неравновесие образного материала, которое не искупается идеологическим заданием книги. Идея остается не воплощенной. Автору не удалось создать ни одного живого лица. Не показав органического смысла в их жизненных поступках, Д. Крептюков пытается восполнить этот недочет подробным сообщением об их житейских повадках, о случайных, незначительных движениях. Так, например, его герои то-и-дело почесываются: «Митька отставил блюдо, вытер вспотевшее лицо рукавом сорочки, почесал правый бок...». «Цирюльник взглянул на жену. Почесал для чего-то мизинцем за ухом». «Он сделал два шажка к доктору. Чеснул концом мизинца прилизанный и пробритый тщательно пробор» и т. п. Так же общ и нецелестремлен язык. Героиня выражается отвлеченными фразами, герой расцветывает свою речь словами «барахло»,

«шпана», при том несколько преждевременно, еще в дореволюционные школьные годы; все старые еврей то-и-дело говорят «Пхе!» — очевидно, для национального колорита. Но не чувствуется живой человеческой речи. Грешит в этом отношении и непосредственно сам автор. Все его языковые новшества натянуты и не нужны. Не поймешь, зачем вместо «поперек» понадобилось ему говорить «впоперек», вместо «оглядывала» — «обглядывала»; не улавливаешь оттенков и в таких излюбленных звукоподражательных словообразованиях: «Сквозь зубы мыркнул», «Солдаты туго мыркнули», «Тихо мыррит», «Он пыкал, мыкал, облизывался»... — ведь это все в при-

менении к людям, а не к молодым домашним животным. Еда названа почему-то «приправой», грязь — «нечистью». Нет ни убедительных сравнений, ни сильных образов. Даже шаблонное сопоставление ног с циркулем Д. Крептюков переносит в книгу чисто механически и, забыв, что у циркуля две ножки, говорит о ногах, «тонких, как циркули».

От 127 страниц ничего не остается, кроме отвлеченной, художественно незаполненной идеологической схемы и нескольких картинок из еврейского быта. Этого мало для осуществления по-настоящему революционной, по-настоящему художественной повести.

Валентина Дынник.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Глубокоуважаемый гражданин редактор!

Прошу Вас поместить на страницах Вашего журнала следующее раз'яснение по поводу рецензированной И. Сергиевским в мартовской книжке «Нового Мира» брошюры: «Б. В. Томашевский—Александр Сергеевич Пушкин» (ГИЗ, 1927 г.).

Брошюра эта была напечатана в мое отсутствие, при чем я не имел возможности просмотреть ни одной корректуры. Ознакомившись по возвращении с ее содержанием, я обнаружил, что она представляет вольную обработку представленной мною в мае прошлого года биографии Пушкина, предназначенной для «ситцевой» (крестьянской) серии Государственного Издательства. Обработка заключалась, между прочим, в том, что в брошюру включено несколько страниц текста, мне не принадлежащего; именно на эти страницы было обращено сугубое внимание рецензента. Ни на печатание биографии в таком виде, ни, тем более, на выставление на ней моего имени я своего согласия не давал.

Ленинград, 26 апреля 1928 г.

Б. Томашевский.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1928 год:

на самую распространенную советскую газету —
центральный орган Правительства СССР

ИЗВЕСТИЯ

Центральный орган
Союза
Социалистических Республик
и
Рабочих, Крестьян, Солдатских Советов
Красной Армии и Красного Флота

Директор: И. И. Степанов
Заместитель: А. И. Степанов
Директор по части: А. И. Степанов

Число изданий в год: 52
Число страниц в номере: 16

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на 1928 год	ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на 1928 год
12 мес. 10 р.—к.	12 мес. 10 р.—к.
9 мес. 8 р. 35 к.	9 мес. 8 р. 35 к.
6 мес. 5 р. 50 к.	6 мес. 5 р. 50 к.
3 мес. 1 р. 85 к.	3 мес. 1 р. 85 к.
1 мес. 1 р.—к.	1 мес. 1 р.—к.

(XII-й год издания)

под редакцией И. И. Степанова-Скворцова

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

12 мес.	9 мес.	6 мес.	3 мес.	1 мес.
10 р.—к.	8 р. 35 к.	5 р. 50 к.	1 р. 85 к.	1 р.—к.

на еженедельный литературно-художественный
иллюстрированный журнал

КРАСНАЯ НИВА

(VI-й год издания)

под редакцией С. Б. Ингулова, А. В. Луначарского,
И. И. Степанова-Скворцова

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

12 мес.	9 мес.	6 мес.	3 мес.	1 мес.
8 р.—к.	6 р.—к.	4 р.—к.	2 р. 10 к.	—р. 75 к.

на двухнедельный экономический журнал —
Орган Президиума ВСНХ СССР

ПУТИ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Под редакцией: В. В. КУЙБЫШЕВА (отв. редактор), И. А. КРАВАЛЬ, В. И. МЕЖЛАУК, К. Я. РОЗЕНТАЛЬ, М. Л. РУХИМОВИЧА,
М. А. САВЕЛЬЕВА и И. И. СТЕПАНОВА-СКВОРЦОВА.

Подписная цена на 1928 г.

12 мес.	9 мес.	6 мес.	3 мес.	1 мес.
7 р.—к.	5 р. 50 к.	3 р. 75 к.	2 р.—к.	—р. 70 к.

Цена отдельного № в розничной продаже 50 н.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

В МОСКВЕ: в Главной Конторе „Известий ЦИК СССР и ВЦИК“, Страстная площ., Б. Путинковский пер., 5; городскими отделениями „Известий ЦИК“; почтамтом; городскими почтовыми отделениями.

В ПРОВИНЦИИ: отделениями „Известий ЦИК“, почтово-телеграфными отделениями СССР и контрагентами по распространению периодической печати.

Литературно-художественный и общественно-политический журнал

Н О В Ы Й М И Р**Содержание вышедших книг****Январь**

Леонид ЛЕОНОВ. — Провинциальная история, повесть. Пант. РОМАНОВ. — Новая скрижаль, роман. Иосиф УТКИН. — Из «Второй книги стихов». Илья САДОФЬЕВ. — Твой глаза, стихотворение. А. ЭРЛИХ. — Зимние дни, рассказ. Н. ОГНЕВ. — Дневник Кости Рябцева. М. СВЕТЛОВ. — Хлеб, поэма. Вл. ЛИДИН. — Обычай ветра, рассказ. Ал. ТОЛСТОЙ. — Хождение по мукам, роман. Борис ПАСТЕРНАК. — Стихотворение. Дм. ПЕТРОВСКИЙ. — Реквием Красному Дундичу, стихотворение. Петр ПАВЛЕНКО, Бор. ПИЛЬНЯК. — Лорд Байрон, рассказ. Мих. ГОЛОДНЫЙ. — Вопросы и ответы, стихотворение. С. КЛЫЧКОВ. — Стихотворение. Максим ГОРЬКИЙ. — Письма к Коцюбинскому (с предисл. и примеч. Л. Миловидова). В. ШТЕЙН. — СССР в борьбе за разоружение. М. ВЕТОШКИН. — Союзники и белогвардейцы на Севере России, воспоминания. ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ. Ник. СМИРНОВ. — По альманахам («Земля и Фабрика», «Недра», «Утро»). Мих. ЗЕНКЕВИЧ. — В потоке стихов. П. МАРКОВ. — Октябрьские постановки. М. ВОЛКОВ. — «Бронепоезд 1469» в МХАТ'е. Евг. БРАУДО. — Музыкальная жизнь Москвы. В. АНИБАЛ. — На швейной фабрике. Софья ВИНГРАДСКАЯ. — Вена. Н. А. ГАЛКИН. — В собачьем царстве. КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

Февраль

И. БАБЕЛЬ. — Закат, пьеса. Н. ОГНЕВ. — Дневник Кости Рябцева. Э. БАГРИЦКИЙ. — Трясина, стихотворение. Джек АЛТАУЗЕН. — Дед, стихотворение. Д. КРУТИКОВ. — Кудяров вир, повесть. Ал. ТОЛСТОЙ. — Хождение по мукам, роман. М. СВЕТЛОВ. — Хлеб, поэма. Бор. ПИЛЬНЯК, Проф. Н. М. ФЕДОРОВСКИЙ. — Дело смерти, рассказ. Бор. ПИЛЬНЯК. — Мальчик из Тралл, рассказ. Пант. РОМАНОВ. — Новая скрижаль, роман. Ник. ДЕМЕНТЬЕВ. — Голос из провинции, стихотворение. Мих. ДИКОВ. — Сентябрь, рассказ. Петр ОРЕШИН. — Странник, стихотворение. Евсей ЭРКИН. — Зимой, стихотворение. В. ВЕРЕСАЕВ. — Заметки о Пушкине. Н. А. НЕКРАСОВ. — Потания, неопубликованная повесть (с предисл. К. Чуковского). Н. СВЯТИЦКИЙ. — 5-8 января 1918 года. ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ. И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ. — Борис Пастернак. Е. ЛАНН. — Литература современной Америки. Вальдо Франк. Вал. ДЫННИК. — Кенозеро. П. КОЗЛОВ. — Тибет. П. ПАВЛЕНКО. — Азия Анатолийская. Н. А. ГАЛКИН. — В собачьем царстве. КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

Март

В. ВЕРЕСАЕВ. — Исанка, рассказ. Ник. ТИХОНОВ. — Два стихотворения. Л. ЛЕОНОВ. — Угилловск. Мих. ГОЛОДНЫЙ. — Степь, стихотворение. Мих. ГЕРАСИМОВ. — Стихотворение. Бор. ПИЛЬНЯК. — Синее море, рассказ. Ник. ДЕМЕНТЬЕВ. — Одинадцатый день, поэма. Н. ОГНЕВ. — Дневник Кости Рябцева. Пант. РОМАНОВ. — Новая скрижаль, роман. Ник. ЗАРУДИН. — Два стихотворения. П. ШИРЯЕВ. — Четверг Натапиной жизни, рассказ. П. ОРЕШИН. — Стихотворение. Д. ГОРЬКОВ. — Путь М. Горького. В. РУДНЕВ. — Горький-революционер. А. СТАРЧАКОВ. — Брест. Галина СЕРЕБРЯКОВА. — Женщины эпохи французской революции. Елизавета Леба. ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ. М. ЗЕНКЕВИЧ. — Пять книг стихов. Ф. РОГИНСКАЯ. — Изобразительное искусство к 10-летию Октября. Фред СКОБЕВ. — Литературный лагерь. Л. НИКУЛИН. — Воображаемые прогулки. Г. САНДОМИРСКИЙ. — В когтях белого орла. КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

Апрель

Мих. ПРИШВИН. — Юный Фауст, роман. Э. БАГРИЦКИЙ. — Смерть, стихотворение. И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ. — Сын, рассказ. В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ. — Вьюга, стихотворение. Дм. ПЕТРОВСКИЙ. — Ночь, стихотворение. Л. ЗАВАДОВСКИЙ. — Игрок, рассказ. Е. ПОЛОНСКАЯ. — Стихотворение. Вл. ЛИДИН. — Младость, рассказ. Ник. ЗАРУДИН. — Два стихотворения. П. ДРУЖИНИН. — Сивко, стихотворение. Н. ОГНЕВ. — Дневник Кости Рябцева, продолжение. Пант. РОМАНОВ. — Новая скрижаль, роман, продолжение. Ан. ПЕСТЮКИН. — Мурманская весна, стихотворение. Андрей ХУТОРЯНИН. — Инвалид, стихотворение. Илья ГРУЗДЕВ. — Литературная бурса М. Горького. В. РУДНЕВ. — Горький-революционер, окончание. Гр. ГРИНЬКО. — Работа над пилеткой, как общественная задача. ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ. Евгений ЛАНН. — Современная русская литература в освещении англо-американских критиков. Ф. РОГИНСКАЯ. — Художественная жизнь Москвы. П. МАРКОВ. — Очерки театральной жизни. Н. ВОЛКОВ. — «Угилловск» в МХАТ'е. Вл. БРАУДО. — СССР и Япония. П. АЛПАТОВ и С. ПАКЕНТРЕЙГЕР. — Брянские «разбойники». КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.